

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

9

1994

НОВЫЙ МИР

1994

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г

№ 9(833)

Сентябрь, 1994 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР», АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ „АРМАН”»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
«БИОТЕХНОЛОГИЯ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ — Карамзин. Деревенский дневник	3
МАРИНА КУДИМОВА — Плацкарта, стихи	61
ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ — Из вселенной сквозит холодок, стихи	66
ДАНИИЛ ГРАНИН — Бегство в Россию, роман. Окончание	70
АВАЛИАНИ — ГЕРШУНИ. Михаил Горелик. Введение в Авалианины камни; Дмитрий Авалиани. Стихи. Владимир Гершуни. Суперэпус. — Вступительное слово М. Борщевской	148

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Б. ЕКИМОВ — В дороге. Окончание	159
---------------------------------	-----

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

Предварительные итоги XX века

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА — Борьба с Логосом. Современная философия на журнальных страницах	170
--	-----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Д. ШТУРМАН — Дети утопии. Фрагменты идеологической автобио- графии	182
---	-----

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

АЛЛА МАРЧЕНКО — Где искать женщину?	206
-------------------------------------	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ИРИНА СУРАТ — «Кто из богов мне возвратил...». Пушкин, Пущин и Гораций	209
---	-----

(См. на обороте)

Юрий Кублановский. Голос, укрепленный отчаянием.

Марина Боршевская. Прощание и встреча.

Марина Кулакова. «И замысел мой дик — играть ноктюрн на пионерском горне!».

В. Кулаков. Жизни печная тяга.

К. Ю. Постоутенко. Стихи к комментариям.

КОРОТКО О КНИГАХ:

Дмитрий Бак. — I. Александр Фейнберг. Заметки о «Медном всаднике». II. А. М. Гуревич. Романтизм Пушкина. III. И. Сурат. Пушкинист Владислав Ходасевич. IV. В. А. Кожевников. «Вся жизнь, вся душа, вся любовь...». Перечитывая «Евгения Онегина». V. Ю. Н. Караулов. Словарь языка Пушкина и эволюция русской языковой способности. VI. А. А. Кандинский-Рыбников. Учение о счастье и автобиографичность в «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина, изданных А. П.»

245

КНИЖНАЯ ПОЛКА (6)

254

SUMMARY

256

«Новый мир» — 70-й год издания.

«Новый мир» — более 800 номеров с момента основания.

«Новый мир» — зеркало сегодняшней российской словесности.

Не забудьте вовремя продлить вашу подписку на первую половину 1995 года!

Наш индекс — 70636 в каталоге издательства «Известия».

Свободная подписка во всех отделениях связи.

В розничную продажу журнал не поступает.

Зарубежные читатели могут подписаться на **«Новый мир»** в германской фирме «КУБОН УНД ЗАГНЕР».

Kubon & Sagner, Postfach 340108 D 8000 München 34 Germany
Tel. (089) 522027. Telex: 5216711 kusa d

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ

*

КАРАМЗИН

Деревенский оневник

1.

облако прошло
лист расцвел и упал
ветер подул
трава полегла
спел песню далекий поезд

все это существовало
и исчезло
я
единственный свидетель

кроме меня никого
в этом
театре

что будет
если я отвернусь

все пропало
заплакало зарыдало
закрыло лицо
свернулось
свистнуло

но я здесь

и плавно движется
главный режиссер

2. АВТОВОКЗАЛ

С вокзала идем через пути на автостанцию
весь народ повалил направо
я одна пошла прямо
извините я не с вами иду
думаю что это они таким кружным путем
иду прямо
там невидимая мне яма
народный опыт возобладавал
теперь иду путем людей
все путем

мне вдвое длинней
 иду странница
 пока дошла встала в очередь
 народ взял последний билет
 на мой автобус
 теперь жду следующего
 через час
 о народ народ
 восхищаюсь сию

3.

В автобусе
 (едем в Меленки)
 Девушка впереди
 лицом к зрителям
 в последнем возрасте
 после 30
 лицо
 меняется
 как лист на ветру
 то она закатит
 глазки
 (взгляд вверх
 на пляшущий
 автобусный
 потолок)
 то взор
 в окно
 (бешено скачет
 пейзаж
 елки
 палки)
 нижняя губа
 у ней
 сложена
 трубочкой
 а верхняя
 в полуулыбке
 как это она
 делает
 (нижняя губа
 на излете
 последнего звука
 в слове
 люблю
 плю-ю
 а верхняя губа
 в полуулыбке
 звук ы-ы
 ю-ы
 пели губы
 круче
 ны-рых
 заумь)
 Высший пилотаж
 И с кем это она так

умильно
 разговаривает
 активно меняясь
 (глазки стрельнули
 по пассажирам
 как говорится
 от живота
 и веером, веером)
 рот
 умиленно
 растягивается
 (верхняя позиция)
 удерживая
 внизу
 стойкую дудочку
 фантастика
 текст же
 самый прозаический
 кто сколько
 огреб в зарплату
 у них в магазине
 ее собеседница
 старуха
 крашенная хной
 виден только ее
 унылый полупрофиль
 мешок под глазом
 как у пеликана

седой затылок
 и все это ей
 такой фейерверк
 веер
 глазки девушкины
 как коляски
 туды-суды
 только нос
 к месту прирос
 но рот рот
 вот опять глаза в потолок
 силится вспомнить
 что-то
 но хватать!
 опять
 очередь

КАРАМЗИН

по пассажирам
трассирующими
с огневых точек

кто там стоял
лицом к ней
мы
так и не
разглядели
какой-то мужик

мы смотрели
на нее
во все глаза
из задних рядов

вот опять огонь
команда «ложись»

потрясающая работа
в целях
продолжения рода

не снимешь
не снимешь
кино про жизнь

про безымянных красавиц

нежных детей
глухих старушек

гордых алкоголиков

неуместных интеллигентов

местных

и приезжих

на нас
тоже
смешно смотреть

жизнь вообще
нельзя
наблюдать со стороны

она неприлична

беззащитна

смотри на звезды
в августе и январе

на рошу в мае
и в марте

они величественны

все остальное
так мелко

но так любимо

4. БУДУЩЕЕ

Позавчера
по дороге
в Славцево
увидели мужика
он ворошил сено
рогатиной

рогулька
первое орудие
после палки

обезьяна
может взять
палку

но взять рогатину
это уже человек

пещерный
неандерталец
синантроп
троглодит

с рогатиной

он змею прищепит
съест

лягушку
мышь

вот до чего
довели людей
сказал мужичок
кивая
на рогатину
в магазине
нет ничего

мужик сказал
от чего ушли
к тому пришли

но это уже не 1917
даже не славный 1913
это млн. лет до н. э.!

будем думать

ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ

идиллия
страна живет
все добывая
своими руками

на зиму
400 банок закатал
привет

мы готовы
к любому строю

выживем зимою

пусть хлеб
дорожает
у нас запас

картошка
грибочки

моркошка
икра кабачк.
каша тыкв.
варенье плод.-яг.
мед

ура
спокойно
смотрим
телесериалы
в которых
не дай Бог
ничего похожего
и слова какие-то
иные
и лица
неземные
фотороботы
составные
носы
зубы
глаза
вставные

счастье

скоро начнем
ходить
с рогатиной
на медведя
(березовую рогульку
ошкурить
обскоблить
заточить)

начнем
одеваться
в шкуры

но

видимо в собачьи
кошачьи

медведей тут
нет

витязи
в собачьей
шкуре
кошкодавленный
воротник

тачать сапоги
валять
валенки

выращивать
наконец
лен

на рубахи
онучки

ткать при лучине
ты гори гори

не дубравушка шумит
то мое сердечко
стонет

лошадь
стоит
миллионы

начнем
помолясь пню
ставить мельницы

на речке
черничке

О!
какая пойдет жизнь
какие люди тут будут
жить!
Это их все ждал Чехов!

еще через сто лет
изобретут деревянный
велосипед

не для наших, правда,
дорог
но без единого
гвоздя

металл
еще не пришел

горшки
еще не обжигаем
но
огонь добываем

трением

кремнем

этого добра
у нас на полях
до фи́га
прямо каменный век
неолит,
где так вольно
дышит человек

как только
рубли изотрутса
расплачиваться
будем самогоном

жалко
бутылок не станет
побьют
как пить дать

возродятся
бондари
бочары
бондарев, ку-ку!
бочаровы, привет!

корова будет
стоять приблизительно
15 1/2 бочек
самогона

а сколь стоит
ваше манто

из двух шариков
жучки, дамки
и джультбарса?

сто кадушек
и
пол
ушата
сэр

5.

сенокос
все косят
как
каторжные
по двести пудов сена
на голову
ого-го

полотьба
(усадьба картофеля)

тоже каторга

якобы каторга
потому что все лето
это
свободное дело
свободных людей

боящихся голода

6. РАССКАЗ

я по телевизору смотрел

люди голые живут
дома из прутьев

на пеньках

они туда шныряют
едят червей
он у него в руке возится
он его ест

7.

у нас прижились
с прошлого года
три полевые
с луга
гвоздики
три малиновых
звездочки

теперь мы нацелились
на голубые
колокольчики

так

надо взять лопату
ведро
идти далеко
где не скошено

выкопать ком земли
с колокольчиком

а в огороде
приготовить яму

и одно вставить в другое

портрет в раму

8. ВЕЧЕР

У Веры Ивановны открывается дверь

на дорогу падает свет

в дверях темный силуэт

Димка
шепотом

— У Дябы дед пьяный

Алеша (3 года)

т. е. Дяба

вопит:

— Дед пьяный!

причем на всю деревню

деревенский вечер
 светит
 пол-луны
 солнце давно
 село в туман
 завтра
 снова дожди
 японские гравюры
 по холмам

9. МАМА МЫЛА РАМУ

сегодня плотники
 Николай и Иван
 должны закончить наш чулан
 косой гонец из Пизы
 наш чулан

сегодня будем мыть окно
 раму
 короче это я
 мама
 помою раму

эту раму привез на велосипеде
 гонец из Адино
 4 км по дождю

год назад

приехал продать мне вечером
 банку краски
 поскольку прошел слух

у нее есть бутылка

соседи мне купили
 на всякий случай
 и видимо
 проговорились кому-то

каждая весть
 распространяется здесь
 как ветер
 не зная преград

со скоростью 4 км/день

до Адино 4 км
 короче
 краска была
 встречена мною прохладно,
 я сказала: таких в магазине
 навалом
 вдвое дешевле я ходила

— А что,
 возопил гонец
 из Адино

промокший весь
 ему ведь была весть

он первый выпьет здесь

он ехал
 Бог весть сколько
 по дождю
 чтобы прийти первым
 первый среагировал
 на сообщение

но я
 вот что интересно
 владелица бутылки

я

хозяйка положения

феодалка

от нас и до

Адино

царица мира

но:
 дом протекает
 чулан вечно лежит на боку

Обломов

никого не найдешь
 вплоть до Ляхов
 (Ляхами, Ляхах)
 кто бы помог

Обломовка

и вот тут
он вопрошает
царицу положения

— А ЧТО НАДО-ТО

я начинаю думать
что мне действительно надо

забор лежит на боку
соседские куры
порхают по огороду
когда я бегу с граблями

но мимо, мимо
(Н. Гоголь)
это сейчас неосуществимо
так

— НЕТ ЛИ У ВАС
СТАРОЙ РАМЫ

есть! он говорит
есть!

ему ведь была весть
он первым
сегодня
выпьет здесь
никто кроме

исчез

через час
через бурю и дождь
он
пройдя огородами

как Че Гевара

возникает

и возникает
видение рамы

плюс

он привез
какой-то мокрый грязный
моток
тряпок
что ли платок
это что

бережно разворачивает

у нас должно быть
странное выражение лиц

это был в платке десяток
сырых яиц —
он утверждает
что был десяток
теперь уже
не проверишь

гонец из Адино

нечем обтереть
мокрое лицо

(платок почитай что
выброшенная вещь)

его лицо
течет как треснутое яйцо

он вез в бурю
как в опере
Тихона Хрен
ни
кова

«В бурю»

одномоментно
раму со стеклами
яйца в платке
велосипед
хорошо что сам
остался цел

и рама

повторяю
ему была весть
ему нальют здесь

налили!

он выпил сразу
еще посидел
понюхал корочку хлеба
от еды отрекся как от скверны

и канул в дождь
оставив нам платок

как бы плащаницу
со следами лиц
сырых яиц

и что же
проходит год

наш тулан воестал из руин

имена

Николай Токарев
дядя Иван Кузьмин

они врезали раму
ту самую
в чулане светло

сегодня я мама
мыла раму

так воплощаются
старинные мечты

каждая доска
полы
потолки

история выпитой

буты-
лки

карамзин блин
где ты

10 СЕРДЦЕ

соседки, ревниво:
у вас не плотники

золото

действительно
золотые
довольны своей работой

Николай
говорит:
— Стефановна
я с улицы смотрю
у вас теперь
три жилья
переднее
заднее
и клеть

соседки
мечтают о них
о плотниках

выпытывают
военную тайну
сколь они взяли
с меня

все уже решили

что дешево

ревнивая деревня

у каждой хозяйки мечты
то изгнило
это упало
мечты
о мужике
с молотком с топором

вечная мечта
каждой бабы
во всем мире

чтобы вечно

стучало
колотилось
в доме
сердце

молоток

по этому стуку
и узнают
в доме
мужик

11. СБЕРКАССА

как-то
при людях
внук
алкоголик
привел бабушку
(долго его
не было
пришел из тюрьмы)
привел ее
в сберкассу
снять

все ее деньги
смертное
она тряслась
подписала

мы пришли позже
сберкасса
вся красная
переживала

что делать
последний вопрос

* * *

только что
шумел пьяный
дайте мою
пенсию
лично мне
она не дает
пенсия
возможно
присуждается
его жене

(если есть жена)

пьяный
плачет
это же мне мне

то ли афганец
то ли
последняя
стадия
туберкулеза
принес
из тюрьмы
первую группу
просто так
молодым
инвалидность
не дают

но вот
ему
его пенсию
не выдают

о почта
почта

сберкасса

деньги
нужны

греческие
трагедии
рок
полный крах
сила судьбы

порок
наказан
у нас на глазах

но —
ушел

Леночка рассказала
его диагноз

все не так
трагично

он не афганец
не туберкулезник
в последней
стадии

он
простой инвалид
1-й группы

по шизофрении

так просто
тоже
этим званием
не наградят

все время
дуррак
путаёт
день
пенсии

никто не путает

никогда

это святое

а он придет
плачет
отдайте

стонет
на неделю раньше
шизофрения
отягченная
хр. алкоголизмом
у них так
что хочется
вынь да подай
хр. нет терпения
умные
хр. (хронически) терпят
он дурак

* * *

сберкасса
рассказывает
мужу

он
(какой-то «он»)
говорит
возьмите
у меня
холодильник

а я:
не нужен
мне
холодильник
внесите деньги

а он
(какой-то «он»)
вы что
меня посадите

посажу
(твердо)

как же
жена без меня
не справится
маленькие дети,
беременная

сберкасса (мужу)
я прям
заплакала
так жаловался

муж слушал
не понимая
то ли
сберкасса-жена
шутит
то ли она
действительно
заплакала
но вряд ли

врачи
сберкасса
почта
менты
палачи
не плачут
это
чисто
профессиональное

каждый час
плакать
вы что

12. РАССКАЗ РАИ

Катя как-то говорит
ой
иду по деревне
мне встречается
какая-то баба

как я

одета как я
ну прям как я
идет навстречу
вон там
у Грунькина дома

через три дня
Катя умерла

видно ей повстречалась
ее смерть

оделась как она
обулась в калоши

покрылась платком
как Катя

бедно одетая
смерть

больная убогая

своя

13.

Стадо пришло само
без пастуха

сначала было
явление коз

рогатые жены ада

робкие
с больными глазами
явились
запылились
трясли хвостиками
пели
фальшивыми голосами
нерешительно
толпились

их гнали всенародно
потом
деревня опять всполошилась
кричали от избы к избе
пошла тяжелая пехота
кентавры
непристойно волоча
между ног
свою грудь

где же пастух?

— Спит где ни то,
сказала Окся, —
Напоролся, теперь спит

14.

Как куры орут
в родильных муках
несдержанно
животно
никто не слышит

петух победно
отвечает

миг его
торжества

15. ГОЛУБЬ

Ефимка громко, сипло:

— Голубь! Смотрите, голубь!

Наташа:

— Мама, там больной голубь!

Иду с усадьбы

(с картофельного поля)

в траве гуляет

в полном смысле слова

бесцельно ходит

голубь

кристально-серый

грудка перламутр

глазок блестящий

красно-черный

все у него в порядке

гуляет

нет только

одного крыла

лишь связка перьев

на кровавом месте

наверно, прикусила кошка

он ходит, ходит

жадно ходит

Наташа побежала

за хлебом

намочила в бочке

я голубя взяла

за лапки

он спокоен

одним крылом

усиленно трепещет

но он спокоен

он видит цель

чтоб спасти от кошек

кладу его на крышу

туда же хлеб кидаю

он плавно, важно

трудолюбиво

идет по скату вверх

не замечая хлеба

мимо, мимо

Наташа причитает:

— А хлеб-то хлеб

но голубь вверх по скату

дошел до перевала

и исчез

там на вершине

пускай мы думали

он там пересидит

хлеб есть

на крыше нет собак

но кошки но вороны

а впрочем

там было не до хлеба

он не прятался

он шел

оказывается

все вдаль и вдаль

Наташа ускакала

жизнь потекла

вдруг новый крик

Наташин

Мама мама

там голубь

с той стороны

он прячется

под досками

он рухнул видимо

он думал полетит

упал

сидит под досками

а кошка напряженно

замедлила свой ход

мухи залетали

ворона боком

проскакала

как бы случайно

насторожился мир

детишки

не так играли

я

не так стояла

Наташа

— мама, голубь!

я: что же делать

он умирает

нельзя ему мешать

и вот явление

он вышел

из-под досок

имея цель

он двигался

пешком

в траве

он шел

не остановишь

мир остановился

на мгновенье

все

16.

соседка тетя Тося
лежит в кружевах
в своей красивой высокой
кроватьке

рассказывает

моя племянница

и я ей все
и она мне все

и эта племянница

говорила
ой тетя Тося
помрете
я так-то петь буду
испоюсь
исплачусь

Тося лежа болея
рассказывает

у меня и место
есть

мама
папа
рядом

а в головах
сестрин свекор
со свекровью

потом лежит
она сама
сестра

и трое ее детей

рано дети померли

одна девочка
трех лет

не открывала
рот

ее поили
по каплям
умерла
голодом

лежат все вместе

место

есть

17.

прекрасно утро
свет зари
вороны

потом пойдет
пастух

труба
зовет

поднимутся
коровы
в своих
коронах

млечный путь
потек

18.

мы в нашей местной
столице
блестит асфальт

двухэтажки

чу
едет
цистерна
прямо нам наперерез

шланг наперевес

остановилась
в кустах
ах
звуковая картина
характерный акт испускания

криво висит
ржавый лозунг
всех времен и народов

«осторожно запретная зона»

это у них место слива
здесь конец
всего

а наша жизнь
складывается
счастливо

в нашей деревнюшке
редко у кого
есть отхожее место

ходят просто так
в ведро
на гумно
с живым заодно

прикапывают

потом
землю в огород

потом все это
из земли прет

зелень плоды

население ест

круговорот

все возвращается
на круги своя
сказано бо

19. БЕДНАЯ РУФА

вроде бы ее звали Руфа
хотя плотники сомневались

медсестра
помнишь
она утопилась

спрятала
от мужика бутылку

в бочке с водой
в огороде
так и не нашел

Руфу нашел
она торчала в бочке
с водой

только ноги
наружу

маленькая была Руфа
а вечером шел дождь

бочка набралась всклянь

видно полезла к ночи
в бочку за бутылкой

шарила
не достала

не вытерпела
нырнула

бедная Руфа
плотники
смущенно смеялись

представить
какие были
похороны

действительно
вот уж бедная
Руфа

20.

там
большая деревня

там асфальт велосипеды
столица

трактора разъезжают
автобус
возит перемещаемые
лица

бабы на каблуках по грязи а где же еще прикажете другого не предвидится
не вечно же в сапогах

жизнь проходит

косметика духи юбки блузки прически колготки детки ляльки
сами в огороде скотина как у всех но держатся красавицы

мысль не новая
и все это ради кого

тот в телогрейке третьего срока
этот как пехота
после двух недель отступления по болотам
а ентот вечно в сером незаметном
разведчик

постоянно то тюрьма то война
в мужской моде отражена
жди меня и я вернусь

оттуда не возвращаются

21.

старики пашут
с недоумением взирая
на своих стариков
детей

что-то здесь

не то

наши дети
были не такие старые
фокус игра
времени

качать в колыбели
старого алкоголика
и его незнакомую
старуху

22. ДОМ

ходили смотреть дом
продается

знакомые
хотят купить

бабушка
в нашей деревне
померла
в начале мая

ее дочь
пожилая
привела

села сама

поговорили

проводжала
заплакала

дом-то холодный

а я
говорит
не понимала

мама все бывало
скажет
теперь
дом

теплый
я его грею

а будет холодный

а я не понимала
плачет дочь

теперь поняла

да
ледяной дом

но наш знакомый
не чувствует
холода

чувствует
будущее
тепло

свое
тепло

так оно и идет

холодно

тепло

греем
греем

23. В ЛЯХАХ

Всегда
уезжать из деревни
целая эпопея
пешком полтора км
скорей на автобус
опоздали

но и он опоздал

затем мы в Ляхах
Ляхах Ляхах

местный храм
7/8 лежит в руинах

домик автостанции
демоли
(старческая атрофия)

стены стропила
скелет
это все
что оставили местные
поженили
дверные оконные коробки
половицы

без окон без дверей
полна горница дерьма
туалет
на общественных
началах
коллективный договор
в собственном соку

кроме того
нет расписания

его-то за что
шарахнули?
а: там была рама

гуляет мусорный ветер
шевели бумажные
помои

путем опроса
выясняем
автобус на Муром
через 4 часа

идем
среди милых кур
собак кошек
разноперых петухов
любуюсь
дорога ведет к храму

и награда
новые кованые
решетки
сияют стекла
1/8 храма
отреставрировали

реставрация
после
бомбежки
советской культурой
в храме был клуб

от клуба осталась
реликвия
культурные отложения

на обрыве
уборная
вместо двери
навек
приварен железный
лист
прочный
ржавый гнутый
настежь навек

врешь не закроешь

все сраным навех
как любит выражаться
наша бабушка
при виде чьей-то квартиры

о как много
места
занимает безобразие

но мимо мимо опять
(Н. В. Гоголь)

мимо
будет вершина
обрыва
два дерева
соединенные
врубленной в них
скамейкой

вниз с обрыва
стекает крапива
вверху на скамейке
Наташа
рисует
дали
(с ударением на 1-м слоге)
вот мы и пришли
Ока широка
старица внизу
тихая вся в цвету
дали
с любым ударением

(сюрреализм)

реализм остался за спиной)
в неопишуемой дымке
лета
июль
блестит
даль

белые дома
там вдали
за рекой

лучше
не приближаться

к этому прекрасному
далеку

24.

ну скажи
такое как это
я могу написать
километр

а я
не всегда
почти никогда

только когда
мне диктует
население
местоположение

ехегі
им
monumentum

вечная память
моментам

25. МОЛИТВА ОКСИ

(на дороге)

Богородица девица
Господня царица
Господи ты мой
Перепути со мной
Очисти путь предо мной

Помяни царя Давида
И всю кровь его

(от воров)

Возвав тебе Господи
воспев и воспевающе
Сохрани меня Господи
От вора и от разбойника
Не дай ему Господи
войти в жилище мое
Когда он придет
к жилищу моему
Пошли на него Господи
страх темную тучу и
Страфела птица
Сомкни ему
Господи ясные
очи огради его
Господи камнями
стенами высокими
горами густыми
камнями большими
озерами нашли на
него Господи блуд
страх слепоту чтобы
он не мог войти
в жилище мое
аминь

вчера
 между двумя дождями
 на лугу
 собирала букет
 колокольчиков
 ожидая
 Наташу

она убежала за грибами
 куда неизвестно

пошел дождь

она ходит мокнет

я тоже хожу
 мокну
 с ее плащом
 пока собираю
 букет колокольчиков
 кричу в пространства

— НАТАШАА

не отвечает
 хотя вокруг
 казалось бы
 все слышно

все видно
 на километры
 вокруг

то Паново
 то Славцево

то мелькает
 стадо коров
 в березнике

то идет
 туча
 таща неопрятную
 марлю
 дождя

Наташа пришла

ой какой
 красивый букет
 колокольчиков

а ты знаешь Наташа
 времени нет
 есть букет
 колокольчиков

букет тому назад
 я вышла в пространства

букет тому назад

я орала
 над полями
 как орел

через один
 букет колокольчиков
 ты пришла

27. В ЛЯХАХ-2

Было сыро тепло
 пасмурно
 как
 зима в Индии

по нашему
 местному
 Гангу
 (река Ока)
 сквозила ладья
 вдалеке

соломинка
 с муравьем

муравей
 шевелил усиками

в пасмурный вечер
 темная точка
 на светлой воде

точка стремилась
 явно
 гребла домой

вечер
 местный Ганг
 дали
 опять дали
 опять скамья
 над обрывом
 в Ляхах
 лучшее место
 в мире

мы целый день
путешествовали
втроем
над Окой

видели
самое красивое поле

золотое

на фоне синего неба

текущее вниз к Оке

за Окой
непомерные горизонты
нашей страны

мы присвоили
этому полю
звание
мисс мира
пардон
миссис мира

поле
полное колосьев

миссис

28.

Когда Клаву
выгнала свашня
сын
и вся сыновья новая родня
сват невестка внучка
(якобы Клава ударила внучку
якобы внучка курила)
то Клава пошла в люди
пенсионерка
в одной рубашке чемоданчик кинули ей на улицу валялся
то Клава
пришла
в дом Алевтины
самой-то не было дома
был только дедушка Ваня
Клава:
пусти
Иван Петрович
Он пустил
живи
мужик когда он один
полоротый
заходи кто хошь
уноси что возьмешь
приехала
Алевтина
А ей говорят бабы
твой дед
женился
Алевтина мудрая жена обрадовалась Клаве
Ну живи
Две жены легче чем я одна
меньше материться будет при посторонних
смеялись
я говорит Алевтина и чайку всегда налью
и бери в огороде что хошь то-другое
долго Клава жила у Алевтины дней ли десять
потом Алевтина посоветовала
пойти к Оньке
и Клава жила у Оньки пока не купила дом
в соседней деревне

с тех пор
 Клава
 когда приходит
 говорит Алевтине
 ты говори когда умрешь-то
 с Ваней пожить охота
 смеются
 и деревня
 умылась
 скандала
 не получилось
 мудрая Алевтина

29. ЛЯХИ

Еду в Ляхи
 автобус трясет

впереди
 сидит молодая
 склонивши кудри
 кудряшки

на голове
 черная кружевная
 косынка
 донна Анна

это знак

кого-то потеряла

бледный невеселый
 профиль

выходим гурьбой
 в Ляхах

идем все
 дорогой одной
 как при коммунизме

мимо
 школы для дураков

Соколов Саша
 описывал
 не такую

навстречу трое
 дети нищие
 и едва прикрыта грудь

из этой школы
 студенты

в шлепанцах

т. е. что-то
 без задников

обувь большое место
 обуви нет
 лаптей еще не ввели

раньше смеялись
 над рифмой
 ботинки — полуботинки

здесь рифма
 тапочки — полутапочки
 т. е. почти тапочки
 кеды —
 полукеды
 рифма
 жизнь — полужизнь

полудурков
 брошенных деточек

идем рядами
 мимо них

мою вдовушку
 у проулка
 встречает
 хоп
 такая же вдова

мамаша
 тоже в черном
 платок платье
 всдет за руку
 девочку
 лет пяти

девочка
 без траура

но хмурая

итак
встречают молодую вдову
старая вдова
и вдова-ребенок

кого-то
совместно
потеряли

лица
встревоженные
у трех
вдов

девочка бледная

ладно идем дальше
колоннами

дальше хозмаг

в хозмаг
дружную толпою
нет ли чего
влились
это жизнь

в хозмаге гвозди вазы
ножи
в хозмаге аврал

Киселев удавился
какой Киселев

отец? отец.
он пришел из тюрьмы
сестра не приняла
выгнала

хотел продать
свою квартиру
а он там выписан
вообще в разводе
жена сидит
не пускает

не продал
удавился

дальше
тем же сплоченным
коллективом
(вдовушки испарились)
все пассажиры автобуса
прут
в торговый центр
может что выкинули
туда же с нами

буквально скачет
какая-то встревоженная бабка

колесит как танк
в камуфляже

халат
маскхалат
зеленый пятнистый

из-под халата мелькает
ночная рубашка

русская
форма одежды
да что там
все московские
интеллигентки
дома так ходят

мужчины в трусах
женщины в ночных рубашках
по выходным

Ляхи не исключение

ладно
бабка вприпрыжку
поспевает
что-то что
какой Сережка
Зайцев
удавился
кто это
ей бабы в ответ
из торговых рядов
сливы сливы сливы
ведрами ведрами
бабы в ответ

иди
Валька Коноплева
она все знает
Вальке
лет за шестьдесят
тоже сливы
в ногах
стоит ни с места
как каторжник с ядром

Валька объяснила,
не Зайцев какой Зайцев
К и с е л е в

это в тех домах?
дадада
удавилси?
удавилси

Киселев какой?
сирота?
от бабулька
бестолковщина
нет нет нет
отец отец отец
ты что
сирота

так это сироты отец!
дадада
а постой
ты что
сын-то Киселев
разве сирота?
отец был у него
мать

бабулька
(маскхалат):
— да сирота
жил по людям
дом у них был
пустой
отец у него пил
его бил
тут сына забирают в армию
отец провожает
провожал провожал
пили пили
так и не проводили

до армии не дошел
с автобуса сошел

в армии сделали бы
человеком
а так сирота

тут опять из проулка
три вдовушки
возможно
это и есть
сестра старуха
которая не пустила
и ее дочь
приехала к ней
из Меленок
(с нами в автобусе)

еще бы

кто бы пустил

пьянь тюремную
никто бы

его пусти
вынесет все
как герои Некрасова
продаст пропьет

грудью дорогу проложит себе
убьет

на нервной почве

кто такого пустит

да никто

не плачьте вдовы брата

вы были
правы

бедные опозоренные
большое несчастье все же
выгнали своими руками
удавился
по вашей причине

теперь что же

в хозмаге сказали

его похоронят
за счет государства

денег-то у сестре
нет
есть черный плат
и все
вот накрылась

в знак чего-то
что страшней скорби

прости прости

на автобусной остановке
сидим
ожидаая автобуса на Ляхи

автобусная остановка

это сценическая коробка
дом без четвертой стены

остальные стены
сцены

исписаны

ТАНЯ СОСКА РВАНАЯ
modern talking
алег дурак

математические выражения
с иксом

КОЛЯ 72

свежее изображение
(al fresco)
фаллоса
видимо гвоздем
по штукатурке
последние дни помпей

наскальные писаницы

сцена исписана
писали
со всеми ударениями

чувствуется аромат эпохи

местное место встречи
чекпойнт
на этой сцене
лежит бревно неотесанное

древнейший вид мебели

на сцене на мебели
сидит парень

надувшись как бас
перед арией Ивана Сусанина
«Ты взойди моя заря»

такой белообрый качок
плечи гуляют

сам сидит
сейчас взорвется

пока что жжет спички

одну что называется за одной

зажжет мигом погасит
гасит об скамью типа бревна

пых зажег

тык погасил

реакция мгновенная

пых!
сразу тык
сразу видно
деловой мужик

пришла веселая бабка
расхвасталась грыжей
пупочной
1,5 кг

показала из руки

парню сказала
у брюшина непутная
че не женисси

ушла веселая поддатая

он: пых-тык пых-тык
я ему говорю
че спички жжешь

он
а че
че
че

я говорю
эта детская страсть к огню

он говорит нет
че ты хочешь сказать
че
че

я например афганец

Господи

я говорю
с детства боюсь пожара

попала под бомбежку
в три года

он хотел что-то возразить
плюнул ушел

обидела человека
одна война другую

осталось побоище
горелых спичек
вид с самолета
взрыв на лесоповале

хотя какой лесоповал
в Афганистане

явление второе
пришла опять грыжа
села
завязалась веселая беседа

ейной грыже одиннадцать лет
сама доярка
а парень который жег и гасил
действительно пришел с Афгана

не женится
кто за него пойдет
брюшина непутная

пьет

кстати парень был одет как на
бал

голубая джинса
весь из себя
белые кроссовки
черная майка «Босс»

оделся пошел
куда еще

остановка автобуса

место встречи
если вы потерялись

в Чернове

31.

пришла
испуганная
дочка
боится сказать
там в клубе
валяется Гошка
какой-то мокрый

Мы любили Гошу
черного котика соседей
собирали для него сырные корочки
куриную кожу
кормили

он ел как помпа
делая так:
хаф хаф
смотрел глазами
с грузинской
поволокой

лежа
складывал под грудкой
белые ступни врозь
большие деликатные

деревня полна
его котятami
боимся говорить
хозяйке кота
ей недавно
снился покойник

32. НА БАЗАРЕ

(трио)

— Ты не знаешь я чья
я соседка Нинкина

— ДА

— котора
тебя обворовала

— ДА Я ТЕБЯ ПРИЗНАЛА

— ой что там дeется
она
она Витьку выгнала он ей окна побил в окно залез из тюрьмы
пришел ночевать негде переночевал у ей
все унес
украл
ее избил

— ДА

— он же закодированный (3-я бабка)
— он лопает
как лопал так и лопает
— кто закодировался нельзя пить умирает
— не умер
живет
лопает

ДА

— а какой у ней муж был какой муж не пил она пила жила он
на кровати она на диване с другим его спрашивают что же ты
ты муж а он а что я поделаю
— и умер
— и умер
инфаркт
инсульт
— сердце не выдержало

— А ОНИ ЖИВУТ .

— они живут а Витька ее избил
у нее рот зашит
глаз один зашит
живот зашит
инвалидность через него получила
— инвалидность это пенсию платить будут хорошо

— дом пустой окна выбиты все вынес продал
 пропил
 а она
 ворует капусту по огородам
 придет
 ой какой пододеяльник я люблю в цветочек только постирали
 вывесили
 она раз
 унесла

— У МЕНЯ УКРАЛА ДА

— ну вот
 я ей соседка

— А Я ТЕБЯ ПРИЗНАЛА

33.

Окся пришла
 ты смородину-ту возьмешь
 возьму

хорошо

дальше идут жалобы

Манькин белый петух
 мою курицу уводит

Шуркина кошка
 у моей
 ест
 все приела

а где мой Барсик чай у Вальки

она чай не кормит

пойти поискать его
 околеет не емши

ушла

в окно видим
 развитие событий
 Окся идет кричит
 БАРСИК БАРСИК

а Барсик скачет за ней

то было обиделся на нее
 ушел
 теперь простил вернулся

у Окси из родных
 не считая далекой сестры в
 городе
 только коза Зорька
 баранье
 кошка
 котенок Барсик
 куры

Клавка племянница
 она после менингита

все время
 беззвучно
 смеется
 курносенькая

ходит с косой
 косит траву

Окся ей отписала
 дом

Оксе 84 года
 Клавка смеется
 худая курносая
 с косой

34. ШАПКИН В АВТОБУСЕ

ТЕТЯ НЮРА (*Шапкину*). Ты пьешь, больше пьешь раньше умрешь.

ШАПКИН. Не.

ТЕТЯ НЮРА (*Шапкину*). Скоро умрешь!

ШАПКИН. Не. Не умру, не умру.

ТЕТЯ НЮРА. Ты себе гроб делай!

ШАПКИН (*оживляясь*). Одна ко мне пришла ей гроб сделай, а я говорю: материала нету.

ДЕДУШКА ЧЕМОДУРОВ. У нас мужик гроб себе сделал, двадцать лет прожил. Себе сделал и хозяйке.

ТЕТЯ НЮРА. Это кто? (*Страшно заинтересовалась.*)

ДЕДУШКА. Это я еще молодой был, в тридцать ли восьмом. В Киргизии город Сталинск.

ШАПКИН. Я зарплату получил 6 тысяч, о!

Весь автобус смеется.

ДЕДУШКА (*недослышал шутки*). Что он сказал?

ШАПКИН. Три тысячи пропил, три тысячи домой везу. (*Показывает деньги.*)

ТЕТЯ НЮРА (*осторожно*). Ты деньги-те не высовывай.

ШАПКИН. А ты сколь получила?

ТЕТЯ НЮРА. А я тебе не должна.

ШАПКИН (*легко вздохнув*). Тыщи-щищи.

ТЕТЯ НЮРА. Ты вот закодируйся, а не пей.

ШАПКИН. В Чернове все мужики закодировались, а бабы валяют дуба (*щелкает себя по горлу*) как хотят, бух-бух-бух и все.

35. ОТЕЛЛО

Вот кого баба Таня опасается, не принимает — это Катю: Катя молодая пенсионерка, свежая, цветущая, крепкая, с города Волгограда учительница, ямочки на щеках, кудряшки, шея все вынесет: две жилы, двужильная; кормит большую семью, солит, закатывает, варит, сушит, маринует; нога под ней как из-под рояля, только не катается, руки борца, тащит на себе весь дом, загар, как из Соч, всем помогает советом — но чего-то не может, не умеет в сельском хозяйстве: то не уродилось это как сажать облепиха мужская не растет только женская облепиха: цветами залит сад все попусту.

ни шута не получается

спрашивает совета как что прибить дом валится да он сто лет простоит твой дом внукам-правнукам хватит

ну а как же течет крыша это как

как-как свари вару

где взять мучается учится

засматривает в глаза ищет как Диоген

человека

вот почему бабы ее опасаются мужиков к ней не пускают: у нас и в своем дому столбы изгнили работай

Катя одинокая ей и помочь-то Бог велел

а они не велят

и баба Таня тоже туда же хотя в целом добрая всем

помогает

но полагает

что когда

тогда

когда баба Таня лежала в больнице с кистой

баба Таня с кистой а Катя бегала к ее деду Николаю за консультацией
что где куда

дед Николай
всем поможет посторонним считает баба Таня
окромя своей семье

никак не возьмется за баню банимся в тазу по частям ни постираться
каждый день все тазы и тазы

то-другое не изделано считает баба Таня
а он помогает иным
ну так вот пока вскрывали брюшину

тут
считает баба Таня
вскрыли дом
и все
Катя сошлася с дедом

дела-то прошлые
но Катя боится к ихову дому подходить сколь лет
прошло

все еще чешется
больное место в душе
короче чтой-то у их было
баба Таня с больницы прилетела
кричала на Катю не стерпела
ох дела

баба Таня Отелло
дед Коля Дездемона белая рубашка
соседки
бабы
Яги

36. ПЕСНОПЕНИЯ ЛУГА

I

Вперед! кричит пастух

Вперед, блядины!
Твари ебаные
(здесь и далее текст
подлинный. — *Прим. авт.*)

Эти твари бродят
В кустах
внизу
А пастух поет на холме
— Вперед, твари —
(см. выше)
поет пастух

и вдруг происходит
некое
столпотворение

Коровы как бешенные
скачут галопом вверх
а вымена
как знамена
полощутся
у них в ногах

II

Это просто
Овчарка пастуха
Всех собрала

Одну куснула

Остальные твари —
(см. прим. авт.)
опомнились

КАРАМЗИН

все поняли
и под лесню
(см. прим.)
рванули вверх
полоща
 знаменами
по траве

рывок — и снова
покой
пастух сидит

собака пошла

знакомиться
с хуторским бобиком
который
презренная помесь
лайки с овчаркой
лай-лай
конференция

III

Все то же
уши окрас
чепрак
но досада

хвост кольцом
ноги тонкие
коротковаты
лакей
лай-лай-кей
но
овчарке пастуха
все равно
все едино
познакомиться
а там будет видно
мужчина
— Назад, блядина
(прим. авт.), —
сказал пастух
без надрыва
и овчарка вернулась
— Лежать, —
сказал пастух
и она легла
с пастухом
а не с бобиком

Бобик
сделал собачий вид
что ему все равно
ушел

покой
песня луга

37. РАЗГОВОР ТЕЛЕФОНИСТКИ

Да!
Ой, ой,
Ой, врешь
ну врешь!

врешь

так

изоврался весь
(смеется)

да вот
слушаю
как ты загинаешь

ну

ну

еще
валяй

ну врешь ведь
как тогда

я было слушала
а тут
хватит
(смеется)

Ой ну вру-ун
ну врешь (и т. д.)

судя по интонации
это было начало
романа
ни разу его не послала

рано

38. СКАЗКИ ПРО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

I	первая фраза о погоде
Идем с электриком	
электрик Иван	день простоял т. е. не было дождя
от автобуса лесом полями Разговор об электричестве	III
счетчик гудит наш счетчик в избе трещит и подает азбуку Морзе (-- — — --) мучительно непонятный текст	Дальше с Иваном наши пути разошлись но тема электричества получила свое продолжение вечером когда пришла Лида Ивановна
— Это он так, да, — говорит Иван. — Так работает, да. — Ничего не поделаться? — Посмотреть могу. —	речь о бабке Н. у нее в прошлом году погибли дочь и зять вместе в Муроме
Но не пришел. Уже второй год не идет	Лида объясняет шли с вокзала проводжали сестру в Москву
II	пошли домой коротким путем а днем была буря
Его первая фраза: — День простоял. Мы не поняли То ли он весь день простоял не работал то ли чем любовался стоял полный день Нет! Оказывается Это Иван о погоде, как англичанин	помните? прошлый год-то буря мы помним. Лида: в Муроме провода порвало Они вдвоем в темноте наступили на провода

он-то погиб сразу
она еще жила

еще кричала

приехала скорая
дотронуться побоялись
пошли звонить на подстанцию
чтобы отключили
в районе
ток

пока звонили
она кричала

дозвонились
ток отключили

она умерла

IV

да
год назад
стояла жара
я помню

в августе дело кончилось
сухой бурей

на наших глазах
треснуло
с грохотом упало
дерево
на той стороне улицы

мы с Наташей
сидели на крыльце
мело пылью
листьями
по улице
мы сидели
дрожа от радости
что пойдет
долгожданный дождь

было жутко

интересно

дождь не пошел
стемнело
мы убрались в дом
заперлись
так же мело пылью

V

В это время они
погибшие
еще пили чай
с сестрой
и дочкой
собирались
на смерть
на вокзал
буря кончалась
кончалась жизнь

а мы
ложились спать
тихо
весело
и пошел наконец
дождь

и в трех местах
с потолка
закапало

я полезла на чердак
подставлять тазики

Наташа тряслась
внизу
в темноте чулана
наконец
все уладилось

мы улеглись
спать

в это время
они уже тоже лежали
соединенные
током
навсегда

Лида сказала
они хорошо жили
говорят
не ругались

VI

На другой день
по нашему порядку
мимо нашей избы
под окнами
проехал зеленый уазик
с красным крестом
скорая помощь

к кому неизвестно

VII

к ней, к бабке Н.,
рассказывает Лида

В деревне
потом говорили
дом пустой
ни дочки ни зятя
ни бабки
обворуют, чай
не обворовали

ехали из Мурома
сообщить о смерти
дочери и зятя
сразу на скорой

знали, на что ехали

как сказала
одна медсестра
ну до чего не люблю
сообщать родным

VIII

Жили счастливо
умерли в один день
сказка
про электричество

искренне так сказала

39.

рисовала акварель

василек ромашка
розовая мальва с берега Оки

стакан воды
три стебелька преломляются в стекле

никогда

не передать чудо этого утра
никогда

всю жизнь надеюсь
вдруг а вдруг

великим удавалось
поймать
розу в стакане грязновато-жилистую
ветку цветущей яблони
мощно-белую
красную как снег на закате
распростертую
над клетчатой скатертью

Петров-Водкин
Врубель
боги создатели

40. ИДУ ВНИЗ

Иду вниз
к реке
скоро мелькну
там

вдалеке

и исчезну
как прохожий
в мультфильме
«Сказка сказок»

Моцарт
Концерт
для клавесина

музыка
Михал
Саныча
Мееровича

он
уже
ушел
туда за холмы
они с Моцартом
там
в
сказке
сказок

41.

у всех тут
котят
щенята
рядом дом
Мурзик, 1 месяц
Тишка
2 месяца
Напротив
Шарик
Шарик ртути
2 мес.
Через дом
безымянный
черно-белый
гошевич
сынок
погибшего Гоши
через порог
поднявшись
на задние лапки
выглядывает
Хозяева дверь

не закрывают
а то раздавишь
берегут
видимо те
предыдущие
разом ушли
сговорились

поколение

они тут
коротко живут
работяги
опасная жизнь
крысиный яд
на соседских
помойках
цепи
еда одна
черный хлеб
молоко
крысы

42.

кто-то
тявкает
тихо
за окном
как щеночек
тявк тявк
тявк
Наташа говорит
это насадка
с цыплятами
разговаривает

тихий
мирный
успокаивающий
голосок
тявк тявк
наша Мурка
с котятами
говорила такими же
короткими словами
мурк мурк мурк
материнское бормотание
люблю люблю

43.

соседка
 осуждает
 своего щенка
 не лает
 (куда ему лаять
 пять недель от роду
 пищит
 няв няв)

нет, не лает
 она говорит

она по привычке
 на всякий случай
 осуждает огурцы
 (сидят пупыльчики
 не растут)
 помидоры
 одна гниль

котенка
 (ее Гоша был
 полусиамский,
 этот из Панова
 пановский
 целиком пановский
 тот, Гоша, был
 полупановский
 полусиамский)

осуждает щенка
 (тот Тишка
 был хозяин
 во дворе)
 затем
 проходит время
 оказывается
 огурцов закатали
 28 банок
 будут еще
 корзину собрали
 котенок
 большие глазки
 хоть и пановский
 ходит в миску
 (в углу миска с песком)
 а щенок
 Тишка № 2
 вдруг вчера
 мы просто
 удивились
 залился
 злобным
 лаем
 маленький

сидя
в конуре
видимо
кончилось
его собачье детство
стал
неуправляемый
подросток
Уйеа йеа
хааав
хаа хааа
аа ааааа!
Прямо Битлз
молодец

44.

у всех в деревне
здесь
незапятнанная совесть
и честь
но все жалуются

вывод
о участь
праведника

все жалуются
одна только
алкоголичка

на почте
пришла
за пособием
по безработице

она не жалуется
лихо кричит
огурцы у меня желтые
помидоры черные
эх жись
кричит
дайте мне
мои деньги
кричит два часа
но напрасно
ибо приперлась
на неделю раньше
выплаты

дайте ей да подайте
НАДО
почта отвечает
чо кричишь
у тебя вон в сумке
бутылка

— да не моя, — отвечает
 в том и дело
 не моя
 врет, конечно,
 ох Зинка
 делать тебе нечего
 Зинка

обычная жизнь

алкоголичка
 на почте
 мужской
 прокуренный вид
 стоит
 спортивные штаны
 подсмыкивая локтем
 лицо маленькое
 прокопченное
 веселое
 монгольское
 руки корявые
 огородные
 ей надо
 получить
 пособие
 по безработице
 так наз. «биржу»
 сберкасса
 невольно
 смеется

— ты чья
 новая
 лицо знакомое

сберкасса
 хохоча
 считает деньги
 сбивается
 хохочет
 заливается
 сама не понимая
 почему
 — ну как
 тебя зовут
 Ленка
 как ее зовут?
 А! Лариса
 Лариса
 вот симпатичная

та была
 у блядина

— ну не ругайся
 — я не ругаюсь
 только
 на фиг
 на фиг

чья ты
 — меленковская я

муж Ларисы
 смиренно слушает
 тут же
 локтями на стойку
 алкоголичка
 Зинка
 ухаживает
 за его женой

в целях получения
 «биржи»

45.

Серафима
 тайно говорила
 моя мать была мормонка
 знаешь
 слышала
 были мормоны такие
 знаю
 знаю
 Серафима

у мормонов разрешается многоженство
 одному можно брать много жен

Серафима
 посуровела
 больше речи о мормонах не заводила
 осталась
 в православии всей душой осуждая многоженство
 у отца
 было много баб вспомнила некоторых он привозил
 чай пить
 мать молчала кормила поила он ее бил
 мормонка
 тут много мормонок

46.

я в сарае
что-то дочка моя поет
как обычно поют малыши

без мелодии ноет, тянет
как будто сквозь бумагу
на гребенке
и все время у меня за спиной
как ни оборачивайся не видно
и как-то очень одинаково

что-то нечеловеческое
настырное
ноющее

так! этот исполнитель
беспрерывно, тонко
ноет, тянет
песнь на гребенке

песнь плена

однажды так вот
кто-то спел у меня над ухом
спел
и укусил
цапнул
как мотыгой
по черепу

кто-то мерзкий
типа саблезубой
осы

о
так и есть
в рукаве плаща
сидит нечто
новейшее
мы вас не видали

маленькое желто-черное
вооруженное как робот
поет свою
жуткую песню
плоско прижавшись

времена настают
каких-то страшилищ

то прилетит крылатый таракан
то муха с саблей в жопке
то жук как черепаха

все хотят крови

47.

весь мир
копится в тех
кого обидели

с трудом
просачивается
сквозь них

как верблюд
через угольное ушко

обиженные
злые
узкое место

мира

вдруг раз
и вообще
перекроют
кислород

через добрых
мир
свободно идет

48.

у соседей
скулит
подвывает
пес сеттер

без конца
как дверь намазаная
туда-сюда

уонииии-ииии

он больной
красавец
его трижды
бросали
хозяева
с ним почти
невозможно
жить

больные кишки
не ест
скрипит

подобрала
 сердобольная
 Валечка
 теперь она
 ни в дом
 ни из дома
 он
 не пускает
 каждый раз драка
 он рвется вон
 собака

не ест ничего
 его
 поносит
 может укусить
 ночью
 защищая
 любимую кость
 легкая форма
 идиотии

но идти
 с ним рядом
 по улице —
 гордый красавец
 коричнево-пятнистый
 вот так бывает
 с кобелями
 на людях красавец
 дома
 сами понимаете

49.

Д.
 рассказывает

меня сглазили после родов
 целый месяц
 ничего не ела
 не могла
 поднять руку
 г° 40

приехала сестра
 из Сухуми с родины
 пошептала как шепчут
 азербайджанки

потом скатала 40 шариков
 из ваты
 подожгла
 горело с треском
 как порох

о как тебя сглазили

пеплом
нарисовала
два креста
на лбу
и ТАМ
там
самое слабое место
женщины

больное

на следующий день
утром
я встала

как ни в чем не бывало

соседи удивились
я встала
начала стирать
ребенку-то месяц
другому год и месяц

надо стирать

вечером
пошла к врачу
показаться

надела
новые трусики
из пачки

вечером стала переодеваться
в трусиках
дыра
совершенно новые
трусики

дыра

ТАМ

о
сказала моя
сестра

это вышел

ГЛАЗ

50.

Д.
рассказывает

когда ей самой
был годик

она умирала
от с у х о т ы

мать носила ее
к врачам
одна врач сказала
выбросьте ее
кому такое нужно

но мать
не выбросила

какая-то старушка
посоветовала

три раза

завернуть
в теплую требуху

теплую
только что
из коровы

мать договорилась
на бойне

понесла меня
оказалось
там принесли
еще одного
ребенка
цыганенка
да
та бабка сказала

ПОСЛЕ
она у тебя будет
спать
не удивляйся

действительно
я спала долго
проснулась
стала есть
как мясорубка

и так три раза
и все прошло

может быть
действительно
помогло

но сейчас
говорит Д.
коровы все больные
нет той требухи
того говна
кишок
в которые
их
заворачивали
с цыганенком
братом
по крови

это говно
больно

51.

август

все созрело

крапива
особенно жжет
на память дня на три
вперед

мошка
лезет в глаза

мухи
соззрели умственно
эту песню
не задушишь не убьешь

август
звездные пути
луна в тумане
а
крики у костра
на той стороне реки

обалдевших
школьников
переходного периода
переходного в девятый класс

просто так
ночью
крики

ААААООО

Наташа боится
чутко слушает
глаза врастопыр
одиннадцать лет

крики
на той стороне

все зреет

август

52. ХОКУСАИ

вчера в девять вечера закат догорал
автобус ехал среди туманов
японские дела
Хокусаи
гравюры по дереву по деревьям по пояс в тумане
вышла в Адино
страшно идти одной
закат догорает
лимонно-апельсинные дольки заката

одна спустилась в долину реки Часовинской
река как река шириной в рукав
но все же своя долина полная тумана
я вошла в гравюру в туман ничего не видно в радиусе протянутой руки
но иду ничего
долиной реки

так всегда
входить страшно войдешь нормально

дальше лес ой ты лес
действительно темный лес
вот где ужас-то

и мать сыра земля
точно: сырая
мать

затем поле русское поле все как по писаному и вроде на слова Инны Гофф
но
это, с другой стороны, поле деятельности трактористов деревни Фурсово
широкое поле деятельности по регулярному перепахиванию дороги я уже
предчувствую
только-только наладится дорога жизни в нашу деревню
протопчут примнут терпеливые бабы с сумками полными старого хлеба
свиньям курам собирают корки несут
только проторят по пахоте злые автолюбители везут детишек стариков
масло пустые банки крышки мешки пленку
единственная дорога в нашу деревеньку

бац
 снова трактористы вышли на большую дорогу
 ахтунг
 начинается охота
 дорога виляет
 трактора поймают
 взрежут брюхо навалятся размясят

и вот в десятом часу вечера солнце уже смылось но небо еще светлое
 выбегаю в чистое поле
 оуууу дорога растворилась
 трактористы опять постарались
 мокрая глубокая пашня что поделать чтооо чт чт чт чт
 иду
 через поля
 как уже описано
 ноги утопают
 о сырая мать иду по матери
 послана трактористами

ладно моя тропа первая следом пойдут другие нас не убьешь протолпим
 новую дорогу
 а трактористы игрушки что им стоит поднять лемеха раз в десять минут
 побережь нашу дорогу
 стоп!
 вы что вы что когда это кто делает что
 без бутылки

как-то через нашу речку черничку человек сердобольный принес бросил
 доску уф

переходили цельный день
 думали завтра же украдут
 украли

а что
 ходитя так
 по воде яко
 посуху
 другие ходили же

привожу подробности
 жизнь подробна
 промедление жизни подобно

и этот живой ужас
 идти по ночному лесу
 одна на десятки километров
 дай Бог чтобы одна

ходить по дорогам такой гравюры
 даже Хокусаи было тяжело
 возвращаться с природы

поэзия (в двух словах)
 преодоленный путь
 ушедший страх

все кончилось
 можно рисовать писать
 плакать

вдали фонари в нашей деревне семь фонарей
 в тумане во тьме
 печаль дождя
 тихо вхожу в сени
 обитая драной холстиной толстая дверь
 открываю тепло у стола под лампой в тепле рисуют дети
 возгласы радости
 ты мокрая
 ешь ешь
 тебе оставили
 девочки виснут на шее милая тяжесть
 я вернулась
 Хокусаи
 я вернулась

53.

Окся пришла
 плачет
 у ей
 распятыё унесли

вечер начистила
 поставила к иконе
 как золотое
 распятыё

это эн тот унес

а эн тот купил

Бог себя не защищает
 а они бабки
 когда благодарны
 говорят не спасибо

а

Бог спасет

54.

грузовик
 едет по нашей тихой улице по травке по песку
 остановился

вдруг
 дикие звуки песен

БУ-БУ-БУ!

О-Ё-Ё!

страшные металлические голоса

это у шофера в кабине
орет радио
к нам пришла цивилизация

это Оксе наконец
привезли
дрова

какие-то кривые пни

она вышла
стоит
руки кренделем

наверно
в душе сомневается
как такие коренья
пилить

но печку-то надо топить

из сельсовета прислали
как престарелой
она оплатила как престарелая
теперь стоит сомневается
матом ругается

Оксе
восемьдесят четвертый
по Оруэллу

55.

у Окси над кроватью
висит коврик
сама вышивала

называется СИНАТОРИЯ

в центре дом с трубой

пара сцепившись
гуляет
пришита
друг к другу
локтями
сиамские дела

далее рыбы
птицы
того же размера

елки
какие-то кочки
наскальные рисунки
непостижимо прекрасно
темная река через весь горизонт
музейный вариант

Руссо Пикассо

я задрожала
как это делается

как как

берут хороший мешок
холщовый

и брюки
полушерстяные синие

и красные нитки
обшивать

я нашла хороший мешок
выстирала
выгладила
далее выстирала
распорол и выгладила
чьи-то синие
полушерстяные штаны
висели у меня на сушилах
на сеновале

видимо в них тут ходили
все мужики
на Троицу
на Духов день
на Николу

взяла у Окси
СИНАТОРИЮ
стала срисовывать
переводить
ничего не вышло
слепое копирование

синаторию
надо делать
в память
о тех днях

когда ехали
через Москву
с мешком за плечами
чемоданов не было

в Кисловодск

набралось
трое земляков
еще женщина
и
парень

получили путевки

приехали
стесняясь своих
заплечных мешков
их с мешками
усадили в автомобиль
привезли
дали места
покормили спать уложили

утром
с той бабой
пошли в столовую
а где
земляк

не дождались

он ночью
умер

какой там Руссо

в память о тех днях
Окся
сделала
коврик
всегда у нее
над кроватью

пары
сшитые локтями
там
никогда не расстанутся

гуляют среди рыб
птиц
кочек
речек
среди мироздания

все живы

56.

в двенадцатом часу ночи
Наташа
вышла в огород
сказала
подышать
не хотела ложиться спать

кричит оттуда
ОЙ

что это что это такое
в небе
там
там что-то упало

смотри смотри ой опять
МАОАМ

а что
это
как как называется
млечный пуууть

а что это шевелится
ЗВЕЗДА?
стоим в небесах по грудь
первый раз
она увидела
августовское небо
безлунная ночь

шевелиются звезды
торжественное
закрытие
фестиваля

57.

над колодцем
опрокидывая ведро
вспоминаю
(почему-то)
прибалтийский городок
Шяуляй

такое же
пасмурное лето
запах воды

театрик пантомимы
бродячий автобус лазик
лазит по городкам

режиссер
накачаный кофе
и табаком
до кофейного цвета кожи

он кстати любил
говорить перед спектаклем
перед занавесом
для своих литовских зрителей

что-то наверно простое

объяснение спектакля по имени
чайка по имени
Джонатан Ливингстон

пантомима
фигурное катание в тапочках
на пяточках
выгнутые спины
как у котов

развинченные локти
розовые софиты
меловые лица
голубой задник
каждый вечер праздник
но ночь это ночь
а утром
трезво
на репетицию
кофейный режиссер
с чашечкой и сигаретой

о маленький Шяуляй
розы
белые пеларгонии
как взбитые сливки
диетстоловая
скатерти
взбитые сливки
над тарелкой киселя

кружева жизни

из окон гостиницы
видна
плоская
асфальтированная
крыша тюрьмы
по углам вышки

окна
тяжело забранные намордниками

часовые
никаких нарушений

под крышей кипит
там сидят смертники

в подвале
когда приезжает
областной палач

идут свои
спектакли

58.

когда мы заблудились
в нашем лесу
я поняла
но ничего не сказала Наташе

мы весело пели
оперные арии
я вспомнила
весь мамин репертуар
благословляю вас леса
на воздушном океане
ни сна ни отдыха измученной душе
а также
а я быть может
я гробницы
сойду в таинственную сень

четыре раза ходил дождь

мы шли шли шли мокрые
Наташа тоже веселилась
но глаза были круглые
дело двигалось к вечеру

моей единственной надеждой
было далекое шоссе
услышать машину
значит спастись

однако было воскресенье
машины не ездил видимо
да и лес очень шумел
и мешал

наши леса
на сотни километров
в маленькой Наташе
метр с небольшим
что-то страшное
этот шумный лес

вечный шорох
длящийся века

вдруг
далекий звук

натруженный писк
грузовика

когда мы пришли
в деревне уже
беспокоились

Окся сказала
а я-то как блудила
никому не говорите
мои уж по мне истомилися
мы с Манькой да с Катей
с четырех утра
до одиннадцати ли вечера
да полные мешки клюквы
в ноябре
тут
сердце России

59.

Аня впервые (8 лет)
вымыла
всю посуду

от пяти
человеко
едоков

посуда в деревне

о
грязная посуда

больной вопрос

Аня
впервые
в жизни
взвалила
ношу
жизни

на себя

так легко
и так сияла
потом

наградой была
чистая кухня
мир
покой

женщинам
не нужно
видимо
искусство

они творят
ежеминутно

еду
мир
чистоту

сытых
здоровых
спящих
чистых
детей
мужей
стариков

во веки веков

60.

красила
раму
в чулане

сложила
лоскуты
в одеяло

времени
не хватает
сшить

последняя
неделя
в деревне

как хороша
жизнь

61.

Сидели
над обрывом
над Окой

под зонтом
под дождем

Наташа
Маша
Аня
на лавке

Наташа
Аня
сидели

Маша (5 лет)
упала

плашмя
на землю

лежит
маленькая

вниз лицом
молчит

я ей позавчера
сказала

в деревне
не плачут

она
лежит
не плачет

наша
парализованная Маша
молчит

62.

вот
и отъезд

лица
остающихся
детей

Кирилл
с Машей
на шее

Анюта
прыгает

солнечный вечер
в Ляхах

никто
не плакал

(в деревне
не плачут)

у Маши
в этот день
ее отец
Кирилл
вырвал
первый
зубик

Маша не плакала
(в деревне)

зато
они
пойдут теперь
в сельпо

покупать
Маше
подарок
на зубок

то-то радости
будет

наш отъезд
был украшен

зубом Маши

никто не плакал

я
в том
числе

63.

НАТАША: Никуда не хочу
Ни в Москву
Ни в Муром
Хочу обратно в деревню

— Там же осень
все уедут
ни одного ребенка
одна Настя

Наташа:

— Ой бедная Настя
Совсем одна

— Ну почему одна
она с бабушками

— Ой бедная Настя
Одна с бабушками

— Осенью там плохо
идут дожди

Никого-никого

Антонина плакала

Ма, почему Антонина
плакала, когда нас провожала

— Говорила не пишете
обижаюсь не пишете

Зимой в деревне
день короткий
телевизор посмотрим

и спать
и спать.

Не знают как мы их помним



МАРИНА КУДИМОВА

*

ПЛАЦКАРТА

* *
*

За ночь в красном жару, как свеча, оплыла
А к утру, когда думали: всё, — замерла,
Дух не выпустив, оцепенела.

На челе проступил освященный елей,
И когда за дверьми заходили смелей,
Содрогнулась — и вышла из тела.

Исступила, взлетела без мер и весов,
И себя увидала меж гор и лесов,
И себя оглядела, как страж.
Параллельно, зеркально средь свар и кружал
Витьеватый изгиб арматуры лежал,
Бурелом, террикон, такелаж.

И трелевочный трактор, и чвак от квача...
Так на лицах у жертв торжество палача
Обличает зловещая дипса.
Корм с конем разошлись. Голос был, но осип,
Был цветочек неправдоподобно красив,
Но от крови младенческой слипся.

И тогда обратилась к себе, как к чужой:
— Оставайся, Россия, отдельной душой
И, паря, на царя уповай.
И, покудова я из-под гор и дерев
Буду этот полет созерцать, замерев,
Исступления не прерывай.

И когда возыграет, возблещет труба,
В сонме вестников я не узнаю тебя,
Близорукая для высоты,
Не услышу свидетельств на Страшном суде,
И не встречу тебя никогда и нигде,
И не вспомню, что я — это ты.

* *
*

Проводник одеял не дает..
Пробуравались в узкий проход,
Скарб устроил во братской могиле
Кто успел, и на верхний полоч
Барахлишко свое заволок
Тот, кто выдался ростом и в силе.

Проводник не дает одеял..
И билеты уже проверял,
И про чай уже обезнадежил.
На полати, на нары, на печь —
Только тулово вытянуть, лечь, —
Так в столице народ обезножел.

Не ложимся и милости ждем.
А снаружи Никола с гвоздем
Так и пьявит в окно, так и садит.
Повернись к нему голым лицом —
Сдавит голову ледяным кольцом,
Отвернись — донимает и сзади.

Не решится никто, ни один!
Проводник сам себе господин.
Накуражился он, нахамился.
Он для зайцев купе откупил,
Он вагон от щедрот протопия —
И ни Бога над ним, ни комиссий.

Я к соседке зываю: — Пойдем!
Ты с дитем, а Никола с гвоздем.
Ин застудишься на боковунке. —
Ни за что, говорит, не пойду!
Пусть сомлеет дитя в холоду,
Пусть примерзнет щекою к подушке!

Подымаюсь, зубами скриплю —
Я себя, как соседку, люблю.
А в проходе шатает и водит.
Предвкушаю великую прю.
Не прошу — лишь упорно смотрю...
Проводник одеяла находит!

Потянулись за мной, побрели,
Прижимая к груди, понесли...
Проводник! Ты хотел униженья
Паче гордости? Дует в окно...
И в каком еще порнокино
Живописнее телодвиженья?

Скоро, скоро!.. В сортире мокро,
Но открыто — и это добро.
По душе разливается нежность.
Бьет об ноги чужие, ведет...
Скоро кончится этот проход —
Упокоюсь, угреюсь, угнезжусь.

Отчураться бы как, отслужить,
 Чтобы бешеный свет притушить,
 Чтобы вырубить страшный динамик,
 Чтобы ревность унял проводник...
 Снова он в коридоре возник,
 Снова зыблется тенью над нами...

Он ведет пересчет одеял!
 Той рукою, какой выдавал,
 Сбоку щупает: ну-ка, не два ли?
 И суха его длань, точно мел...
 Кто б отважился, кто бы посмел
 Посягнуть?.. Это, право, едва ли.

И на мне одеяло одно...
 О, как тянет, как дует в окно!
 Как на стыках то ухнет, то эхнет!
 О, какое сырое белье!
 Проводник, это все не твое, —
 Неужели радеешь о всехнем?

И ведь утром подынешь чуть свет,
 Чтоб собрали постель, чтоб билет
 Возвратить для отчета в конторе,
 Чтоб успели курнуть натошак,
 Чтобы, дурни, в своих же вещах
 Не ошиблись себе же на горе...

* *
 *

Чего нам Бог не дал,
 Об этом черт сведал...
 Уж давал-наддавал,
 Задарил-забаловал.

Человек терпел, терпел —
 И очерпел...

Что за член, что за уд
 В этом теле точию?
 Как у вас его зовут?

Просто: «Очередь».

Щит от солнца горит
 На реке Каяле...

Человек говорит:
 — Вы здесь не стояли!

На смерть — не на живот
 Огорчилась:
 Я стояла тут, да вот —
 Отлучилась.
 Ты куда меня повлек,
 Бесноватый?!
 Трудовой человек,
 Трудоватый...

Неминуемая беда,
Сгинь-провались!..
Я стояла тут, когда
Вы не родились.

* *
*

Чтобы не впасть в прострацию,
Утешайтесь едой —
Росной от радиации
Редискою молодой.

Лакомитесь убоиной —
Никто же не обонял, —
Водочкою, настоящей
На нефтяных камнях.

Лабораторным, мешаным
Брашном в конверте потчуйтесь,
Персиком вердепешевым,
Убиенным во отрочестве.

Обольщайтесь нетварною
Опытною кашицей,
Как гречкою антикварною,
Раритетною ржицей.

Конусными терриконами
Шлаки стоят в отвале.
Не небрегли законами —
В очереди вставали.

Известчатый храм утробы
Пусть рухнет, как Карфаген! —
Великим стояньем добыт
Обмерзлый канцероген.

Изблеывали, икали,
Звали в корчах капут,
Но у хозяев не крали —
Лопали, что дадут!

* *
*

Не переплюнешь слова покаянья
Через губу...
Эти проплешины, эти зиянья,
Эти табу!

Вдарь головой в потолок огоньковский,
Вырвись из рук —
И заблудаешься: вот он каковский —
Чтения круг.

Ты не устал, добросовестный критик,
Сроки мотать?
Много в науках различнейших гитик
Дай почитать!

Я ли кичиться закваской заштатной
Потороплюсь?
Юность моя в мини-юбке цитатной,
Грех мой — педвуз!

Как зачинаю и как я рожаю
Вам ли не знать?
Этих. ну как их. кому подражаю
Дай почитать!

Понаторевший в забористых ковах
Для дураков
Где матерьяльца набрал ты для новых
Патериков?

Юность моя в красноглазой герани,
Прелая гать!
Пропуск на право сиденья в спецхране
Дай почитать!

Вызрела плоть в безвоздушье кримплена —
Не перемочь
Плачь, невостребованного колена
Блудная дочь!

Примешь подачку из рук скудоума
За Благодать,
Выживший выкидыш книжного бума.
Дай почитать!

Академическим компрачикосам
Видно насквозь,
Эким винтом и с каким перекосом
Выгнута кость

Орденосцем иль форточным вором
А помирать.
Ну уж хоть подпись-то под приговором
Дай почитать!



ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ



ИЗ ВСЕЛЕННОЙ СКВОЗИТ ХОЛОДОК

* *
*

Инфляция. Распад державы.
Поэты на обломках славы,
толпы ревушей океан,
свобода и пустой карман.

А жизнь с изжогой и с одышкой,
с культей, с неизданною книжкой,
а жизнь, какая б ни была,
до умиления мила.

* *
*

Донашиваю пиджаки, рубахи,
живу в каком-то полудетском страхе,
не умереть боюсь — боюсь не быть.
Донашиваю жизнь свою земную,
но мокрый клен и лужу золотую
так не умеет молодость любить.

Игра

У Байрона такой был взгляд,
когда к нему слетались музы.
Митасов бьет,
и все кричат —
шарами захлебнулись лузы!

Вот над столом склонился он,
и смотрят урки на кумира,
так молодой Наполеон
кроил указкой карту мира.

Вот поплевал маэстро в руку,
шару вращение дает,
а кто-то в небесах ведет
миры по заданному кругу!

Со страшной силой закрутил
поток звезд,
комет,
светил...

Античное воспоминание

— Пой, о богиня, про гнев Ахиллеса
 Пелеева сына... — И входит Инесса.
 Вечер весенний, тучи голодных ворон,
 в синее небо гремит из окна патефон
 и на пластинке кустарной

в центре поющего круга —
 туберкулезные легкие друга.

— Пой, о богиня, про гнев Ахиллеса, —
 и входит с друзьями Инесса,
 и по заказу веселых непьяных гостей —
 вальс «Домино» на рентгеновском снимке костей.
 Пой, о богиня про гнев Ахиллеса...

* *
 *

Когда делили Землю племена,
 достались нам печальные равнины,
 достались реки, темные от глины,
 и от мороза страшная луна.

А на душе то холодно, то гадко,
 и с ненавистью мы в себя глядим.
 Не жаль, что нас не обласкал Гольфстрим,
 но древний Рим периода упадка,

о, этот древний Рим...

* *
 *

Д. С. Лихачеву.

В стеклянном шкафу отражается даль,
 и белое облако вдруг наплывает
 на русский Толковый словарь...

Сорока летит, и ее отражение
 мелькает в стеклянном шкафу,
 скользя по Ключевскому, по Соловьеву,
 на Блока присела слегка,

почистила клюв и с зеленой ограды
 планирует за переплет «Илиады»,
 а дальше уже — синева, облака...

* *
*

Майский вечер. Открытая книга.
В старой лампе шуршит мотылек.
Льется тихая музыка Грига,
из вселенной сквозит холодок.

Впереди — могилевское лето,
полустанки, грибные дожди,
окна, полные теплого света,
все, что было, — еще впереди

* *
*

Осы вьются над колбой
с тягучим вишневым сиропом...

Память детской щеки — ледяные уколы
пузырей, вылетающих из чужого стакана,
и вот я у цели, я — первый.

— С апельсиновым или с вишневым?

Я в отчаянье. Что ей сказать?
Сзади очередь ждет, изнывая.
Прилипают к асфальту ботинки.
— Быстро, мальчик! — кричит продавщица.

И я отвечаю: — С вишневым... —
Поздно! Я ведь хотел с апельсиновым.

Но когда я прошу с апельсиновым,
о, вишневый... Не смейтесь.
Это вовсе не детский вопрос.

Подвели меня чертовы осы.
Шипит газировка в стакане,
из воды вылетает струя пузырей,
шелестящих, стреляющих в нос,
нежно колющих губы и горло.

И опять — золотое жужжание ос,
облепивших стеклянные колбы
с лиловым и желтым сиропом,

могилевское знойное лето,
и в ладони — единственная монета.

— С апельсиновым или с вишневым?

Лесная молитва в Карелии

А по земле с размаху лупят градины
и вскакивают шишками грибы!

Из юношеского стихотворения.

Господи! Для мученицы Лиды
пошли хотя бы тучу дождевую,
чтоб ей на радость выросли грибы.
Не привелось увидеть ей Париж,
Брюссель и Брюгге ей не показали
колоколов и черепичных крыш,
она в Чупе скучает на вокзале.
Пошли хотя бы тучу дождевую
с небесными подачками судьбы,
и улыбнется мученица Лида:
— Смотри, какие я нашла грибы!

* *
*

Вон рыболов с вечернего парома
идет, не зная ни добра, ни зла.
У рыболова в волосах солома
и синие безлюдные глаза.

Горят рекламы купли и продажи,
гул новостей разносят провода,
а рыболов закурит и расскажет,
что на озерах зацвела вода.



ДАНИИЛ ГРАНИН

*

БЕГСТВО В РОССИЮ

Роман

XXV

Никаких конкретных обвинений комиссия не предъявляла, вопросы носили общий характер, выясняли как бы морально-политический климат — есть ли в лаборатории какая-то группа, которая диктует, навязывает темы, мнения. Выспрашивали недоверчиво, каждый чувствовал себя под подозрением. Заинтересовались почему-то музыкальными вечерами у Брука — что за программа, кого приглашают, о чем говорят.

Так и не сообщив своих выводов, комиссия удалилась, и сразу же появилась новая — из Госконтроля; за ней — от профсоюзов и Министерства финансов.

Загогин разъяснил Картосу: лабораторию берут измором, таковы последствия партбюро; в этом году работать не дадут, потом навесят невыполнение плана, срыв госзаказов — и «блюдо поспело, можно кушать» Единственный выход — ехать к министру за заступой.

— Вы меня не слушаете? — перебил себя Загогин.

Картос смотрел на него затуманенно.

— Когда закружишься, лучшее средство — кружиться в обратную сторону

— Что вы имеете в виду? — не понял Загогин.

— С завтрашнего дня меня нет. Ни для кого. Минимум на неделю. Я должен подумать.

Расспрашивать Картоса не полагалось. Он находился как бы под высоким напряжением, оно исключало приближение.

В течение недели все телефоны в его кабинете были отключены, Нина Федоровна, секретарь, величественная дама, похожая на памятник Екатерине Великой, отвечала всем одно и то же: «Мне запрещено входить в кабинет, вы ведь понимаете, что такое творческий труд».

Время от времени Картос приглашал к себе кого-то из сотрудников, иногда сразу нескольких, и даже сквозь двойные двери, обитые черным дерматином, пробивался пронзительный голос Джо.

Одни покидали кабинет задумчивые, притихшие, другие — разгоряченные, как будто их там чем-то напоили.

Нина Федоровна не поддавалась ни на какую лесть, с неистощимой приветливостью ссылалась на «поручение для Королева» и только однажды смешалась, когда из Москвы позвонил сам Королев.

Слухи, конечно, просачивались. Какой-то центр. Проект центра... Что-то вроде института. Да нет — несколько институтов и еще завод.

Уединение Картоса было прервано телеграммой, его вызывал в Москву новый заместитель министра — Кулешов, сменивший Степина, назначенного министром.

Разговор начался жестко: извольте, дескать, наладить отношения с партийным руководством, нашли, мол, с кем ссориться, уж лучше на нас срывай-

тесь, министр, тот выговор объявит либо заставит по-своему сделать, а эти. Вскоре появился и сам Степин, увидев Картоса, обрадовался, стал расспрашивать. Кулешов тактично удалился

И Степину уломать Картоса не удалось. не желал он увольнять людей и менять систему подбора не собирался. И вообще не понимал, как можно работать, подчиняясь и министерству, и райкому, и обкому партии. Долго, конечно, так продолжаться не может, надо добиваться для лаборатории автономии. Работы на Королева, Туполева и прочих влиятельных военных заказчиков дают защиту, но не освобождают от придирок и жалоб в ЦК. Такие жалобы уже поступили и будут идти. Что же делать?

Министр снизил голос — нужен визит Хрущева. Но для этого надо иметь серьезный повод, ведь Никиту со всех сторон приглашают — иной возможности Степин не видел. Идея Степина не вызвала у Картоса восторга. Генсек же ничего не понимает в ЭВМ и спецмашинах! Министр страдальчески сморщился. Ну разве кто из советских директоров, самый заваливающий, темный, осмелится ляпнуть такое? Понимает — не понимает. Разве для этого существует генсек? Его приезд — это признание, это значит, что лаборатория достойна внимания Наивысшего! Значит, всей отрасли — господдержка. Хрущеву уже докладывали про микрокалькулятор — не клюнул. Нужна большая машина, Никита — мужик умный, его на фуфло не взять. Большая машина может стать козырной картой. Доведем потом. Сейчас важно показать.

Нет-нет, так Картос не умеет. Грех выпускать машину с недоделками, первую их машину.

Когда же до Картоса наконец дошло, кто к кому и зачем должен принаравливаться, он предложил показать Хрущеву вместо неготовой машины проект, который готовил для министерства, проект центра по созданию вычислительных машин, научно-исследовательского института и завода. Лаборатория выросла, ей тесно, да и заказы подпирают.

Степин умел с ходу ухватывать суть проблемы, сквозь шелуху слов добирался до корня, и его собственные вопросы всегда были по делу, как говорил его замы, «наш сечет»..

Он шагал по кабинету вдоль длинного стола, похлопывая по спинкам стульев. Соображения Картоса вызывали какую-то досаду, но и возбуждали. Нет, не то, то есть то, да не так! Не просто научный центр нужен — делать так делать не мелочась. Замахиваться надо на целый комплекс. И коммерческий центр. И учебный. А при нем городок. Специализированный, умный, в конце концов ЭВМ — главная дорога для современной техники. Оборонной (министр) и гражданской (Картос)! Если мы хотим обогнать капстраны (министр). Но ведь это огромные средства (Картос)?

Они славно помечтали — создали фантастически прекрасный город, блаженную утопию компьютерной эры, компьютероград, Флинт-Сити, как назвал бы его Картос, что означало: Кремневый город, Кремневая долина. Низкие белые здания в зеленых кущах, тихое, бесшумное усердие умнейших машин...

Компьютеры решают проблему производительности труда. А Ленин правильно говорил, что в борьбе с капитализмом все будет зависеть от того, удастся ли нам обеспечить более высокую производительность. Пока что она выше у капиталистов. И будет выше, если мы не войдем в мир компьютеров.

— Это главное мое дело. Я хочу оправдать свой приход к вам.

Картос при этом так разволновался, что Степину стало неловко. Он сухо вато попросил сделать макет центра хотя бы в самом простейшем виде и записку к нему, чтобы «в случае чего» можно было всучить Хрущеву. Предлагать надлежит Картосу — все пойдет от его имени, инициатива снизу, министр, дабы сохранить свободу маневра, поддержит, но не сразу...

На глазах у Картоса разворачивалось искусство настоящего полковнца. Предусматривались и отход на заготовленные позиции, и разведка, и артподготовка. Операция «Центр», никак не меньше.

Новые возможности привели лабораторию в восторг. Никто не рассчитывал на такой размах.

Среди всеобщего возбуждения Картос сохранял сдержанность. Он видел, как разрастается идея центра, но это не смущало ни Джо, ни ребят. Да и министра тоже. Довольно резко тот оборвал Картоса — нечего жаться, ракетчики позволяют себе черт знает какие траты, ядерщики строят город за городом. А моряки! А авиаторы! Не стесняются. Тащат, рвут, чем больше вырвут, тем больше уважения. Цифры, которые он назвал, поразили Картоса. «У нас моральных прав больше!» — заключил министр.

— Ты знаешь, глаза у него загорелись, ноздри раздулись, он стал как хищник.

— Почуял добычу, — сказал Джо. — Prestиж министерства зависит от бюджета.

— Наш центр оправдывает себя. И быстро. Мы нужны всем, не только военным. Но они неразумно нерасчетливы.

— Русский размах. А будешь сомневаться — отклонят проект. И тогда тебя съедят

— И тебя тоже, хотя ты костляв и волосат

Ни Картос, ни Степин о своих надеждах на визит Хрущева, естественно, никому не говорили, и тем не менее вся лаборатория каким-то непостижимым способом об этом узнала.

— Тебе надо понравиться ему, — приставал к Андреа Джо. — Ты ведь это умеешь.

— Я не знаю, что нравится генеральным секретарям, где у них слабое место.

— Это государственная тайна. Самая большая тайна со времен Ахиллеса.

— Некоторые считают, что ты был хорошим шпионом.

— Какой я шпион, я даже твоих слабых мест не могу выведать.

— Мое слабое место — мой главный инженер.

— Это как сказать. На фоне моей еврейской морды тебя принимают за приличного человека. Выдай ему что-нибудь такое, чтобы он расцеловал тебя.

Андреа помрачнел.

— Не умею я.

— Тогда не берись руководить.

— Убирайся! — Андреа вытолкнул Джо из кабинета.

Но часа через два тот снова появился перед Андреа:

— Слушай тебе нужен имидж. В тебе должны увидеть гения. Ты должен изобразить из себя гения...

— Гения? Это нетрудно. Я другого боюсь: а что, если генсек скажет — это что за тип? а-а-а, иностранец? он хочет нашу экономику подорвать! В итоге мы рискуем все потерять.

— Давай рискнем! Такой случай раз в жизни выпадает.

— Ты авантюрист.

— Авантюрист — прекрасная профессия! Если бы не проклятая любимая работа... Я из-за нее перестал ощущать вкус жизни, ее непредсказуемость. Послушай, — Джо неловко улыбнулся, — ты когда-нибудь встречался со своей судьбой? Я знаю, моя существует, раза два я видел ее, не смеясь, это не внешнее зрение, такое во сне бывает, я вижу ее в крайние минуты жизни. В такие минуты я становлюсь из субъекта как бы объектом. Я ощущаю свой ум, способность, себя настоящего, а не то, чем кажусь...

— Ты себя видишь, — задумчиво сказал Андреа. — А я никогда себя не видел со стороны.

— Знаешь, это производит впечатление. И довольно неприятное.

— Вот уж никогда не думал, что у тебя такое творится внутри.

— Ты меня не воспринимаешь как личность. Я существую как твой поверенный, твой сейф. В той, другой, жизни мы были действительно друзьями. Теперь ты у нас работаешь гением. Весьма ответственная работа, но позволь тебе заметить: вся твоя гениальность измеряется тем, насколько мы опережаем других. На полгода или на год. Через год американцы, англичане сделают такую же машину. Увы, таков закон инженерной работы. Обезличенность! А ведь хочется хоть где-то себя показать. Свою морду авантюриста — да, это я,

Джо, авантюрист, любуйтесь! Между прочим, эта страна создана для авантюристов. Легче всего одурачить тех, кто считает себя умнее других.

По холодному лицу Андреа можно было подумать, что никакого смысла в словах Джо он не видит, но это было не так.

Приезд Аладышева, референта министра, в лаборатории восприняли как обещание визита. «Незаменимая особь, — аттестовал его Загогин, — все знает, все может». Белый, гладкий, словно очищенное крутое яйцо, Аладышев славился тем, что разгадывал недомолвки министра, его настроения, неясные резолюции. «Словам сопутствует поток куда более достоверной информации, — поучал он Андреа, вводя этого чужеземца в министерские лабиринты — Вы думаете, что вам достаточно знать ваши схемы, что там и как действует? А я вас уверяю, Андрей Георгиевич, куда важнее знать, чьи дети пережились и кто с кем выпивает. Вам известно, с кем министр ездит на охоту? Кто этого не знает, тот вслепую руководит. Чтобы двигаться вперед, надо знать, кто с кем живет...»

После отъезда Аладышева Загогин сделал вывод: в игре министра лаборатория на данный момент — козырная карта. Некоторым начальникам Степин не нравится: слишком боек, действует напрямую, не дается в руки, сам порывается проводить свою техническую политику. Так что наверху идут бои, Степину непросто, и лабораторию он хочет преподнести Хрущу как первый результат своей новой политики.

Вслед за Аладышевым стали появляться представители каких-то ведомств, проверяли электропроводку, входы и выходы, прибыл из ЦК партии инструктор Анютин, молодой, в металлически поблескивающем костюме, в затемненных очках, скучая, оглядел экспонаты. Вопросы не задавал. Посоветовал обратиться с какой-нибудь просьбой, машину, например, попросить или несколько квартир, что-то небольшое, быстро решаемое, начальству приятно благодетельствовать. Все это инструктор произносил как бы между прочим. А в кабинете Картоса, пока Загогин хлопотал насчет кофе и коньяка, вдруг, сменив голос на твердо-чеканный, предупредил: если Генеральный спросит, кто мешает работать — а он любит про это спрашивать, — ни слова про конфликт с местным партаппаратом.

Картос молчал, не выражая ни согласия, ни протеста. Блестящие черные глаза его, однако, что-то выражали, то ли по-английски, то ли по-гречески, потому что инструктор не мог никак понять, что там, и это его раздражало.

— Вы, я вижу, страсть как увлечены своими машинами. На них надеетесь? А у нас говорится: на бога надейся, да сам не плошай.

— Вы абсолютно правы, — сказал Картос. — Но всего не предусмотреть.

После третьей рюмки Анютин порозовел, скинул пиджак. Лицо его, молодое, но раньше времени засохшее, чуть смягчилось, он осторожно, полунамеками, дал понять, что вопрос о визите Никиты кое-кто раскачивает, все может сорваться. Он никого не называл — условный язык, цэковский жаргон, который не ухватишь, не процитируешь в доносе, на то и рассчитан. Тем не менее явствовало, что речь идет о руководстве Академии наук, есть люди и в ВПК, которые «не хотят», потому как «не тянут». Да и генсек не всемогущ. Есть нечто сильнее его. Аппарат. Партаппарат. Это черный ящик, в него могут поступать самые строгие указания, даже от генсека, а что получится на выходе — неизвестно.

От всех этих советов, намеков, пояснений у Картоса разламывалась голова. К концу дня, когда он добирался до своей собственной, той единственной работы, которую он считал работой, он был уже измучен и плохо соображал.

XXVI

Как ни в чем не бывало Валера позвонил и пригласил посмотреть новую свою работу. И такой счастливый голос у него был по телефону, что Эн согласилась.

Не без торжественности он усадил ее и Кирюшу на диван, снял тряпку с холста. Открылся портрет женщины, как бы собранный из газетных вырезок.

Мелкий шрифт, заголовки — серое, черное, белое, желтоватое, папиросно-игривые кудряшки никак не украшали когда-то привлекательное но теперь плоское женское лицо.

— Тамарка! — воскликнул Кирюша. Оказалось, она походила на даму из горкома партии, гонительницу формализма и модернизма.

Дав им налюбоваться портретом, Валера перевесил его вверх ногами получилась абстракция в духе Кандинского, повернул еще — и сам собой образовался пейзаж, сюрреалистический молодой лес.

Три картины чудесным образом превращались одна в другую. Пейзаж бесследно исчезал, Тамара исчезала, все зависело от угла зрения Кирюша ахал, изгибался и так и эдак, постигая секрет трюка. От полноты чувств бухнулся на колени перед Валерой. Надо же из Тамарки сделать абстракцию! — восклицал он. Нет, это не фокус, это друзья мои, философия живописи!

Как назло, на следующий день в газете появилась редакционная статья «Отщепенцы» Начинаясь она сообщением о посещении выставки московских художников руководителями партии и правительства Далее излагались тяжелые переживания, которые вызвала выставка у руководителей Москвы подобные же чувства передались и руководителям Ленинграда.

«Нельзя без чувства возмущения смотреть мазию на холстах, лишённую смысла, содержания и формы. Эти патологические выверты представляют собой подражание растленному формалистическому искусству буржуазного Запада... Такое «искусство» мешает нам строить коммунизм. Абстракционизм не способен поднимать массы на большие, благородные дела, обогащать их духовно. Поэтому наш народ резко отрицательно относится к творчеству таких художников...»

Среди прочих «отщепенцев» назван был и В. Михалев.

Валера хотел тут же написать опровержение Кирюша же советовал плюнуть и растереть. Эн застала их, когда они приканчивали вторую бутылку коньяка. Она убрала коньяк, вымыла стол, привела обоих в порядок с помощью нашатырного спирта и крепкого кофе Остаться отказалась. Валера кричал, что она покидает его в трудную минуту, предательница, трусиха. Она обиделась, ушла, хлопнув дверью.

Статья «Отщепенцы» вышла 3 декабря, а 5-го под вечер раздался телефонный звонок, звонил Кирюша, что-то в его голосе заставило Эн не спрашивая, в туфельках, по снегу, бегом поспешить к нему

Оказалось, что сегодня утром, когда Валеры не было, сгорела его мастерская. Они кинулись туда Вид был страшноватый, полопались стекла, сгорела часть стеллажей с картинами, вторая комната цела, но залита водой

Валера, черный, словно обугленный, названивал по телефону, приглашал на пресс-конференцию. В том, что это поджог, он не сомневался. Пусть журналисты увидят, сфотографируют. Более всего он надеялся на иностранных корреспондентов. Его предупреждали, что за этим последуют еще худшие неприятности, но Валера закусил удила.

Зрелище покрытых пузырями ожогов холстов заставило Эн остаться Она не думала о последствиях. Как всегда, решившись на что-то, она больше не сомневалась и начинала жить в новых обстоятельствах как в данности

Корреспонденты появлялись один за другим, не дожидаясь назначенного часа. Эн переводила им рассказ Валеры, не смягчая выражений А он то иронизировал, то позволял себе прямые выпады против местных начальников, обрушивался на Хрущева, на Суслова; он уже шел напролом, чувство это переносилось Эн, и она переводила, радуясь открывшемуся в нем таланту бойца.

Наконец-то он вел себя как большой художник. И когда на улице ее остановил Петр Петрович, она нисколько не испугалась. В коричневой дубленке, большой лисьей шапке, он крепко взял ее под руку и без предисловий предложил уговорить Михалева уехать за границу

— Мы препятствовать не будем — Добавил с остреньким смешком — У вас это получится убедительно

— Почему он должен уехать?

— Потому что он вошел в штопор. То есть в конфликт, — любезно пояснил Петр Петрович. — И вас втягивает

Он не знает языка. Нет-нет, зачем ему уезжать, я не стану его толкать на это

— Станете. Иначе мы сошлем его на Колыму, — сказал Петр Петрович наждачным голосом.

Это за что же?

Можно — за валютные дела. Можно — за изготовление слайдов. Считается незаконным промыслом.

— Вы проиграете процесс. Теперь не сталинские времена.

Петр Петрович расхохотался звонко, по-молодому:

— Ах, Анна Юрьевна, вы — прелесть! Да разве мы проиграли хоть один процесс?

— Вам мало пожара?

— Не подействовало. Вы же видели. Лично я против таких методов. Примитивно. Скандально. Но других — нет

— Ссылка — это ужасно.

— Все зависит от вас. Не уговорите его — будете виноваты в последующей его судьбе.

— Стыдно так говорить. Уж вам-то стыдно.

— Анна Юрьевна, — обиделся Петр Петрович, — Михалеву не нравятся наши порядки, вот и пусть катится. Между прочим, во времена товарища Сталина с такими не цацкались.

Он был искренне оскорблен и, может быть, потому позволил себе съязвить: конечно, за граница — это разлука навсегда, Колыма не место для свиданий, но любящая женщина должна принести такую жертву.

Он попал в цель, в ее тайное, подсознательное стремление — сохранить его здесь, Колыма все-таки ближе, чем за граница.

XXVII

Охранники оттесняли излишне любопытных. Хрущев двигался по утвержденному маршруту, вернее, его вел Картос, его и небольшую свиту, остальные ждали внизу, в холле. Справа от Хрущева Степин, слева Устинов, иногда его оттеснял Фомичев и, наклоняясь к Хрущеву, что-то втолковывал ему Хрущев фыркал, отмахивался головой, как лошадь от слепней.

На всех были новенькие голубые халаты. Хрущев останавливался, пожимал руки сотрудникам. Из дверей, проходов, лестничных клеток тянулись к нему взгляды, люди вставали на цыпочки, подпрыгивали, стараясь получше разглядеть, ловили каждое слово, жесты, и он улыбался им, кивал.

Кто-то зааплодировал, Хрущев помахал рукой, на заводе он свернул бы в непредусмотренный цех, поговорил бы с работягами насчет расценок, ОТК, а здесь послушно двигался от стенда к стенду. Заинтересовали его лишь настольная лампа с регулятором да неоновый счетчик, на котором быстро сменялись светящиеся красные цифры.

Ему показали машину — что-то вроде экрана и при нем печатное устройство. Машина заинтересовала его. Он стал задавать ей вопросы, она исправно отвечала, потом спросил о себе — когда Хрущев женился и когда родилась старшая дочь. На экране появилась фраза: «Сведения о Н. С. Хрущеве дает только он сам». Хрущев расхохотался, недоуменно уставился на Картоса. Его маленькие выцветшие глазки вдруг догадливо блеснули.

— Хитер, — с удовольствием сказал он и по-новому, приметливо, оглядел начальника лаборатории — соединил внешность с акцентом, получилось нечто совсем иностранное.

— Игрушки, игрушки, — басил в ухо Фомичев. — Пока что игрушки Принципиально нового ничего нет.

Вторая модель и в самом деле была игрушечной. Маленький автомобильчик бежал по треку Наперерез ему можно было запустить мышку, и она настигала его и прилеплялась, как бы он ни увертывался

Хрущев посмотрел на Устинова.

— Мы довольны, — кивнул Устинов. — Открытия, может, и нет, а нам и не важно. На испытаниях в воздухе показывает неплохие результаты.

— Правильно, тогда не будем считать это наукой, — согласился Фомичев. — Советская наука движется открытиями.

— А что скажет начальник лаборатории? — вдруг обратился Хрущев к Картосу.

— Так я же не ученый — Картос повел плечом с улыбкой безучастного зрителя.

— Вот те на, — сказал Хрущев. — А мне-то говорили, что вы ученый, да еще крупный.

— Нет, я инженер.

— Вот видите, — поддакнул Фомичев. — Это всего лишь инженерные разработки.

Хрущев исподлобья глянул на Картоса.

— Чего ж вы себя так... умаляете?

— Я инженерию высоко ставлю, — сказал Картос. — Господь Бог был инженером.

Хрущев хмыкнул.

— Это в каком же смысле?

— Ученый всего лишь открывает то, что есть в природе. А инженер, Никита Сергеевич, изобретает то, чего в природе нет и быть не может. Например, утюг.

— А Бог тут при чем?

— Господь Бог был первым изобретателем. Он создал воду, сушу, тьму и свет, растения всякие. — Картос вопросительно взглянул на Хрущева, тот кивнул. — Чем до этого занимался Господь, не имеет значения. История начинается с изобретения. Может, до этого его опыты были неудачными. Неизвестно. Все начинается с механизма, который заработал.

Он говорил о сотворении мира так, как если бы речь шла о машинах. Натужно выпучившись, Хрущев молчал. Все замерло, глядя на него.

— Господь, значит, первый инженер? — Хрущев заговорщицки толкнул Картоса локтем. — Я вижу, ты себе выбрал неплохую компанию.

Все засмеялись облегченно-громко.

Плотный, весь выпуклый, подвижный, Хрущев изображал хитрого мужичка, приехавшего к господам, которые хотели ему что-то всучить. Мягкий серый костюм сидел на нем мешковато, воротничок тесен, какие-то бумаги торчали из кармана. Он разглядывал Картоса как диковинку, прикидывая, стоит ли ее брать. Акцент Андреа забавлял Хрущева, особенно насмешило, когда Картос привел такую поговорку — не будем рубить суку, на которой сидим.

От общего хохота Картос покраснел. Хрущев приобнял его, как бы защищая.

— Не обижайся на них, они-то сидеть умеют только в креслах, уж их-то они рубить не будут

После этой реплики никто уже не оттирал, не отталкивал Картоса, даже министр не перебивал его объяснений. Картос показал бортовую машину. Горели цветные лампочки, внутри еле слышно гудело. Хрущев попросил открыть крышку, заглянул в переплетение проводов, каких-то фитюлек, трубочек. Ничего в ней не вертелось, не лязгало. Что он ожидал увидеть в этой разверстой полости? Он даже несколько загрустил от неосуществимости этих машин..

Министр спросил Картоса, какова эта машина в сравнении с американской. Вопрос был наводящий — Степин прекрасно все знал, и все знали, что он знает.

— Американских аналогов нет, так что и сравнивать не с чем, — отвечал Картос.

— Как нет?

— Они еще до этого не дошли.

— Отстают, значит?

— Мы создаем оригинальные конструкции. Мы впереди идем.

Хрущев недоверчиво пожевал губами

— А качество? Надо ведь и по качеству обогнать америкашек, а то наши-то умельцы могут такого напортачить.

И тут же, помахивая рукой, рассказал как, приехав из Англии, привез электробритву «Филипс», отличная машинка, вызвал знатоков с Харьковского, показал такое сможете? Они разобрали, поковырялись — сможем, дескать, даже лучше сделаем! «Вот это я вам и запрещаю — категорически!» — сказал им Хрущев.

Смеялись долго, хотя многие знали эту историю.

— Ты что же, только на оборону работаешь? — вдруг спросил Хрущев, и Картос понял, что он совсем не прост, этот мужичок.

— Кто платит, тому и играем. Наши машины могут, конечно, работать и в обычной промышленности, и на пассажирских самолетах... — Он замолчал.

Пауза была выразительна. Хрущев укоризненно кивнул в сторону Устинова

— Знаешь, это кто? Это у нас бароны обороны, аппетит у них волчий. Сколько ни давай, все мало

Министр, опустив голову, улыбнулся в пол, остальные тоже улыбались, но это были не улыбки, а изображение улыбок. Возникла неловкость, как если бы упомянули о семейном скандале при посторонних.

Степин поймал взгляд Картоса, недовольно просигналил бровями — не отвлекайся, не вникай в их безмолвные схватки, иначе все испортишь.

Хрущев подошел к лаборантке, сидевшей за пультом, заговорил с ней, потом поискал кого-то глазами, и тотчас из массы выдвинулся секретарь обкома. Хрущев спросил, бывает ли он здесь.

— Ну а как же, Никита Сергеевич, обязательно!

Линялые глазки Хрущева обратились к Картосу, потом снова к секретарю.

— Значит, общаетесь?

— Конечно

Я смотрю, он вообще-то самостоятельный товарищ, а?

— Это вы точно заметили Никита Сергеевич, но наше дело — помогать. Наука нская, нужная.

Секретаря обкома Картос не знал, первый это или еще какой, говорил секретарь четко, по-военному, с удовольствием, Картоса прямо-таки восхитили чистый его взгляд и твердость, с которой он врал, при этом обращаясь к нему, Картосу, как к давнему знакомому, ни тени смущения не было в нем

— Помогают? — спросил Хрущев.

Андреа ответил не сразу. Разговоры затихли. Хрущев вынул платок, шумно высморкался.

— Это вопрос особый...

— Давай-давай, не бойся.

— Никита Сергеевич, сперва я вам хочу показать одну вещь, — напряженным голосом сказал Картос. — Пойдемте, пожалуйста.

И он пригласил всех к себе в кабинет.

Хрущев ухватил Андреа за локоть, и они оказались вдвоем впереди остальных. Как бы по неслышной команде сопровождение задержалось, сохраняя дистанцию. Хрущев шагал увесисто, посапывая, на багровом затылке искрился седенький пух. Все понимали, что Картосу выпал шанс, единственный, счастливый, длиной в целый коридор. Он мог намекнуть, мог пожаловаться — без свидетелей — на обком, райком, да мало ли как можно было использовать такую прекрасную возможность...

Между тем Картос молчал, это все видели. В кабинете расселись за длинным столом лицом к стене, на которой висели раскрашенные схемы и таблицы. Но перед тем как занять свое место, Хрущев прошелся по кабинету, остановился перед своим портретом.

— Этого-то я знаю, а эти кто такие? — Он показал на две фотографии в золоченых рамках.

Главный инженер, товарищ Брук, объяснил:

— Это американский ученый Зинер, отец кибернетики, второй — Марк Твен.

Хрущев насупился.

— А Марк Твен тут при чем?

— Сдерживающее начало, — отвечал главный инженер. — В присутствии Марка Твена Андрей Георгиевич переводит раздражение в юмор.

— Моего, значит, портрета недостаточно. — Хрущев смешливо прищурился.

Встав у развешанных планшетов, Картос откашлялся.

— Никита Сергеевич, перед вами проект центра микроэлектроники, то есть города компьютерной техники. Такой центр надо создавать чем раньше, тем лучше, и в этом никто, кроме вас, помочь не может

У присутствующих вырвался вздох облегчения. Жалоб, значит, не будет

Объяснения Картоса были лаконичны — он как бы проводил вопрос — не рано ли? не спешим ли? будет ли расти потребность в компьютерах? есть ли у американцев такой центр?

— Они ждут, когда мы построим, — сказал Картос.

— Хотят разорить нас, — с вызовом сказал Хрущев.

— Мы их разорим, — сказал Картос, — они вынуждены будут у нас покупать компьютеры. Если мы не упустим время, мы завладеем рынком.

— Можем и тут обогнать Америку! — с торжеством сказал Хрущев. — Ракеты запустили, первый человек в космосе — наш, советский, ядерное оружие мы первые сделали, теперь они спешат за нами. И по ЭВМ мы тоже их обстаиваем. Догнали и перегнали передовую страну — правильно я понимаю, товарищ Картос?

— Правильно, Никита Сергеевич, только мы перегнали не догоняя. Они по лестнице бегут, а мы в окно влезли.

— Это к кому же?

— К невесте.

— Ну, тогда молодцы. Главное дело — обогнали. Пусть все видят.

— К сожалению, не увидят, это публиковать нельзя, — объяснил Устинов.

— Центр позволит выйти и на гражданскую продукцию, — сказал министр.

Насчет Америки получилось как нельзя кстати. Лозунг «догнать и перегнать» к этому времени переключался в анекдоты, на задние борта грузовиков, трясущихся по советскому бездорожью. А тут пожалуйста — по самому, можно сказать, модному пункту доказали. Ради этого Хрущев, собственно, и согласился заехать сюда. Мало того что эти двое перебежали к нам, так они еще и вставили перо своему отечеству, и это при наших-то зачуханных порядках! Чекисты по всем статьям обшопали цэрэушников, хорошая работа.

Особенно ему понравился Картос: знает себе цену мужик, сразу видно, сильный человек, вдумчивый и без лишнего трепета, натуральная личность.

Специальностью Хрущева были люди. Кадры. Номенклатура. Коллективы. Людей надо было подбирать, заставлять, поощрять, мобилизовывать, просвещать, с ними надо было работать, бороться, идти вперед, строить. Они были винтиками, жертвами культа, высшей ценностью, представителями колхозного крестьянства, интеллигенции, наших славных летчиков... Кроме представителей он большей частью имел дело с руководителями, начальниками, деятелями. Не многие из них заслуживали уважения. Слишком легко ломались и гнулись. Он посмотрелся на их поведение в сталинские годы. Могут сказать, что и сам он был не лучше. Боялся рябого, аж губы сводило. Еще бы не бояться, если в каждом застолье обязан был петь по его команде, и петь и плясать, слушая его грязные, хвастливые истории... Можно сказать, прополз на брюхе через всю подлость сталинской уголовщины. Измазался в дерьме, зато рассчитался с рябым и всех освободил от этой гидры. Почти десять лет прошло, а до сих пор не могут распрямиться. Вот и теперь: нет чтобы слушать Картоса, поглядывают на Хрущева, шарят по его лицу, ищут там каких-либо сигналов. Иностранцы эти хоть и на чужбине, а ведут себя свободнее, чем министры, генералы, зампреды и прочие погонялы. В этой

сверхсекретной мышеловке, куда их сунули чекисты они возьтятся со своими машинками словно дети

Один только главный инженер, закинув ногу на ногу, ловил каждое слово Картоса. Самый бесполезный из всех слушателей, он, видимо, как знаток наслаждался исполнением. Зыркнув на Хрущева, встретив его взгляд, восхищенно поднял большой палец. Развязный мужик! Не стесняется! Непосредственность — вот что отличало пришлецов от наших.

Приближенные Хрущева рядом с этими перебежчиками проигрывали. Они казались генсеку напряженными и напыщенными и в то же время приниженными и бесхозяйственными — все только на себя и тянут. Да, советский строй самый прогрессивный в мире, и люди у нас хорошие, а ведут себя жалко, боятся свободы — откуда такое несоответствие? Все чаще Хрущев лбом упирался в эту загадку. При Сталине было гармоничнее, что ли...

— И где ж такой центр строить? — спросил Хрущев.

Министр ответил, что есть места в Подмосковье, присмотрели два варианта. Секретарь обкома ревниво вскинулся: зачем в Подмосковье, поближе найдем, под Ленинградом, земли много, побольше площади выделим, а рядом создадим академический городок...

— Любите вы великие стройки, — брюзгливо вставил Хрущев. — Каждому неймется свой гигант заиметь.

Фомичев обрадовался.

— Гигантомания — наша болезнь. Обязательно самое большое в мире. ЭВМ — дело новое, неизвестно еще, как примет их промышленность, лучше бы поскромнее.

— Пойти-то пойдут, — мягко возразил адмирал. — Машина полезная. Но требует культуры. Одно дело — на флоте, другое дело — на гражданке.

Хрущев не вмешивался, слушал, сцепив руки, почему-то настроение его портилось.

— ..компьютер будет в каждой школе, перед каждым учеником, — уверял Картос, скептические усмешки не останавливали его. — Более того, через двадцать лет каждой семье понадобится компьютер. А сегодня каждый грамотный конструктор мечтает иметь микрокомпьютер.

Сегодня людям жилье надо, — авторитетно поправил его Фомичев — Забота о человеке важнее, люди знать не знают, что такое компьютеры

— Позвольте, при чем тут жилье? — удивился Картос

— А то, что компьютер в коммунальной квартире — это, согласитесь, нонсенс!

— А радио? А телефон? В самой плохой квартире стоят? — отбивался Андреа. — Без компьютера нельзя будет работать.

Кто-то возразил, что пользование компьютерами требует специального образования. Говорили, что слишком дорогая машина, громоздкая... Картос отражал наскоки цифрами и графиками.

Хрущев вдруг накинулся и на Картоса и на всех сразу. Его явно обидело, что толковые, головастые его подручные возьтятся по-глупому, не в состоянии ухватить грека за жабры.

— Чего считать-то машинам? Воров? Бардак наш подсчитывать? Я вас спрашиваю? Миллиарды гробим на линкоры, мать вашу... -- Он ткнул короткопалой рукой в сторону адмирала. — Строим, строим без толку.

Устинов что-то забурчал, что еще больше распалило Хрущева:

— Вы бы хоть на счетах дедовских считать научились по-хозяйски. У купца копейка была на счету без вашего компьютера. А у вас концов не найдешь, и все вам мало. Он вас хочет на ракету пересадить, а вы телегу смазать не выберетесь. До компьютера нам еще трюхать и трюхать с нашими темпами.

Картос наклонился к Степину.

— Что такое т р у х а т?

Спросил тихо, но Хрущев услышал, поперхнулся, напрягся до багровости, не выдержал, прыснул.

— Трюхать? Смотри сюда. — Он поднялся с кресла, затопал, неуклюже переваливаясь с ноги на ногу. — Трюх-трюх, понимаешь? Так и тащимся по нашим колдобинам. — Довольный, плюхнулся обратно в кресло.

Единственным, кто не улыбнулся был Картос Резкие повороты сбивали его с толку Он стоял с длинной указкой у своих планшетов, маленький смугло-бледный рыцарь с копьём

— Продолжайте, Андрей Георгиевич — сказал министр

Картос упрямо свел брови

— Я не собираюсь ждать, пока у вас кончат трюхать Я ехал в передовую страну

Можно было считать это дерзостью, но Хрушев поощрительно кивнул он заводил инженерика присматривался, пробовал его на зуб, не подсовывают ли ему дешевку Об этих двух иностранцах ему наговорили всякого, и плохого и хорошего Председатель Военно-промышленной комиссии считал их шпионами-двойниками, в объективке чекисты написали не разбери поймешь. с одной стороны, ценные специалисты, много сделали, с другой — установлены попытки завязать контакты с иностранцами, в частности у супруги А. Г. Картоса. Перестраховываются Разные службы соревнуются. Хрушев давно, еще с тридцатых годов, стал доверять прежде всего своему чутью Вокруг каждого талантливого человека всегда клубились слухи и подозрения Так было и с академиком Лаврентьевым: чего только не наговаривали на него, но Хрущеву он понравился, и с новосибирским Академгородком получилось. Механика, космонавтика, радио, теперь еще кибернетика — в этих науках, где он ничего не понимал, Хрушев, как глухонемой, присматривался к лицам. Картос ничего не просил. «Я не люблю просить, — сказал ему этот грек, — я предпочитаю убеждать». Держался заносчиво, знал себе цену Была среди ученых такая порода — Королев, Туполев, Капица, Несмеянов, — этот видать, тех же кровей Гонору много а вот надежен ли? Те — свои, никуда не денутся, эти же беглые, пришлые а нашим боярам какво отдавать дело инородцу?

— Андрей Георгиевич ехал к нам, чтобы строить коммунистическое общество высокой производительности труда — торжественно провозгласил министр

Недослушав Хрушев спросил у него кому поручить это дело Степин попросил разрешения подумать.

— Создавать центр надо мне, — сказал Картос. Он произнес это с виноватой улыбкой, которая так не вязалась с дерзостью высказывания

Хрушев покачал головой, не скрывая своей ошарашенности

— Слыхали? Ну и ну ты что же думаешь, у нас своих головастика не хватает?

— От других получите другое, очень другое дите

Хрушев нахмурился, но сохранил шутейный тон:

— От тебя брюнет будет, а нам русак нужен.

Картос побледнел.

— Окончательным буду я, Никита Сергеевич или снимаю с себя ответственность.

— Ты нам ультиматумы не ставь. — Хрушев всерьез озлился, забарабанил пальцами по столу.

Картос положил указку, сел. Наступила тишина.

— Какие мнения будут? — спросил Хрушев.

Секретарь обкома, Фомичев, кто-то из генералов заговорили наперебой, осуждая Картоса, предлагали своих опытных, «локомотивных» товарищей — не петровские мол, времена, чтобы чужеземцев в командиры ставить.

Сложив руки на животе, Хрушев смотрел на безучастное лицо Картоса, привычно взвешивая все за и против. Твердый, никого не боится, дело знает Но — мешать ему будут, заграничный человек, это сразу бросается в глаза: акцент, манеры. Хочет возглавить — этого все хотят Но все хитрят, а грек прет напрямую. Хорошо, что ничей — вне ведомств и групп, это за но под каким соусом подать?

Светлые глазки Хрущева загорелись.

— Всяк хлопочет — себе хочет а тут человек нам хочет Ценить таких надо. Ясно?

Хрушев был явно доволен собой

Прощаясь, уже у машины сказал Картосу

— Министры у нас народ боязливый косный Их иногда легче снять с работы, чем сдвинуть с места. Так что если застопорит, обращайся ко мне Тебе дадут номер, прямо на меня выходи не стесняйся

XXVIII

В фойе, в антракте, Джо увидел Лигошина с прелестной молодой женщиной Лигошин, рыхлый, вялый, держался за ее полусогнутую руку, кивал, улыбочиво слушал ее болтовню, и Джо понял, что это не жена. С Лигошиным Брук встречался на заседаниях у военных заказчиков, он, по-видимому, принадлежал к высшей касте атомщиков. Кажется, имел Золотую Звезду, а может, и две, но никогда не носил своих орденов и не любил, когда его называли академиком. Консультировал некоторые темы. Высказывался резко, ехидно, не стесняясь прохаживался насчет «физического» состояния генералов. Его боялись и терпели

Джо подошел Женщина оказалась племянницей Лигошина. Они поговорили о Моцарте и Шостаковиче Племянницу звали Миля, это от Людмилы. Вместо того чтобы сесть в машину с дядей, Миля разрешила Джо проводить себя Они шли по Садовому кольцу, а потом по Арбату, и она, продолжая тему Моцарта, с чувством продекламировала монолог Сальери. Миля только что окончила филологический факультет и была переполнена желанием всех просвещать.

Сознание своего невежества сокрушало Джо. Душа его жаждала поэзии, и прежде всего русской XIX век — Пушкин, Лермонтов, Некрасов. Любой сюжет годился для следующей встречи. Джо влюблялся быстро и всем сердцем.

В те весенние дни Джо Брук чувствовал себя счастливейшим из людей. Успех, так же как хорошую погоду, надо принимать как дар свыше. Так же, как случай сведший его с Милей

Они бродили по мокрой ослепшей от солнца Москве. В узких переулках дотаивал снег, бурлили ручьи, появились запахи, зима уплывала с последними льдинками Джо без шапки, размахивая руками, громко повторял за Милей стихи, на него оглядывались, и он одаривал всех сияющей улыбкой. Однажды, гуляя по бульварам, он запел. Миля удивилась, она вообще посмеивалась над ним, над его шумными размашистыми манерами. Лишь бы вам было весело, отмахивался Джо. Мир существует для того, чтобы им любовались. Так же, как и вы, Миля

На Пасху он дома у Мили раскрашивал яйца, смотрел, как готовят куличи и творожную пасху. Миля беспокоилась за дядю: в последние годы он рассорился с друзьями, стал мизантропом, ее захватила идея свести его с Джо, и, к ее удивлению, он вдруг согласился.

По делам центра и Андреа и Джо приходилось то и дело ездить из Питера в Москву и обратно. В Москве им положена была министерская гостиница, но Джо предпочитал ночевать у Влада. Влад и посоветовал ему, воспользовавшись случаем, расспросить Лигошина о Розенбергах, кое-что он может знать. Джо заволновался, Лигошин был, конечно, из посвященных. Но как подступиться? Люди этого ранга закрыты, насторожены, подозрительны.

Встретились в комиссии. Поговорили о делах центра. Тут-то Джо и услышал, что председатель комиссии не одобряет назначения Картоса руководителем. Не верит в лояльность этих эмигрантов. Лигошин сообщил все это с ядовитостью. Джо отозвался благодушно: не верит — поверит, лишь бы не мешал. Подробности его не интересовали, и вообще наше дело столкнуть камень с горы... Он держался легкомысленно, ни почтения, ни озабоченности. Представлял ли он силу Военно-промышленной комиссии, которая, по существу, ведала оборонной промышленностью, размещала заказы — срочные, сверхсрочные, — прибирала к рукам целые отрасли, обеспечивала сырьем, инструментом, платила хорошо, роскошно? Могущество этой незримой, малоизвестной организации Джо вряд ли мог оценить.

Спустились в столовую пообедать. Первое отделение, общее, Лигошин миновал не останавливаясь, у входа во второе стоял охранник, посмотрев на Лигошина, отдал честь, распахнул перед ними дверь. Там не было касс, столики накрыты скатертями, официантки в кружевных передничках катили бесшумные коляски, уставленные тарелками. Лигошин и тут прошел насквозь по главному проходу; толкнул черную дубовую дверь, и они очутились в маленьком зале цвета огуречного рассола. Столы здесь были украшены конусами крахмальных салфеток, на каждом — хрустальная ваза с яблоками и сливами графины с соками. Блестела полированная мебель, обитая зеленым бархатом. Пышная дама, бело-розовая, как зефир, приветствовала Лигошина по имени-отчеству, повела к столику на четверых, но Лигошин свернул к окну, к маленькому столику.

— Это же алексеевский, — встревожилась дама. — Ким Осипович, вы меня ставите в неудобное положение.

— Я тебя поставлю в удобное положение. — И Лигошин хлопнул ее по заду.

Она послушно хихикнула, запоминаяще оглядела Джо.

Длинная картонка меню увлекла Джо перечнем закусок и блюд, известных из книг, — грузди, расстегаи, балык, икра, керченская селедка, моченые яблоки, далее следовали супы — щи, рассольники, солянки, бульоны, потом второе — вегетарианские, из мяса, рыбы, дичи, затем десерты. Меню это поражало больше, чем ресторанное. Потому что в нем не было цен.

Лигошин заказал чашечку бульона, паровые кнели.

— Такая жратва, а нету аппетита.

Вид у него был нездоровый, лицо мучнистое, влажное, глаза тусклые, он смотрел, как Джо, не стесняясь, наливал соки, поглощал селедку, третью редьку, помидоры, карбонад.

— Спрашивайте, — сказал он. — Чего вам надо?

— Мне? — удивился Джо.

— Миля сказала, что вы хотели со мной поговорить.

Джо пожал плечами, но тут же опомнился — будь что будет. Начал он с недавней передачи Би-би-си о юбилее Курчатова. Англичане вспомнили Розенбергов, порассуждали о том кому же на самом деле русские обязаны атомной бомбой.

— И что дальше? — спросил Лигошин.

— Что вы об этом думаете?

— Зачем вам знать? Лезете, куда запрещено.

Лигошин говорил грубо, холодно.

— Причина у меня есть. Если вам тема неприятна, то не стоит. — Джо причмокнул над нежнейшей селедкой.

— Какая же у вас причина?

— Я знал Розенбергов. Мы дружили.

Удивительно, как спокойно он это произнес.

— Дружили?..

— Хороша рыбка, — сказал Джо.

Последний раз он ловил рыбу с Вивиан и Андреа. Поймали форель и несколько хариусов. Вивиан была в черном купальнике и соломенной шляпе. Голос его дрогнул, когда он сказал, что по делу Розенбергов пострадала женщина, которую он любил.

— ...она была ни при чем. Я ручаюсь. Я не могу понять, американский суд так долго разбирался. Есть ли возможность узнать...

— Ишь ты! Хитер! Хотите знать, получали ли мы информацию, какую и от кого?

— Меня интересуют только Розенберги.

— Пока что.

— Фукс и другие источники мне не нужны.

— Фукс сам признался, чего уж тут спрашивать. Во всех английских газетах было.

— Не хотите — как хотите, — сказал Джо. — Вы единственный человек, у которого я могу это спросить.

— И за что же мне такое доверие?

Джо, проверяя себя, посмотрел на простецкую его физиономию — расплуснутый нос, приклепнутый к лицу, толстые губы, да и весь корявый, широкий.

— Вы ученый, — сказал Джо. — Настоящий. Этого мне достаточно.

— Из этого ничего не следует.

Джо, не отвечая, ловил на тарелочке скользкие грузди, занялся бастурмой, еда помогала ему.

— Допустим, — сказал Лигошин. — Допустим, предположим, что других интересов у вас нет... Хотя и при этом я не имею права.

— Ваша наука погибнет от секретности.

— Погибнет, — согласился Лигошин, — может, уже погибла, но из-за секретности никто этого не знает. Значит, Би-би-си считает, что мы только из ворованного мастерим. А вы сами как полагаете?

— У вас есть замечательные физики.

— Спасибо. А то, что мы обштопали америкашек с водородной, — это как? Стоило выйти напрямую — и привет, без всякого шпионства сделали. Значит, можем?

— Согласен.

— Что же вы этих говномазов слушаете?

— Подобное мнение распространено.

Имеет быть. Насчет ваших Розенбергов, однако, сомневаюсь.

— Почему?

— Не знаю точно, нам не сообщали, что от кого. Только много доставляли дешевки уже известной. А то и вовсе труху. Разбираться надо, что красть, а чекисты в этом деле не тянут. Волокли что ни попадя и поскольку рисковали жизнью, шли сквозь револьверный лай, то и требовали орденов и хвалебных отзывов. Сколько мы с ихней добычей мучились! Порой самих добытчиков вместе с Розенбергами на электрический стул посадить хотелось.

Джо положил вилку и нож, вытер губы.

— Розенбергов посадили на электрический стул, а вы получили Героя.

Джо сам от себя не ожидал этих слов, сорвался, когда уже подходил к заветному.

Лигошин постучал ложкой по стакану, подошла официантка.

— Милая, принеси нам водочки. Знаю, что нельзя, а ты принеси.

Появился графинчик с водкой, подкрашенной клюквенным соком. Лигошин налил, выпил.

— Удар ниже пояса. Но тут правил нет.

— Извините, — сказал Джо. — Они были мои друзья.

— В этом деле нет невиновных. Мы все в дерьме. Русские выкрали секрет бомбы. Получается, что Героя надо давать Розенбергам, Фуксам и прочим воякам вместе с нашими разведчиками. А всяким Лигошиным не за что.

— Я не это хотел сказать.

— А мне наплевать, что ты хотел. Это факт. Я приношу график Курчатову. Он смотрит и говорит: что-то тут не так, сними-ка еще раз. Сняли повторно. Приношу — вздыхает, нет, говорит, не нравится мне, попробуй еще разок. Вот, думаю, чутье какое. Сняли со всей точностью, показываю, а он открывает сейф, достает график — вот какая кривая должна получиться. Понимаете? Вот так работали. Ежели сами что придумаем — ой, не надо, вдруг не получится, время потеряем. Зря, что ли, старались наши доблестные разведчики, нет уж, не надо рисковать, мать вашу. Все видят, что можно, молчат, сучьи дети.

— А Розенберги? Вы думаете, от них тоже шел к вам материал?

— Я знаю, что Фукс был хороший физик. Он разбирался что к чему. Эти же вряд ли. Я уже сказал — присылали много трухи.

— Судебные власти никогда не согласятся с тем, что казнь Розенбергов — ошибка.

— Да и наши не захотят подтвердить, что они никакие не шпионы

— Почему?

— А зачем? Чем больше шпионов, тем больше заслуг у наших чекистов. Неужели непонятно?

Следить за мыслью Лигошина было нелегко, доказательства он опускал вывод следовал за выводом.

— Фукс — идейный осведомитель. Его не вербовали. Наших заслуг тут нет, прибыли никакой.

— Розенбергов тоже не подкупали.

— Ваши Розенберги — часть шпионской сети коммунистов. Так преподнесли американские цэрэушники. Без этих шпионов русские ни в жисть не сделали бы бомбы, этим русским жлобам еще лет десять пришлось бы ковыряться. Нашим чекистам такая версия тоже на руку. Дошло?

— Не совсем.

Лигошин заговорил медленней, будто диктуя:

— ЦРУ, раскрыв шпионскую сеть, объясняло, что русские сами ничего сделать не смогли, сделали бомбу американцы, а коммунисты украли ее для русских, ЦРУ разоблачило их — слава ЦРУ! Наши создали огромную сеть за океаном, добыли секреты для физиков, и те сделали — слава чекистам! Они спасли страну и весь мир от атомного шантажа. Выходит, что Розенберги как шпионы выгодны и тем и другим. Это вам не одиночка-доброволец Клаус Фукс

— Интересы совпали, — сказал Джо. — Вы полагаете, что.

— Что надо выпить.

Они выпили, Джо страдая и морщась, Лигошин жадно

— Это ваши предположения? — спросил Джо

— Между прочим Фукс сейчас в полном порядке, живет и работает в Дрездене. Чуть ли не депутат. Я у него был.

То, что он рассказал, изумило Джо. Дом в Дрездене Клаус Фукс, спокойно работающий в научном институте. Жена, кстати, русская, по словам Лигошина, милейшая женщина, которая была выдана Фуксу по прибытии в ГДР (до чего ж однообразна русская школа чекистов, Джо еле удержался от восклицания). Посидели, выпили, и Лигошин не постеснялся спросить у Фукса как же он предал Оппенгеймера, который дружески принял его в Лос-Аламосе. Никто из советских не затевал с ним такого разговора, все допущенные хвалили, благодарили, а тут появился этот медведь Лигошин. Джо тут же представил, как все у Фуков затрещало, как Лигошин выкладывал правду-матку напрямую. Может, потому, что не стеснялся, может, поэтому Фукс и отвечал откровенно? Да с Лигошиным иначе и говорить невозможно! Желание помочь советскому строю, по словам Фукса, было для него выше законов дружбы и моральных обязательств. Помогая родине социализма, он соблюдал высшую справедливость, хотя и приносил в жертву свою честь. Лигошин высмеял его: какой социализм, какое светлое будущее, кто они, знаменосцы этого будущего, — Вальтер Ульбрихт? Берлинская стена? Сталин — высшая справедливость? Кем они оказались, вожди народов, — Сталин, Берия, Молотов, вся клика, кем окажется Ульбрихт? И что же ответил Фукс? Примечательный ответ был. Да, я понимаю, сказал он, что руководители могут оказаться недостойными, но я-то помогал потому, что идея социализма хороша. Когда Советская страна победит, когда они получат атомное оружие, я потребую, чтобы они изменили свою политику. «Ну и что ж ты не потребовал у Ульбрихта?» — «Требовал, то есть просил, тот обещал подумать, учесть». Смешно: один из самых великих шпионов, каких знала история, — и такая дремучая наивность.

— Боюсь, вы этого не понимаете. Мало здесь жить, надо еще, чтобы тебя употребили.

Цветную капусту и толстые ломти языка Джо полил острым коричневым соусом, посыпал перчиком.

— ...а ведь Фукс мог бы запросто воткнуть. чего ж, мол, я сам выкалывал на этих бандитов, на всю эту камарилью...

Лигошин усмехнулся, но это была лишь тень его прежней широкой щербатой улыбки.

В рассказе о Фуксе восхищение сменялось недоумением, снисходительностью, даже презрением. Лигошин не понимал, как можно до такой степени задурить себе голову, не зная, не видя, чем был сталинский режим. И это западный интеллигент, человек, который изменил ход мировой истории! Благодаря ему монополия на атомное оружие рухнула на несколько лет раньше..

— Одиночка, молоденький физик, идеалист, между прочим, ревностный тогда лютеранин, связался на свой страх и риск с вашими и нашими коммунистами и предложил давать сведения.

На фотографиях в западных газетах, какие попадались Джо, изображен был остролицый, худенький, высоколбый типичный интеллигент.

— Фукс не был коммунистом, не был социалистом. Не получал денег ни от кого, не занимался политикой, как ваши Розенберги. А вам никогда не приходило в голову, почему Фукса не казнили?

Нет, такого Джо не приходило в голову, он понятия не имел, что Фукс на свободе, занимается своей физикой в ГДР. Почему, как это могло получиться, если его вина куда больше, чем вина Розенбергов? Пусть даже Розенберги что-то передали. По мнению Лигошина, Фукс снабжал советских атомщиков качественной информацией регулярно. На суде Фукс ничего не отрицал. Он раскрыл главные секреты. И получил всего четырнадцать лет. Отсидел того меньше. А от него Америке куда больше урона было, чем от Розенбергов.

Лигошин торжествовал. Он говорил не стесняясь, не снижая голоса.

— Потому что выгоды от его казни не было! Все измеряется выгодой. Ваших приятелей выгодно было посадить на стул. А от Клауса особой прибыли не было.

— Выходит, и тем и другим невыгодно было оставить их живыми? — с трудом выговорил Джо.

Имелась точка, где сходились интересы обеих служб — в США раздуть истерию охоты за ведьмами и в ответ здесь, в Союзе, такую же охоту за американскими агентами продемонстрировать мышцы, необходимость бдительности...

— Доходит?

— Мне трудно судить, — сказал Джо. — Вы многое недоговариваете...

— Нахальный ты тип. Другой бы испугался моей откровенности: остановись, Лигошин, умолкни!

— Верно, — согласился Джо. — Я даже не очень понимаю... Ведь вам...

— Потому что мне наплевать. И потом, это все мои догадки. Мы теоретизируем. Мы же с вами схоласты, Фома Аквинский и Бэкон, любители ученых бесед.

После обеда они гуляли по Кремлю, было тихо и безлюдно.

— Я встретился с вами потому, что и сам хотел кой-чего вам рассказать. Больше нет смысла откладывать. Верующие люди, те знают, что жизнь их в руке Божьей и может кончиться в любой миг. И так, не исключено, что вам когда-нибудь удастся вернуться к себе. Вы могли бы там рассказать. Я ведь и вправду ничего не боюсь, потому что меня нет. Вы ходите с призраком. Был когда-то Лигошин, начинал шумно, две первые работы прозвенели на весь мир, и вдруг — все, исчез. Не найдете ни в телефонной книге, ни в справочниках, ни в каких-либо библиографиях. За рубежом думают, что я давно умер. Может, сгноили в лагерях. Никто не знает, что Лигошин жив, что он Герой, академик, лауреат и прочее. Награды закрытые. Работы закрытые. Адрес закрытый. Впрочем, награды перечислят в некрологе. Это у нас положено. Я, как невидимка Уэллса, обозначусь, когда стану трупом. Появится портрет, набор неясных заслуг и сожаления группы товарищей, которые меня знать не знали. Написано будет: «Большой вклад», а ни одной из лучших работ не смог опубликовать. Я ведь мог развернуться не меньше Капицы. Впрочем, ему тоже не дали. Вернулся бы он к Резерфорду, куда больше бы сделал... Как сказал Пушкин, «черт меня догадал родиться в России с душой и талантом». Страш-

ное признание! Вот и я ни детям своим, ни Миле, ни друзьям ничего не могу рассказать про себя. Секретность! До смертного часа засекречен!

Он говорил о том, что ожидало и Джо и Андреа — те же безвестность, анонимность, погребенные в спецотделах отчеты, никому не доступные Судя по упомянутым исследованиям, перед Джо был большой ученый, может быть, великий ученый, заживо погребенный в гигантском сейфе.

А Лигошин уже рассказывал про аварию на Урале, возле Челябинска, с радиоактивным выбросом на десятки километров, про зараженные деревни поля. Все скрыли, не позволили пикнуть, пусть дохнут люди, не зная от чего, лишь бы сохранить секретность. Не от американцев — от советских людей скрыть. Потому что секретность — это безнаказанность. Секретность — лучший путь к новым званиям. Слышал про Клименко? Гениальный конструктор. Выступил однажды, сказал про дефект их разработки, связанный с челябинской аварией, — на него напустились. Опровергали. Не дефекта испугались, а обнародования. Какое право имел вслух сказать про аварию! Мало того, Клименко написал в правительство. Потребовал нового расследования, просил привлечь медиков. Вскоре его изъяли. Не посадили. Нас нельзя сажать. По законам той же секретности. Разве можно в общую тюрьму? Нас изымают из обращения. Я пытался его обуздать, остановить. Но я ему про ответственность перед талантом, он мне — про ответственность перед Богом. Недавно один генерал докладывал начальству: обошлось, мол, с аварией, все шито-крыто, расставили на дорогах знаки, некоторые деревни переселили, утечку информации предотвратили. Я встал. «Вам чего?» — спросил председатель. «Хочу почтить память Михаила Клименко». Еще несколько наших дрессированных физиков поднялись. Вот и весь протест. Замечательные советские физики спасли страну. Создали равновесие. Вместе с бойцами невидимого фронта. Рука об руку. Мы всем обязаны этой мрази, мразь обязана нам.

Кремлевские аллеи были тщательно выметены. Кое-где под елками сохранился тонкий снежок, бескопотный, чистый... Надолго запомнилось Джо их долгое хождение среди образцовых березок, откормленных елей... Здесь, в Кремле, стоя лицом к бело-желтым правительственным дворцам, Лигошин признался в своей ненависти к советской власти. Она перешла к нему от сосланного в Сибирь отца, от вранья в анкетах, от того, что отрекся от отца с матерью, жил годами во лжи... Да еще детский ужас, как налетели к ним в избу активисты после высылки отца и стали тащить ухваты чугуны, самовар, противень, дрались во дворе из-за бочек.

— Ненавижу! — Лигошин скрипнул зубами. — Я, Лигошин, опоганил свою жизнь, всего достиг. А зачем, если меня не было? Что я делал? Бомбу делал. Американцы, тот же Сциллард или Бор, каялись. У нас — никто. Все гордились участием, бились за награды. Пусть стоят по всей стране голодные очереди — зато мы обеспечили страну бомбой. Пусть народ продолжает жить в общежитиях — зато мы имеем мощное оружие. Пусть болеют дети, ждут места в больницу — зато мы можем регулярно испытывать бомбы, делать атомные подлодки!

Джо невольно косился по сторонам.

— Бойтесь? Что ж, нормально, не бояться у нас только стукачи. — Лигошин потер лоб. — Бог ты мой, сколько раз я мог возмутиться! Упустил! Мог так грохнуть кулаком, что услышали бы далеко. Упустил!

Он вдруг вновь вернулся к той поре, когда их раскулачивали. Бабы, что набежали, и он, двенадцатилетний мальчишка, как он хватался за корыто, ведра, а у него вырывали из рук.

— Советская власть впору нашему народу. Лучше всякого самодержавия. Советская власть с ее лагерями и колхозами. Сколько ни хлебуют, а терпят. Ладно наши, они другой жизни не знают, но америкашки, Розенберги ваши, вы, например, — чего вы приперлись?

Джо почесал в затылке.

— Я все думаю про вашу догадку

— Это про совместные действия?

— Как они могли, есть ведь непримиримая идеология

Это для нас с вами У них вместо идеологии — бездна. А в бездне, там только бесы

Лигошин говорил с отвращением, будто заглядывал в бездну и видел и тех бесов и этих, с американскими звездами и с красной звездой

Обычно при контактах с советскими людьми Джо ощущал некоторое превосходство — превосходство человека, знающего жизнь обоих континентов, теперь уже и обеих систем, социалистической и капиталистической. Он мог сравнивать. Улыбался про себя над суждениями о язвах капитализма. С Лигошиным чувства превосходства не было.

— Нет ли каких-нибудь фактов в защиту Розенбергов, чего-нибудь убедительного? — осторожно спросил Джо. — Например, про схему ядерного заряда, от кого получили вы ее...

— От кого, откуда, как — ничего этого мы не знали. И лично мне до фени ваши Розенберги. Не буду я их ни защищать, ни выгораживать. Я никого не собираюсь защищать. Ни себя, ни Курчатова, тем более ваших Розенбергов

Но если они невиновны?

Лигошин остановился, взял Джо за отворот пальто

— Может, их оговорили, допускаю, но если б они имели материалы, если б они могли заполучить их, как вы думаете, передали бы они их? Молчите? То-то. Ничто бы их не остановило. Фукс, тот считал несправедливым, что бомбу делают в секрете от союзника, то есть от нас. Друзья ваши и подруги, у них другая психология. Они с радостью украли бы все бомбы и преподнесли их Сталину в монопольное владение. Бери, уничтожай империализм, пусть коммунисты владеют планетой. Что, я не прав?

— Это убеждения. За убеждения нельзя казнить.

— Когда человечество опомнится, нас всех проклянут, нас будут стыдиться так же, как мы стыдимся каких-нибудь конкистадоров.

— Ладно, позабудем, — сказал Джо как можно беззаботнее. Жизнь прекрасна. Весна, смотрите, как хорошо. По-моему, весна сюда, в Кремль, приходит раньше, чем в Москву. После такого роскошного обеда надо радоваться жизни. Русские удручающе серьезны. Вы упускаете праздники. Их куда больше, чем в календаре..

В какой-то момент Лигошин не выдержал:

Дорогой Джо кончайте ваш треп и переходите к делу

К какому делу?

Не прикидывайтесь.

Джо покраснел, что бывало с ним редко

Уверяю вас.

— А-а-а, бросьте. Вы человек практичный, давайте выкладывайте

— Напрасно вы подозреваете, Миля просила меня. — забормотал Джо Лигошин выслушал, помотал головой.

— Не верю. Боюсь, что и с Милей вы закрутили из-за меня.

Джо оглядел Лигошина от шляпы до огромных ботинок — этакий симпатичный гриб.

— Нет, Миля привлекательней

Ладно, мы с вами оба закрытые. Откровенности у нас быть не может. Разница в том, что в данном случае рискую я

Раз вы согласились, значит, я вам тоже нужен.

Они выжидающе посмотрели друг на друга. Джо улыбнулся просительно, Лигошин хмуро.

— Я хотел бы, — сказал Джо, — получить более определенные данные о степени участия Розенбергов.

— Попробую, — не сразу сказал Лигошин, — хотя душа не лежит у меня к вашим фанатам. Вы мне тоже окажете услугу.. Я вам напишу кое-что про наши дела, ну, то, что я рассказывал. Со всеми данными. Даты. Адреса поражений. Вы для меня счастливая случайность. Бутылка, брошенная в океан, — авось когда-нибудь дойдет. Согласны? В случае чего можете сжечь. Чтобы самому не сгореть. Одно дело разговоры, другое — бумага

— И что дальше?

— Когда-нибудь вы вернетесь домой. Я уверен в нашей системе, она вас доведет. Я хочу, чтобы мир узнал про все эти катастрофы, про захоронения

— А вы не боитесь, что вас обвинят в измене?

— Кому измене?

— Родине.

— Где она — моя родина? Наше Замошье, наше Кошкино? Да их и не стало. Сселили. А Москва — какая ж это родина? Может, она и столица мира. Не знаю. Нигде не бывал. Нет, бывал в городах, в которых вы не бывали: Арзамас номер такой-то, Челябинск такой-то. Их тоже на карте нет. Ядерные концлагеря. Плюс еще полигоны. Вот какую мне родину сделали.

— И я все это должен буду хранить?

— А что вы собирались сделать с данными о ваших друзьях?

— Не знаю.

— И с этими то же самое

— А если я вас подведу?

— Э-э, не беспокойтесь. Это случится уже без меня

Лигошин был не из тех, кого следовало утешать, и все же Джо сказал

— Никто не знает своего срока.

— Ерунда. Умирать вовсе не трудно, так или иначе это всем удастся.

Два воробья задрались, налетая друг на друга, толпы воробьев-болельщиков сустились на ветках, подбадривая забияк. Джо хохотал, теребил Лигошина:

— Они мудрее нас!

..Вернувшись в Ленинград, Джо больше месяца ждал обещанного звонка от Лигошина. Позвонил Миле, и та сказала, что дядя в больнице. А через две недели пришла телеграмма... Джо прилетел на похороны. Гроб завалили венками. На красных лентах блестели золотые надписи — от разных министерств, академии, от ЦК партии, от Косыгина. Джо стоял в почетном карауле у изголовья и смотрел на неузнаваемо маленького, обглоданного болезнью Лигошина. Просвечивали желтоватые кости черепа, выступили скулы, челюсть, голова, как стиснутый кулачок, торчала из большого ворота рубашки. Костюм стал слишком большим, в нем лежал маленький скрюченный Лигошин, который когда-то жил в большом, рыхлом теле.

Министр осторожно обрисовал неоценимый вклад Лигошина в оборону. Говорили о счастливой творческой жизни, о том, как простой крестьянский мальчик достиг высот мировой науки, такую возможность дает только советская жизнь. Никто не обращал внимания на хмурую гримасу Лигошина среди цветов и подушечек с орденами.

Миля подвела Джо к вдове. Маленькая полная брюнетка в толстых очках не отозвалась, некоторое время прямой взгляд ее сухих глаз сохранял недружелюбие, потом она вспомнила, что уже в больнице муж предупредил: в письменном столе — пакет для «Милиного кавалера». «В случае чего передай». Сразу после кончины Лигошина в квартиру заявили «мальчики из конторы» и забрали все бумаги.

— Конверт был надписан?

— Там была надпись: «В бутылку»... Попробовать вернуть?

— Подождите.

На Новодевичьем кладбище к Джо подошел мужчина в кожаной кепке, кожаном пальто, укутанный полосатым шарфом.

— Узнаете?

Джо взгляделся — так и есть: Юрочкин. Теперь он работал в Москве.

— Вы что, дружили с покойным?

Джо неопределенно повел плечами — нет, мол, были связаны по работе.

— Бывали у него дома?

— Нет.

— Трудный был человек, царство ему небесное, — произнес Юрочкин полувопросительно, подождал, потом сказал: — Глупо вел себя в последнее время покойник, так что, можно считать, повезло ему.

На поминки Джо не поехал, этот здешний обычай казался ему странным. Они долго бродили с Владом по кладбищу между пышных надгробий. Влад

советовал не заикаться о бумагах Лигошина: могут докопаться до адресата — и у родных будут неприятности. Но что бы он делал с этими материалами? — допытывался Влад. Об этом Джо не думал, он понимал: будь материалы Лигошина у него, они заставили бы его действовать. Получи он малейшие данные о Розенбергах, ему надо было бы пустить их в ход, то есть переслать тайком — но куда, кому? Значит, искать связи, значит, переступить... Он поймал себя на чувстве тайного облегчения — оттого, что все это сорвалось...

XXIX

Центр строили на удивление быстро. Командовал строительством замминистра Кулешов. Он мастерски пользовался своими связями, и более всего именем Н. С. Хрущева. Звонил его помощникам, докладывал еженедельно, как идут дела. Вроде никто его об этом не просил, но он приучал их к центру. И приучил настолько, что, если запаздывал со звонком, помощники сами спрашивались, что случилось. Он посвящал их с подробностями в свои тяжбы с энергетиками, банком, железнодорожниками.

Одновременно с самим центром воздвигались научные институты, конструкторские бюро, жилые корпуса, универмаг, завод, гараж, котельная. Лаборатория начинала работу в неотделанных, сырых, заваленных строительным мусором корпусах. Картос не хотел ждать ни одного дня — нигде так хорошо не работается, как в подвалах и на стройках. Почему-то, когда кругом неустроенность, получается хорошо...

Картос торопился, потому что в Америке тоже торопились. Бум микроэлектроники начинался и в Европе. Каждый вторник Андреа и Джо проводили в читальных залах библиотеки Академии наук — отправлялись в БАНю, как острили сотрудники, «у наших фюреров банный день». Библиотечный день соблюдался неукоснительно, происходила как бы подзарядка аккумуляторов. Кроме американских и английских, просматривали еще и французские журналы — это Джо, и японские — это Андреа.

Термин «микроэлектроника», введенный Картосом, получил распространение в Союзе, а за ним и в мировой печати. Никто не ссылался на Картоса, и все равно было приятно, во всяком случае «картосята» знали про его авторство.

Поколения ЭВМ сменялись быстро. Вычислительные центры создавались при институтах и обслуживали уже, кроме математиков, строителей, механиков, гидротехников. Возник сильный институт на Украине, затем в Грузии, Белоруссии.

Лаборатория № 3 пока что еще сохраняла первенство по некоторым позициям; гонка шла — у кого больше объем памяти, меньше вес, размеры... Картос слышал топот бегущих позади, нагоняющих — ему дышали в затылок. Молодежь охватила азарт соревнования, да это и было настоящее соревнование, а не те анемичные сообразительности, которые заставляли брать ежемесячно. Содействие с американскими лабораториями заставляло выкладываться всех.

В октябре 1963 года у Картоса произошел неприятный разговор с Кулешовым. Конфликт назревал давно. Замминистра, занятый недоделками, приемкой законченных объектов, вдруг обнаружил, что Картос самовластно, но исподволь превращает центр в научно-исследовательский комплекс, разворачивая там «опережающую» работу. По словам Кулешова, он воспользовался ситуацией, тем, что Кулешов и его аппарат подтирала грязь. Кулешов был коренной промышленник и относился к центру как к базе для обработки новых машин и технологии. Страна нуждается не в исследованиях, а в конкретных результатах. Картос же перестроил весь замысел центра, успел насадить своих молодцов, приспособил производственные мощности под непредусмотренные научные работы...

Скучно и жестко он отчитывал Картоса, еле удерживаясь от привычного заводского мата.

— Я исследователь, а не рапортун, — отвечал Картос.

Неосмотрительно отвечал, бестактно, убежденный в своей правоте, тогда как все права были у Кулешова и качал он их умело, уклоняясь от публичности Андреа же невольно выносил разногласия на публику не стесняясь присутствием подчиненных, и это возмущало замминистра

На техсовете когда Кулешов сослался на существующую в инстанциях точку зрения, вдруг ляпнул:

— Есть две точки зрения: моя и неправильная

Все восприняли это как шутку, но Кулешов обиделся

Картос пытался найти компромиссное решение однако натолкнулся уже на глухое сопротивление Кулешов явно избегал прямого контакта, объяснялся приказами, демонстративно отменял его распоряжения Зажогин узнал стороной, что и Сербин афиширует свое недоверие и к Картосу и к Бруку Не верит, дескать, он им обоим:

— Дожили, не хватает, чтобы нами эмигранты командовали

По этому поводу Степин попросил Сербина объяснить, рискуя испортить отношения Сербин вспылал, недавнее разоблачение шпиона Пеньковского, суд над ним оставили тяжелое впечатление, похоже, что кагебисты работают из рук вон плохо, они мастаки только невинных людей хватать и придумывать несуществующие заговоры, настоящих же шпионов ловить не умеют В тридцать седьмом году сколько перестреляли — и хоть бы кого за дело, ни одного настоящего шпиона не нашли из десятков тысяч, может, сотен тысяч И до сих пор не научились.

— Твоих двоих — кто их нам доставил, кто? Берия! Лаврентий Павлович! — кричал он — Его произведение Преподнес Сталину как свой высший рекорд. Уверен, что их про-настоящему и не проверили А они потихоньку внедряются В самую сердцевину Никита растаял: ах, идейные иностранцы Как бы не так! Хрена им делать на нашей-то стороне! Учти, в случае чего наши головы полетят Никита буркнет: куда смотрели? Нет уж, береженого Бог бережет, отжимать их надо, голубчиков. Мало ли что хорошо работают — иначе им не внедриться!

Министр, однако, твердо стоял на своем. Все это пустые подозрения, он хорошо знает и Картоса и Брука, нет никаких оснований менять к ним отношение. В какой-то мере они были его произведением. Он вытаскивал их из неизвестности, по крайней мере он так считал, они украшали его герб, никто из министров не имел у себя на службе, да еще на первых ролях, иностранцев, над ним шутили: попал из варяг в греки. Его спрашивали: как твои греки, цветут?.. При встречах и Хрущев и Косыгин тоже справлялись о них. Экзотическая эта пара делала Степина в глазах других, да и в собственных, человеком рискованным, передовых взглядов и выделяла среди правительственной публики. А выделиться было не так-то легко. Выделиться значило войти в число кандидатов в ЦК партии, а то и членов ЦК, стать лауреатом Государственной премии, получить Героя Труда, из сотни просто министров попасть в особое, которых знают по имени-отчеству, здороваясь за руку, улыбаются как знакомым, которых всегда приглашают на Президиум Совмина. Существует еще множество мелких, невидных простому глазу различий, не менее важных, чем золотая звездочка.

После разговора с Сербиным Степин на свой страх и риск потянул за какие-то невидимые нити, и произошло для всех неожиданное — Картосу позвонили от Н. С. Хрущева и передали предложение генсека вступить в партию, без кандидатского стажа. Отказаться было невозможно, да Картос и не собирался отказываться, в борьбе с Кулешовым партийность, к тому же столь почетная, могла укрепить его позиции

Вступление в партию совпало с обменом партдокументов. Картосу вручали партбилет торжественно, в ЦК, в малом зале, вместе с Гагариным и Королевым. Партбилет был номер двадцать, что, оказывается, тоже имело большое значение. У министра билет был трехзначный, но он был горд за Картоса и живо представлял себе, какое впечатление произведет этот двадцатый номер на секретаря Ленинградского обкома, да и на Сербина тоже.

Событие это Степин предложил отметить. А заодно поздравить с юбилеем и академика Губера Рудольфа Ивановича, известного среди связистов, радистов и моряков. Губер ценил Картоса, и Андреа с удовольствием отправился к нему вместе с министром в его огромной «Чайке». К себе Степин никогда никого не приглашал.

По дороге министр как бы мимоходом упомянул, что Кулешов жаловался ему на разногласия.

— Ты сейчас получил поддержку и сиди тихо, не рыпайся, — сказал министр.

У нас с Кулешовым разное понимание задачи центра.

— Задачу ставлю я.

— Мы бы могли найти какую-то среднюю линию.

— Какую?

Министр слушал его, поглядывая в окно на бегущую мимо улицу. Было ясно, что обо всем этом ему уже докладывали.

- Боюсь, что с Кулешовым не договориться

— И что же ты предлагаешь?

Андреа помолчал, вытянул ноги.

— Кулешов сделал все что мог — построил, оборудовал.

— Значит, теперь его можно на «ща»?

— Думаю, руководителей полезно менять, когда меняются задачи.

Хм-м, у тебя есть кандидат?

— Нужен специалист, способный к прогнозированию.

- Прогнозы — это хорошо, — согласился министр и переменял тему.

Дежурная в убранном цветами холле спросила их, к кому они вызваны, назвала этаж, и они поехали в лифте, отделанном под красное дерево.

На площадке, перед тем как нажать на звонок, Степин вдруг спросил:

— И какого же роста твой кандидат?

— Сто шестьдесят пять сантиметров, — с готовностью сообщил Андреа.

— С усиками?

— Желательно. — Андреа охотно подхватил игру

— И кто же его рекомендует, кроме тебя?

— Может быть, сам министр.

— А ху не хо?

— Что это? — не понял Картос.

— Фольклор, — разъяснил министр и нажал звонок с улыбкой, значения которой Андреа не понял, понял лишь, что относилась она не к нему, скорее ко всему их разговору.

Он не раз потом мысленно возвращался к этому эпизоду на лестнице перед квартирой Губера, удивляясь своей легковёрности и тому, как плоско, однолинейно человек воспринимает настоящее, то есть происходящее с ним.

Рудольф Иванович Губер считался патриархом подводного флота, создателем связи для российских подводников. В начале войны Сталин приказал найти его. Губера привезли прямо из лагеря, в рваном бушлате, и Сталин поручил ему наладить связь и в действующей армии. Легенд, подобной этой, ходило немало, они имели и других героев, их тоже доставляли из лагерей прямо к Верховному в ватниках, в арестантских робах — генералов, министров, конструкторов. Иногда Сталин, оглядывая их арестантский наряд, укоризненно качал головой — нашел, мол, время сидеть. Вполне возможно, что случаи, подобные губервскому, имели место во множественном числе, поскольку игра, в которую играл отец народов, была игрой с замахом на Господа Бога, только такой размах мог соответствовать столь великому тщеславию.

Долгая жизнь Губера обросла и другими легендами. Ходили, к примеру, слухи, что, будучи военным атташе в Англии, он якобы влюбился в английскую принцессу. Или она в него. Он вроде бы мог сделать ей предложение, аристократические корни давали на это право, но присяга и указания Реввоенсовета республики остановили его. Адмирал при всем своем свободомыслии

отличался законопослушностью. Ныне, достигнув восьмидесятилетия, Рудольф Иванович выступал в роли хранителя флотской чести, флотских традиций, считался блюстителем нравов не только на флоте, но и в академической среде вместе с такими аристократами духа, как Тамм, Капица, Гинзбург.

Министр представил Картоса как звезду микроэлектроники. Губер посадил Андреа рядом с собой, обласкал.

— Вы заполучили сокровище, — сказал он министру. — Когда-нибудь ему поставят памятник,

— Вам, ученым, хорошо, — сказал министр. — Вас ждут памятники, а вы слышали, чтобы какому-нибудь министру поставили памятник?

На это Рудольф Иванович вспомнил, как в Древнем Риме один из друзей сказал Катону Старшему: «Безобразно, что в Риме тебе до сих пор не воздвигли памятника». Катон ответил: «Лучше пусть спрашивают, почему нет памятника Катону, чем почему он есть».

— На памятнике Картосу, может, сделают барельеф, где и я буду изображен, — хмыкнул министр.

Он демонстрировал Картоса, как свою охотничью собаку: хвалился отличными машинами, которые тот сделал, американцы отзываются о них с уважением, признают наше первенство, прохиндеи...

За столом было несколько адмиралов-подводников, генерал от Генштаба, приятель Губера по лагерю. Адмиралы время от времени возвращались к тому, что пора бы осадить американцев, напомнить, кто истинный хозяин в Европе. С Кубой не получалось, зря Никита стал там задираться, лучше где-нибудь в Европе маленькую войну развязать, показать, что мы можем. Надоело ходить подо льдами, куда только не посылали, толклись у берегов Швеции, Норвегии, добрались до Америки и ничего не видели, кроме ночного неба с чужими звездами. Губер их не осуждал: с ними обращались безжалостно, и они стали такими же. Подводную атомную лодку, которую настигла авария у шведских берегов, как понял Картос, приказано было уничтожить вместе с командой. Подвыпив, они называли Хрущева Никитой, Устинова — Митюхой.

— Западный шпион у вас работать не может, — вдруг сказал Картос.

Каждый раз его слова застигали врасплох — не сразу можно было уловить ход его мысли.

— Почему же не может? — поинтересовался какой-то генерал.

— Нет условий. Самых примитивных.

— Ну уж.

— Мне рассказали про одного шпиона. Опытный был шпион. Договорились, когда его забросили, что свои донесения он будет писать обычными лиловыми чернилами — это про то, что к делу не относится, про ерунду, а то, что важно и правда, — красными. Приходит от него сообщение сплошь лиловыми чернилами и в конце приписка: красных чернил здесь достать невозможно.

Когда отсмеялись, Рудольф Иванович рассказал, как следовательно, умучившись с ним, попросил его самого придумать историю своего шпионства. Выхода не было, и Губер решил использовать эту возможность в своих интересах, назвал шведским шпионом, якобы передавал секретные сведения о Балтийском флоте шведскому резиденту у Казанского собора, а резидента, дескать, звали Барклаем-де-Толли. Так и вошло в протокол; последняя надежда Губера, что когда-нибудь, разбирая архивы КГБ, расшифруют его сигнал и обелят его память.

Министр обнял обоих, Картоса и Губера.

— Дорогие мои, такие шпионы, как вы, и создали нашу мощь!

Центр, по его словам, набирает силу и скоро сможет на основе сделанных машин выдать сотню таких же. Хватит хвастаться образцами! Привыкли работать на выставку. Сделаем в одном экземпляре и считаем, что схватили царя за бороду! Речь его звучала вольнолюбиво, ему одобрительно кивали.

— Тщеславен, — определил Рудольф Иванович. — Однако скромность сделала куда меньше замечательного, чем тщеславие.

Губер был сухощав, подтянут, высок, смотрел на людей с ироничным сочувствием. Если бы они знали, как полезно смиряться со своими бедами, посмеиваться над своими неудачами и не придавать значения своей особе! К сожалению, люди привыкли относиться к своему положению слишком серьезно, адмиралы считали себя адмиралами, министры исполняли роли министров и никто не смотрел на себя с усмешкой

Между тостами, хлопаньем пробок, флотскими присказками Рудольф Иванович незаметно помогал Картосу освоиться в этой чужой ему компании.

Кофе перешли пить в соседнюю комнату. Картос спросил у хозяина, чем он сейчас занимается. Слава богу, он не писал воспоминаний, он считал это ужасной старческой болезнью. «Старость — сугубо личная неприятность» Он продолжал обдумывать давнюю физическую проблему: мог ли Господь создать вселенную иначе, чем она создана? Действительно ли это единственный вариант с единственно возможными физическими законами?

В этот дом приходили главным образом, чтобы послушать Рудольфа Ивановича. Он был хороший рассказчик, и ему было о чем рассказать, он встречался в Англии с Резерфордом, Томсоном, Черчиллем, во Франции — с де Голлем, Жолио-Кюри, знал кибернетиков, таких, как Эшби и Тьюринг, работал вместе с Вернадским. У него накопились обширные наблюдения над природой гениальности. К старости он понял, почему не смог дотянуться до гения. При великолепной способности к логическому мышлению, математической одаренности, умении чувствовать физику явлений ему не хватало пустяка — дара мыслить нелогично, щепотки безумия, если угодно, дурости, которая заставляет гения прыгать через пропасть, поступать вопреки очевидности. Его ум был в плену логики и не осмеливался на абсурд. А с помощью логики не прорвешься к звездам, поэтому он звезд с неба не хватал, схватил только адмиральские

Его насмешки над собой рикошетом поражали и Картоса, ведь, в сущности, и Андреа не хватало того же самого, но он не осмеливался признаться себе в этом. Вопрос в том, насколько не хватало. В лаборатории считали его гением. Было принято во всех случаях оглядываться на него: «Картос сумеет лучше», «Неизвестно, что скажет Картос», «Будет вам топтать меня, ведь я не Картос». Сам он еще в университете твердо решил выйти в гения.

— Что сделал Резерфорд, что делает Капица, что получилось у Вернадского? — рассуждал Рудольф Иванович. — В каждом случае можно проследить, как они сумели стать на непривычную точку зрения. Немножко иначе увидеть атом или нашу Землю. Достаточно чуть сместиться, подняться, допустим, на самолете, и окажется, что деревья — та же трава Земли.

Андреа не уловил, кто первый повернул разговор на опасную тему «ученый и власть», вполне возможно, что это сделал министр.

— ..они думают, что если придут к власти, то сумеют организовать ее по-научному, — говорил генерал. — Фиг у них это получится, извините за выражение. У нас, допустим, в армии без матерщины никакая инструкция не сдвинет с места передовую технику

Мужество ученого состоит в том, считал Рудольф Иванович, чтобы суметь отказаться от соблазна власти. Власть — одно из самых коварных искушений для ученого. Ему кажется, что, достигнув власти, он сумеет быстрее осуществить свои замыслы. Или же внедрить их. Но всегда оказывается, что это сделка с дьяволом. Гений гибнет в паутине сделок и компромиссов. Лишается свободы мышления...

— Слушайте, слушайте, Андрей Георгиевич, это в ваш огород. — Министр председательски постучал по столу.

— А что так? — спросил Рудольф Иванович.

Степин развел руками:

— Рвется к власти, хочет сам руководить центром.

Все посмотрели на Картоса, кто жалея, кто осуждая.

— Зачем вам это? — удивился Рудольф Иванович. — Вот это сюрприз.

Андреа растерялся. Он никак не ожидал, что министр огласит их разговор.

Да еще в таком виде. Он попробовал разъяснить несогласие с Кулешовым, но прозвучало это невыразительно.

— Нет-нет, ради бога, дорогой вы мой, выкиньте из головы, — загорячился Рудольф Иванович — Вас там, наверху, затреплют, будут рвать на части, вы только и будете что отбиваться.

— Да почему же, по-моему, это естественно. И Курчатов и Туполев, они своим делом руководили сами, да и вы, Рудольф Иванович, и в войну и потом...

Его слова вызвали общую усмешку. Все переглянулись как соумышленники.

— Во-первых, замечу вам, Андрей Георгиевич, те назначения производил лично Сталин. Во-вторых, ваше дело особое, вы должны понимать.

— Что вы имеете в виду? — напряженно спросил Картос.

Рудольф Иванович вздохнул:

— Лично я проходил это в лагере. Меня с моими немецкими фамилией и именем лагерное начальство не утвердило в должности банщика. Сочло неполитичным. Я говорю начальнику: мои, мол, предки были аптекарями царского двора еще при Алексее Михайловиче. А он мне на это не без юмора: а при Иосифе Виссарионовиче нельзя.

— Но мы не в лагерях!

Все рассмеялись снисходительно, как над школьником, которого нельзя обижать. Рудольф Иванович предложил выпить за женщин — спасительный тост, — за красавиц женщин, а все женщины, которых любят, — красавицы. Он встал с рюмкой в руке, и все встали, выпили в честь хозяйки дома и внушки.

Вечер кончился вроде бы удачно, но у Андреа осталось тягостное впечатление, будто на нем поставили клеймо. Заклеймили как человека, который жаждет власти, пользуется расположением Хрущева, чтобы заполучить директорство. Обдумывая слова министра и поведение окружающих, он убеждался, что такое мнение наверняка сложилось у всех. Операция Степиным была проведена умело, решительно, его отсекали от попыток взять руководство центром в свои руки. Никто не поддержал, никто не вник в причины разногласия, но всех явно задело то, что ученые претендуют на руководство.

Подводя неутешительные итоги, Картос должен был признать, что даже Губер, чье мнение ему было особенно дорого, принял сторону министра. А Губер представлял группу ученых, которые считались честью и совестью Академии наук.

Через некоторое время Губер зазвал к себе Картоса — на чаек.

В кабинете Рудольфа Ивановича, кроме нескольких словарей и энциклопедии, почти не было книг. Письменным столом служил длинный обеденный стол. Маленький шкаф был туго набит папками. На кожаном диване лежал клетчатый плед. Рядом с диваном — покойные кожаные кресла. Пахло сандаловым деревом и табаком. Блестел паркет. Горел простенький торшер. Хозяин, в уютной суконной куртке, в шлепанцах, сам заварил чай, обратив внимание на рецепт: смесь грузинского с индийским и чуток вишневого.

— Я пригласил вас, Андрей Георгиевич, сказать кой-чего про вашу последнюю машину. Я с ней ознакомился у летчиков, — так начал Рудольф Иванович, несколько торжественно, что было на него не похоже. Он перечислил все достоинства машины, прежде всего парадоксальность решений. Она открыла ему образ мышления Картоса, его инженерный талант, редкий по сочетанию научного и технического подхода. Понятно, что машина — творение коллективное, предупредил он возражения Андреа, однако и замысел и отбор решений всегда принадлежат одному человеку.

Впервые Картос слышал анализ не столько особенностей машины, сколько своего стиля работы, качеств своего дарования. Губер был доволен: наконец-то у нас появилась своя школа, свое направление в микроэлектронике и к тому же своя терминология — раз уж мы оказались впереди, то нам и приходится изобретать термины.

— Не знаю, откуда вы такой взялись-появились, не мое это дело, но я рад, что дожил. Наконец-то и мы в честном соревновании оказались впереди! Хрущев, наверное, за то вас и милует. Вы оправдали его прямо-таки нахальный вызов Америке. — Адмирал шагал по кабинету, сцепив руки за спиной. — Я давеча наблюдал за вами и, признаюсь, страдал. Охмелели вы от царских милостей. По какому такому поводу?

— Повод был. И вы это прекрасно знаете.

— Знаю, но не разделяю. И удивляюсь. Вас же лишили еще одной степени свободы. Отныне на вас хомут партдисциплины

Я счастлив, что меня приняли в партию, — твердо сказал Картос.

— Да на хрен вам это? С вами же теперь будут говорить по-другому. Руки по швам! Делай, как приказано, а не то партбилет положишь. Хоть и с маленьким номером.

— Я думаю, Рудольф Иванович, авторитет Генерального секретаря достаточно высок, я в этом лично убедился.

— Высок, высок... — Губер зашагал быстрее. — Я к Никите Сергеевичу расположен. Несмотря на это, позволю сказать вам: в фаворитах ходить стыдно. Но это еще полбеда. А беда в том, что вы опираетесь на него. А ну как рухнет?

Поворот был неожиданный и, чувствовалось, не зряшный. Блеснуло, как лезвие, и ясно было, что блеснуло не случайно.

— Ну прекрасно, получите вы начальственное место. Окажетесь сразу на юру. Это значит на самом виду, всем открытый, — и что дальше?

— Мне никто не будет мешать. Я разверну исследования самым широким фронтом. Куб памяти. Пленочный экран. Интегральные схемы. Сейчас мы рискуем не угадать, по какому пути пойдет микроэлектроника. А при широком фронте...

Иметь Губера слушателем было удовольствие. Он схватывал с полуслова, сочувственно, впервые Картос ощутил у кого-то доброжелательный интерес ко всем перипетиям своих путаных обстоятельств.

— У нас есть жесткая сила в управлении, — говорил Андреа, — но нет умной силы. Ум лишили и власти и силы. Я не понимаю, почему власть должна быть отдельно, а наука отдельно?

— Так устроена наша система. Вы же знаете, что переводить систему в другой режим надо очень осторожно. Ученым дать власть? Не уверен. Достаточно поставить у руководства культурных людей.

— Коммунистическое общество предложили ученые. Надеюсь, не отрицаете, что Маркс был ученый и Ленин ученый.

— Не знаю, — сказал Губер. — По их науке о диктатуре пролетариата меня трижды сажали. А я вам скажу, что получится из вашего директорства. Вы станете бельмом на глазу для наших директоров, будут доказывать, что вы пользуетесь покровительством, что вы дутая фигура.

— Пусть. Единственный способ научить чему-то других — это показать пример.

— Если дадут стать примером. Степин — это хорошо, но он карьерист. В вашем положении лучше перетерпеть неудачу, чем успех.

По мнению Губера, министр выражал общее мнение начальства: на первые роли специалистов не пущать. Почему? Да потому что специалист — особа неуправляемая.

— Вы и так достигли того, чего никто из иностранцев не достигал. Вы, можно сказать, главный грек Советского Союза. А теперь хотите и на передний план вылезти. Остановитесь.

— Что же будет с работой?

Рудольф Иванович постоял перед Картосом, любовно тронул его за плечо:

— Образуется, только не наделайте глупостей.

— А чего мне бояться?

— Вы их не знаете.

— Но вы же не боитесь!..

— Отбоился. Россия — страна страха, у нас культура страха, великое множество всяких страхов, больших и малых, окружает каждого. Думаете, они не боятся? — Он дернул головой вверх, к потолку — Ленин был трус, Киров из трусости Сталину задницу лизал, а Сталин на фронт боялся сунуться. Хрущев единственный, кто набрался смелости. Я ему многое прощаю за это. А вот вы не имеете права на смелость. Вы свой дар обязаны сохранить. Не рисковать.

— Мне некогда бояться. И я не хочу занимать свой ум страхами. Это, может, и было в сталинские времена, а сейчас этого нет. У вас, Рудольф Иванович, старые страхи.

Губер молчал.

— Я не хочу болеть вашими болезнями

— Ваша жена, как они утверждают, общается с иностранцами. Губер продолжал ходить. — Ее фотография напечатана во французской газете. Они мне это показали. Ее предупреждали, но она продолжает

— Вам показали? Зачем? — удивился Картос.

— Хотели, чтобы я вас уговорил.

— И вы согласились?

— И я согласился. Взвесил все — и согласился. Хочу, чтобы и вы все взвесили...

— Что у них еще есть?

— Не знаю. Из одного этого можно раздуть дело. Они свою партию разыгрывают.

— Кто они?

— Армия, ВПК, ЦК, министерство. Одним надо перехватить заказы, другим свалить министра. Считают Степина больно уж прогрессивным. Слишком шустрым... В России гениям не живется. У нас климат суровый

— Что же делать?

— Надо искать другую методику. Кто вы сейчас? Формально никто. Подозрительный иностранец. Чуть что не так — и за шиворот. Вам нужно прочное положение. Защищенность. Вы ведь даже не членкор. Давайте баллотироваться. Я вам помогу. Не отказывайтесь. К сожалению, Андрей Георгиевич, и в этих сферах хватает цинизма. Но вы-то заслуживаете сполна. Ваши машины — весомая штука.

И он сперва по-русски, потом по-английски объяснил, что академик — это пожизненная охранная грамота. Не звание, а своего рода сан, знак породы. Как герцог или овчарка. Нельзя быть бывшим герцогом, так же как бывшей овчаркой. С академиками считаются, поставить академика руководителем еще куда ни шло, так что ближайшая задача — Академия наук. Пока же не возникать, не претендовать, наращивать научный потенциал. Привлекать академиков консультантами, заводить связи. И пожалуйста, без огорчений, переживаний. Наоборот, вам же лучше, не хотели Картоса директором — и слава богу: нет бороды, так и стричь нечего. Его дело — предупредить.

XXX

Это случилось тем же сентябрем, в Москве. Джо ходил взад-вперед по университетскому скверику, ожидая Милю. Движение помогало думать. По холодному синему небу летели желтые листья, свободные, они кружились, высоко поднимаясь над деревьями. Их было много, целые оранжевые стаи. Джо думал о красоте. Может быть, в связи с этим осенним листопадом. О красоте своей текущей работы. Красоты-то там как раз и не хватало. А красота для него всегда была критерием истинности.

Миля вышла с каким-то щуплым пареньком; увидев Джо, помахала ему, сбежала по лестнице, спутник последовал за ней.

— Познакомьтесь, — сказала Миля, — это Ярик, Ярослав, мой жених.

Она явно наслаждалась эффектом. Ярик протянул руку. Джо машинально пожал ее. Одет был Ярик щеголевато — замшевая зеленоватая куртка, джинсы

заправлены в мягкие сапожки. Сияя доброжелательством, он пригласил Джо отметить помолвку. Отправились в Дом актера. Администратору он сказал: «Эти со мной».

Джо никак не мог прийти в себя. Казалось, его отношения с Милей после смерти Лигошина стали и ближе и теплее. Зимой решили поехать на неделю в Подмоскowie кататься на лыжах. Что произошло? С каким-то непонятным ему удовольствием Миля рассказала, как Ярик сделал ей предложение. Джо обязательно должен быть на свадьбе.

Принесли шампанское. Джо поднял узкий бокал, посмотрел, как бегут вверх мелкие пузырьки, и прочел из Шекспира:

Friendship is constant in all other things,
Save in office and affairs of love¹

Почему именно это пришло на память? Очень просто: когда-то они читали Шекспира с Вивиан, она повторяла ему эти строки перед отъездом. Ярик похвалил: у Джо, мол, неплохое произношение; его раздражало довольство — своей молодостью, столичностью, журналистской профессией. Он сыпал анекдотами, с ним здоровались, он отходил к соседним столикам выпивать, чокался. Миля посмеивалась и над ним и над Джо. Она была наэлектризована, язвила, старалась вызвать Джо на резкость. Да, Ярик не ума палата — а кто такой Джо, что он из себя представляет? Подумаешь, бывший иностранец. А Ярик, между прочим, будущий иностранец, они ведь собираются уезжать, и не куда-нибудь — в Штаты. Ярика посылают как журналиста, ему нужна жена. Такое правило. Отсюда все и идет. Папаша у него шишка. Так что на лыжах она будет кататься где-нибудь в Северной Дакоте. Их ждет квартира в Вашингтоне, в центре, гараж; квартира, между прочим, уже обставлена, большой холодильник, кухня с электроплитой, так что — простите, мирные долины...

Она вдруг заплакала, Ярик и этим был доволен — невеста должна плакать, по старинному русскому обычаю положено.

Выпив коньяку, он стал рассказывать Джо про американскую жизнь и корреспондентскую работу. Главное, научиться ругать американские порядки, находить изъяны, несчастных людей, еще лучше показать беспощадность капиталистической конкуренции. Пороки системы. Бессмысленность жизни. Если найти верный ключ для обличительных репортажей, можно жить припеваючи.

Он раскраснелся, прядь волос падала ему на лоб, он красиво отбрасывал ее, изображая не то отчаянного журналиста, не то профана. Он гарцевал перед Милей и особенно перед Джо, стараясь достать его, и доставал.

— Зачем же вам ехать в Нью-Йорк, здесь бы и писали свои очерки, — сказал Джо.

— Детали, детали нужны, дорогой мой, да и потом — сравнили Москву с Нью-Йорком. Там настоящая жизнь. Вы были когда-нибудь в Нью-Йорке? То-то. Это вам не ваша дыра Иоганнесбург.

Перед отъездом Миля провела с Джо целый день. Поехали в Перedelкино, она повела его на кладбище, посидели у могилы Пастернака. С холма видны желтеющие поля, ручей, выцветшее небо. В маленькой игрушечно-нарядной церкви она поставила свечку за себя и за Джо, за то, чтобы они еще встретились. Все в этот день было печально-трогательным. Длинный пустой перрон, огни семафоров, газетный фунтик с бурым крыжовником, который купили у станции. Миля еле удерживалась от слез.

В аэропорт Шереметьево ехали несколькими машинами. Миля усадила Джо рядом с собой. Ярик сидел впереди с водителем. На Миле был черный с алыми розами большой русский платок, черного бархата жакетка, русские са-

¹ Дружба тверда во всех делах,
Только не в делах и услугах любви (англ.).

пожки — словом, типичный, как она считала, русский наряд, такой она хотела предстать перед американцами.

Стоило закрыть глаза — и можно было представить, что это не Ярик с Милей, а он, Джо, еще сегодня через двенадцать часов приземлится в Нью-Йорке. Сказочная эта возможность вдруг приблизилась вплотную, когда они подошли к барьеру, за которым начинался таможенный досмотр.

Регистрацию билетов долго не объявляли. То там, то тут Джо ловил американскую речь, наслаждался ею, угадывал в толпе американцев по жестам, по какой-то неуловимо родной манере держаться. Вдруг издали он увидел Эн. Растрепанная, красная, она металась, кого-то разыскивая. Джо пошел к ней, потерял ее из виду, а когда нашел, она обнимала какого-то высокого мужчину, а двое молодых парней что-то выговаривали ей и пытались отвести в сторону. Мужчина, бледный, очень высокий, с редкой рыжеватой бородкой, показался Джо смутно знакомым.

Появление Джо несколько не смутило Эн, она тут же привлекла его как свидетеля, пригрозив «этим типам», что сообщит куда надо. Она «провожает друга». Он улетает в США.

— Его выслали, его насильно выдворили из СССР.

И тут только Джо вспомнил, где он его видел: художник, который увел Эн когда-то в Русском музее. Так, значит, слухи о романе Эн верны?

Не стесняясь, Эн прильнула к Валерию, держала его руку у своей груди. Парни, которые, видимо, сопровождали художника, хотели было провести его каким-то другим ходом, но Эн не отпускала, и когда они попробовали ее оттолкнуть, вдруг закричала пронзительно по-английски:

— Господа, внимание! Я хочу всем сообщить!

Кто-то из иностранцев тут же наставил фотоаппарат.

Ничто другое, как потом понял Джо, не могло так быстро подействовать на этих молодчиков, как безумная выходка Эн. Они, сменив тон, принялись успокаивать Эн и, ловко орудуя плечами, оттесняли начавшуюся было сгущаться толпу. Бесцеремонно отодвинули и Джо — давай-давай топай отсюда, не задерживайся. Он попробовал возразить: на каком, собственно, основании? Ему вывернули руку: имеются основания, пусть мотает отсюда, пока не получил по хлебалу. Но тут вмешалась Эн, и они отстали. А Эн все гладила своего художника, он стирал пальцем мокрые следы под ее глазами. Они не отрываясь смотрели друг на друга с отчаянием людей, расстающихся навсегда. Он был единственным в этом огромном зале, кого ничуть не волновало предстоящее путешествие. Он уезжал не в Америку, он уезжал от нее.

— Вы должны ее успокоить, — говорил Валерий, обращаясь к Джо. — Она ни в чем не виновата. Все равно они бы меня выжили. Они всех выталкивают. Она берет на себя их грех. Так нельзя. Им только это и надо. Смотрите, какие у них оставленные Богом физиономии. Анна помогла мне. Я теперь знаю, что собою представляю. Я там не пропаду. Пора попробовать себя не в подполье.

Эн тоже обращалась к Джо, она не могла себе представить — как же ее художник будет там, в Штатах, без языка, без знакомых? Джо замахал руками, подзывая Милю и Ярика. Сейчас он их познакомит, и на первые дни у Валерия будет хоть кто-то из своих. Успели сказать что-то Ярику сопровождавшие гаврики или нет, Джо не заметил, но Ярик насторожился. Лицо его похолодело, он выпятил подбородок, покачался на цыпочках, отвергающе повел головой.

— Я думаю, дорогой Джо, тот, кто бросает свою родину, не может рассчитывать на нее.

— При чем тут родина? — сказал Джо. — Я же вас прошу.

— Между прочим, я еду за рубеж представлять не себя лично. Да и мне самому не по душе люди, которые, как говорится в Библии, меняют первородство на чечевичную похлебку.

Он не гневался, он исполнял свой гражданский долг.

Эн не хотела уходить из аэропорта, пока не взлетит самолет. Ей казалось, что все может измениться в последнюю минуту. Она ходила с Джо по залу. По радио объявляли: Париж, Мадрид, Стокгольм. Сегодня вечером самолет при-

землится в Нью-Йорке! Это никак не укладывалось в голове у Джо. Открытием было и то, что у Эн имелась своя жизнь. Вполне возможно, что Андреа кое-что знала об этой другой жизни своей жены, но это ни на йоту не изменяло его поведения. Какое, однако, сложное устройство человек, в нем свободные совмещаются самые разные программы! Противоречивость человеческой природы угнетала Джо. Человек — это дерево, каждая ветвь живет отдельно, шумит своей листвой, у нее свои гнезда и свой луч солнца. Эн даже не вспоминала про Андреа. Она ни о чем не просила Джо, не оправдывалась, не объясняла. Но ей не хотелось возвращаться домой, не хотела она ехать и в Москву.

Джо остался с ней, она устроилась на лавке, положила голову на колени Джо.

— Что с ним будет? — говорила она. — Один, никого не знает. Если бы можно было, я бы с ним сбежала. Да разве отсюда убежишь. Я дала ему нью-йоркские адреса, а они отняли, записную книжку отняли.

Голос ее, обессиленный, временами переходил в неразборчивый шелест. Такой сникшей Джо никогда ее не знал. Единственного она желала — чтобы о ней забыли и чтобы она забыла обо всех. Затеряться, быть никем. Хорошо быть никем. Ночевать на вокзале. Не иметь ни вещей, ни дома.

Отчаяние довело ее до безразличия, она погружалась в него, тонула на глазах Джо, не принимая протянутой руки.

— Тебе все время надо кого-то спасать, — жестко сказал он. — Просто жить ты не умеешь. Спасала Боба от пьянства, Андреа от ЦРУ, этого художника от чего-то еще.

Это надо же — ей не дают его водить за ручку по Бродвею! Мешают найти ему мастерскую в Гринвич-Вилледж! Сукины дети эти из КГБ! Если бы Джо с Андреа сидели в Штатах в тюрьме, она бы тоже не распускала сопли. Она бы вызволила их, а вот когда Андреа по уши занят любимым делом, ей кажется, что она ему не нужна. Женщина для несчастных! Неужели ее устраивает такая жалкая роль?

Он вдруг обнаружил, что Эн спит. Лицо ее расправилось, порозовело. Лепка ее носа, губ, больших рук, подложенных под щеку, была безукоризненной. Мелкие морщины, как трещинки, тронули эту красоту, удостоверяя ее ценность. Впервые в жизни Джо так отстраненно и бескорыстно рассматривал тайну лица Эн. Во сне она удалялась от своих горестей, блаженно, по-детски посапывая. Красота не может быть несчастной хотя бы потому, что она несет радость окружающим...

Убаюканный ее дыханием, он и сам незаметно задремал.

Эн проснулась от упорного взгляда. На нее смотрел юноша, наголо обритый, с мешком в руках, видно, новобранец. Ушастый, прыщавый, он застыл перед Эн, чуть приоткрыв рот. Некоторое время она исподтишка наблюдала за ним. У него был смешной оторопелый вид, как будто он с разбега натолкнулся на чудо. Эн знала этот взгляд, особенно у молодых, — восхищенно-мечтательный. Она привыкла, нуждалась в этом, хорошо знала, на кого действует ее внешность, даже не внешность, а что-то еще, что составляло ее отличие. Взгляд этот согрел ее, она открыла глаза, улыбнулась ему, мальчик улыбнулся ей в ответ безотчетно счастливой улыбкой, ярко-белые зубы осветили его лицо; вдруг, вспыхнув, он отошел, и сразу как-то особенно стала заметна неулыбчивость людей, хмурых, измученных бытом, грубостью, уставших от ожидания, от собственной злости.

Накануне своего дня рождения Эн поехала на дачу, чтобы прибраться, закрыть все на зиму. Андреа хотел помочь ей, но она отказалась. С тех пор как она вернулась из Москвы, отношения их обрели какую-то стеклянную хрупкость, лучше не сталкиваться, не прикасаться. Очевидно, у Джо состоялся с Андреа разговор, и ее оставили в покое.

День стоял теплый, солнце то выглядывало, то уходило за серебристое пятно сквозящих облаков. Весь участок был завален палыми листьями, они

пружинили под ногами, и от земли поднимался сладкий запах осени. Закончив дела по дому, Эн спустилась к заливу; пляжем дошла до ручья, который преградил ей дорогу. Она присела на красноватый нагретый валун. Узловатый ручей, бурча, мчался в залив. Пахло тиной. В душе ее что-то мелькнуло, точно тень летящей птицы. Она огляделась и вдруг вспомнила. Вдруг он всплыл, такой же воскресный день ее детства. Утром она пошла с матерью в церковь, в их англиканскую церковь, где пела вместе со всеми и слушала священника. В той своей проповеди он говорил, что есть два способа жить. Один законный и почетный — ходить по земле, соразмеряя каждый свой шаг, предвидя и взвешивая все с честностью и справедливостью. И есть другой способ — ходить по водам. Тогда нельзя предвидеть и взвешивать, а надо только все время верить. Мгновение безверия — и начинаешь тонуть. После проповеди Эн спустилась с пригорка к ручью. Весь кусок того детского дня сохранился в памяти: как она попробовала ступить на воду — и ничего не получилось, вода не держала ее. Эн заплакала, она сидела на камне, смотрела на свое текучее отражение, в котором не было слез, мускулистые струи воды полосовали ее лицо, стремились унести с собой и не могли. И отраженное небо не могли унести. Вслед за потоком гнулись зеленые ленты осоки. Желтая пыльца неслась по воде, по ее лицу, по кружевному воротничку, словно бы жизнь текла сквозь нее. С тех пор прошло тридцать лет. Вода не изменилась и небо то же самое, а вода все так же не держит ее. Да она больше и не пыталась. Она жила законно, исполняя все положенное, шла и шла по суше. Через три дня ей исполнится тридцать восемь. Приоткрылась щель, откуда несло холодом светлого синего неба, в котором нет солнца. Сияющая пустая синева. Вот к чему она пришла.

Если б она осталась в Итаке? Если бы вернулась тогда, из Мексики? Что было бы — этого она никогда не узнает. В чем ее предназначение? Человеку не дано знать этого. Но почему Андреа знает? И Валера знает. Им предначертано. Божий перст точно указал, и дело Андреа — осуществлять, ему незачем сомневаться, искать. Они оба — и Андреа и Валера — избранные. Почему Господь делит своих детей на избранных и никаких? Разве это справедливо?

Эн все смотрела и смотрела на бегущую мимо мускулистую воду. Последовав за Андреа, она ступила на воды, и они удержали ее. Больше ей на такое не решиться. Потому что она перестала верить. Она не знает, во что верить...

Из Москвы приехали Аля и Влад. Они недавно поженились, а в Ленинграде хотели обвенчаться. Аля привезла в подарок Эн Библию на английском языке, словно угадав ее настроение. Столичные события, диссидентские дела переполняли ее, она собирала интервью для Би-би-си, записывала рассказы разных людей. Упросила и Эн наговорить свои впечатления, взгляд приезжего, который, несмотря на проведенные здесь годы, не может примириться — с чем?

Скука «хрущоб»... Постоянные поиски простых товаров — от пуговицы до чайника... Грубость продавщиц... Улицы пресные, как овсянка... Плохие товары, некрасивые, неряшливо сделанные...

Эн старалась, но Алю удивляло скрытое ее сочувствие и к этим продавщицам и к пьяницам, как будто она старалась оправдать их. Можно было подумать, что ей чем-то близка была покорность советских людей, их терпение, запуганность (и при этом открытость): они боялись иностранцев (и тянулись к ним), они были бедны (и не считали денег), были подозрительны (и открыты).

Эн рассказала, как недавно пошла купить пива для гостей в ларек на углу. Прицепились к ней там два раздолбая, полезли обниматься. Спасибо, один мужик отшил их, завязалась драка, он их хорошо успокоил и решил проводить Эн. Оказалось — летчик, симпатяга. Эн пригласила его зайти, но когда летчик узнал, что она американка, шархнул, забормотал, что торопится. Такой вот казус-нонсенс.

— Хоть он и летчик, а в нем сидит наш подлый русский страх. Откуда в тебе это сочувствие? — Аля осмотрела ее и, не найдя ответа, объявила: — Нам не жалеть надо, нас надо пороть и пороть! Всю страну заголить и пороть, пока не возмутятся. Сколько можно терпеть издевательство над собой! При Стали-

не терпели, сейчас по новому кругу пошли. Такая страна — и что? Занимаем одну шестую часть суши — и покупаем зерно. Что мы получили от того, что спасли Европу от фашизма? Шиш! Народ завалился на лежанку и пьет. Сучья наша интеллигенция вместе с начальством льстят ему и льстят!

Остановил ее тоскливый, тихий голос Эн:

— О чем мы говорим?

Аля оторопела, обиделась, но вдруг заметила, как изменилась Эн за месяцы их разлуки: впалые щеки, потухшие глаза, потемневшее лицо, — и то, что представлялось Аля таким важным, решающим, сразу упало в цене, она накинулась на Эн с расспросами. В сбивчивом рассказе Эн многое было непонятно, многое явно пропущено из самолюбия. Аля домогалась, бесцеремонные ее вопросы претили Эн, и все же она была им рада.

Превосходство Андреа раньше нравилось Эн, сейчас оно отталкивало, подчеркивало ее собственную ничтожность, а главное, ненужность. Она увидела, что не нужна, никому не нужна. Андреа окружен любовью своих учеников, начальства, ему смотрят в рот, повторяют его изречения. Ему этого достаточно, он реализует свое призвание, и ничего сладостней для него нет, и она, Эн, затерялась в толпе его поклонников.

— Ты с ним говорила?

— О чем? Смешно просить: милый, вернемся к нашим прежним чувствам.

— А у тебя они есть?

— Я могу любить только взаимно.

— Он что-нибудь заподозрил?

— В том-то и дело, что его это не занимает.

Унизительность ее положения состояла в том, что своей жизни у нее почти не было. Преподавание английского тянулось безрадостно, студенты учить язык не хотели, всячески отлынивали. Пробовала перевести на английский какой-то советский роман, перевод вышел беспомощным. Ее великолепный английский гнусавил на одной ноте, перебирая нищенский набор слов.

Поджав ноги, Аля сидела на диване, покачиваясь взад-вперед.

Низкое зимнее солнце освещало угол комнаты Эн, заставленный у окна кактусами.

— Скучаешь по Валере?

Эн замерла, помедлив, ответила четко, как на экзамене:

— Я сама уговорила его уехать.

Он сопротивлялся, она уверила его, что в Штатах он развернется, там все будет поощрять его к смелости, пора ему наконец понять, чего он стоит на мировом рынке, здесь он оправдывает себя тем, что его зажимают. Какой-то скрытый изъян был в ее самоутешениях...

— Все признаки большой любви налицо, — определила Аля. — Ты жалеешь, что уговорила.

— Я сама все разрушила.

— Его бы сослали на Колыму, и он считал бы тебя виноватой.

— Я принесла ему несчастье.

— Ты спасла его.

— Он не знает этого.

— Ты ему не сказала? Ну, дорогая шляпа, ты меня удивляешь. Мужики — тупые животные, им надо все сообщать открытым текстом. По несколько раз.

— Если б я могла узнать, что с ним там.

— Выход один — забыть его. Можешь забыть?

— Могу... Но не хочу.

— Лучше всего забывать с помощью другого мужчины. Жизнь сразу заиграет. Ты заслуживаешь, чтобы тебя боготворили. Эти оба, они слишком заняты собой. Найди себе по душе. Пока ты в форме, наш век так короток.

— Не дадут. Узнают и опять вышлют или чего-нибудь подстроят, они меня предупредили, им все известно.

Дребезжали оконные стекла от проезжей тяжелой машины. Аля заколотила кулаками по коленям.

— Да, эти нюхачи не постесняются.

Она была переполнена любовью к Эн и ненавистью ко всем ее обидчикам, она обрушилась и на художника, он не имел права убояться ни Колымы, ни ареста, лишь бы остаться здесь, где есть надежда видетъся.

— За такую цену ничего хорошего не бывает, — сказала Эн. — Не должно быть. Я рада, что он уехал.

— Не ври... — Аля взгляделась в нее. — А ты бы хотела уехать к нему?

— Это невозможно.

— А вообще ты бы хотела вернуться?

Лицо Эн сломалось, прошлое приблизилось вплотную, полыхнуло жаром.

— Хочешь, хочешь!

Аля бросилась к ней, прижала к себе, успокаивая, ничего крамольного в ее желании нет, надо рискнуть. Андреа должен обратиться к Хрущеву. Безумное только и может удалиться в этой стране. Просить Хрущева, чтобы он напрямую разрешил Эн отправиться в Штаты, она не засекречена, она имеет право повидаться с детьми, она должна требовать, надо пользоваться, пока Андреа ходит в любимчиках, все может перемениться в любой момент, и Хрущев тоже.

— С какой стати Андреа станет просить?

— Настаивай. Ты не хочешь больше с ним так жить. Откажет — значит, ты ему нужна. Может, опомнится. А может, согласится. Может, у него действительно все кончилось. Вот и проверишь.

Идея казалась несбыточной, но ничего другого не оставалось, как-то надо было порвать сеть, в какую попала Эн, где она билась, ища выхода. Аля видела, что в этом треугольнике, в котором все правы, погибает тот, чьи чувства сильнее, то есть Эн.

После обеда они отправились в Никольский собор договариваться о венчании. Пока Аля искала канцелярию, Эн отыскала в боковом притворе икону Божьей матери. Ей было легче открыться. Как на исповеди. Конечно, привычной священник, его участливые тихие вопросы. Но Эн знала, что знака не будет, ей самой решать, что делать.

А как решать, если она переполнена обидой и боится поступать по обиде, а не по любви? Ей самой не разобраться, где любовь, где жалость; неужели Джо прав — ей действительно нужны несчастные? Нет, ей нужна какая-то цель... Стоило только представить Шереметьево, отлет, как сразу больно натягивались жилы привязанности к Андреа, они еще не отмерли, там, впереди, были страх и неизвестность. Если у Валеры все наладится, она ему тоже будет не нужна.

«Пресвятая Дева, не дай мне желать ему худа, дай мне желать ему добра и счастья отдельно от меня. Дай мне силы сказать все Андреа...»

Назад они возвращались по набережным, мимо вмерзших в лед теплоходов, лесовозов, речных трамваев. Эн увидела белоснежный красавец «Александр Герцен», на котором они плыли по Ладоге до Валаама, он стоял пустынный, опухший от снега.

— Ты счастливая, — говорила Эн. — У вас с Владом общее дело. У меня с Андреа тоже было когда-то... Сейчас я нужна, как нужна машина или радио. В какие-то часы. Смешно вступать в отношения с радио. Ты знаешь, в Америке я могла бы его бросить, а тут — куда я денусь.

Это были те самые слова, которые и Андреа сказал Джо. Приехав из Москвы, Джо попросил его быть к Эн внимательней, ни о чем не спрашивать, уделять ей больше времени, на что Андреа холодно поинтересовался, откуда его взять, время, когда не хватает даже на работу. И добавил: «Ничего с ней не приключится, куда она денется». Прозвучало жестко, но ведь это относилось и к нему, им всем ведь только кажется, что они свободны, на самом деле они прикованы, им тоже некуда податься.

— Ты имеешь полное право уехать, — настаивала Аля. — Они не смеют держать тебя! Мы можем поднять кампанию!

— Но мы давали подписку.

— Подумаешь, подписка. Это противозаконно. Государство само не соблюдает законы. Оно никогда не считается с нами. Нас запугали словом «измена». Отъезд — измена родине! А что это такое? Где я клялась любить ее или служить ей? Я ей ничем не обязана. Я обязана родителям, это да. А у этой родины нет на меня никаких прав, тем более на тебя.

— Они меня спасли.

— Чтобы вы на них работали? Если бы твой Андреа был просто маляром, фиг бы с ним возились.

— Они спасли нас, — упрямо повторила Эн. — Неблагодарность — худший порок. Я в долгу перед Россией...

— Неужели вы приговорены навечно работать на нас? Ужас!

Когда Эн рассказала ей про свой разговор в КГБ, Аля спросила, знает ли Андреа об этом. Нет? Почему?

— Я не хочу, чтобы он чувствовал себя обязанным мне.

— Ну, сестрица, ты меня удивляешь. Это сюжет!

Поднаторев в делах своих инакомыслящих, Аля была уверена, что, пока Андреа под покровительством Генерального, Эн не тронут, и надо этим воспользоваться. Все хорошее в этом государстве быстро кончается. Хрущева хватит кондрашка — и все, дверь захлопнется.

Мысль об отъезде волновала Эн сама по себе, независимо от Андреа, от всей ее здешней жизни. Будут агенты ФБР, допросы, но все это она пропускала и видела лишь тот момент, когда окажется в Нью-Йорке...

Аля приставала к Андреа с расспросами — мешают ли любовь ученым занятиям и может ли после сорока мужчина обходиться без любви, такое ли уж большое место в жизни современного человека, увлеченного работой, занимает любовь. Андреа ответил откровенно:

— Бабы нужны мужику долго, а любовь — это уж как повезет. Любовь — это украшение, это радуга.

Перед отъездом в церковь кто-то неизвестный позвонил Джо и посоветовал ему и Андреа не участвовать в церемонии. Венчание прошло скромно, венчались сразу несколько пар. Аля и Влад сияли. Влад был старше ее на целых шестнадцать лет, но сейчас они выглядели одинаково молодыми, обновленными. Влад восхищался словами, которыми благословлял их священник.

— «Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей...», «Узришь сыны сынов твоих». Как сказано! — восклицал он. — «Недобро быть человеку одному на земле». А о браке как он сказал: «Тайна сия велика есть» — это не про сам брак, а про рождение новой жизни, одной плоти из двух. Как это верно насчет тайны. И биология наша только подтверждает, что жизнь — тайна и появление жизни — великая тайна!

У Влада в петлице черного костюма была маленькая ромашка. Аля тоже приколола к платью крохотный, красный, какой-то диковинный цветок. Все прошло тихо, без песен, водки, шумных гостей и тостов.

Эн расцеловала их со слезами счастья и зависти.

XXXI

Мини-ЭВМ среди специалистов произвела сенсацию. Приезжали полюбоваться Туполев, Мясищев, Келдыш, пожаловал и сам Королев — главный заказчик. Медлительно-широкий, кряжистый, он стоял перед машиной, что-то обмысливая. Сопровождавший его охранник выглядел по сравнению с ним чахлым юнцом. «Это подойдет, — сказал Королев. — Молодцы». Он явно оценил усилия, какие понадобились, чтобы превратить прежний большой шкаф в эту изящную штукювину, втиснуть ее в портативный кожух; Королев мало что понимал в компьютерах, но ему тоже приходилось биться с начинкой ракет, и он знал, что такая наглядная разница дается за счет новых принципов. «Молодцы», — повторил Королев, для Андреа этой похвалы было достаточно.

Каким-то образом в Штатах провели о новой машине, в американских журналах появилось короткое сообщение о том, что русские сумели создать ЭВМ, по основным параметрам превосходящую новое поколение американских.

Начальник по режиму забеспокоился: произошла утечка информации! Начались проверки, поиски — почему, как. Радость была попорчена. Молодежь, чтобы исправить Андреа и Джо настроение, устроила праздник: крестины новой машины. Ее тут же выдвинули на Государственную премию. Местное начальство в Ленинграде задержало выдвижение до выяснения вопроса о нарушении секретности. Несмотря на это, Москва присудила премию всем выдвинутым специалистам во главе с Андреа и Джо. В тот же день пришла поздравительная телеграмма от Хрущева. Зачитав ее на общем собрании, Андреа не удержался, сказал, что американцев тоже следовало бы поблагодарить, без их сообщения никто не поверил бы в наше превосходство, в то, что создана в мире мини-ЭВМ. Зажогин повздыхал: незачем дразнить гусей. На активе пропагандистов городской идеолог сказал в докладе, что первой фигурой делают человека идеологически чуждого, не нашего, с душком, расхваливают его научные достижения, как будто это главное.

И тем не менее это был успех. В ЦК Никита Сергеевич несколько раз на совещаниях приводил в пример Каргоса, который без всяких обещаний и обязательств обгоняет Америку. Значит, и мы можем, если правильно поставить дело.

На волне успеха Андреа попробовал взять руководство центром в свои руки. У него состоялся решительный разговор с Кулешовым. Тот настаивал на своем: все силы производству, сделали мини-ЭВМ — прекрасно, будем готовить ее к массовому выпуску. А исследователи пусть дорабатывают, пусть займутся технологией. Главная же задача — дать скорее оборонке сотни, может, тысячи таких машин. Иначе что же получается, какой толк в том, что мы обогнали американцев в одном экземпляре? В доводах Кулешова не было ничего нового, та же массивная уверенность, за которой несомненно стояло нечто большее.

— Для вас я чиновная сошка, — сказал он. — Мелочь. Ну что же, согласен. Наукой не занимаюсь. Кому-то надо пахать. Но знаете, Андрей Георгиевич, мы хоть и лаптем щи хлебаем, а спуску америкашкам не даем. Оборонка наша на уровне. И не у всех оборонщиков такие претензии, как у вас.

— Не понимаю. Если вы хотите идти вперед, то как же без науки обойтись?

— Эх вы... Думаете, раз вырвались вперед, удастся удержаться в лидерах. Вам просто повезло. При наших-то приборах, при наших материалах о том, чтобы держаться впереди, и мечтать нечего. Железо гнуть — это мы можем. Танки, автоматы, самолеты. А с вашей продукцией потруднее.

— Хорошо, сейчас вы хотите запустить в производство нашу мини-ЭВМ. А дальше что? Через год, два? Нужен научный задел.

— Моя задача не за приоритетами гнаться. Мне надо армию обеспечивать, а не амбиции ученых. Я буду делать грузовики, а не гоночные машины. И не надейтесь. Если на мое место поставят другого, он станет проводить ту же политику. Это я вам как замминистра обещаю.

— Смотря кто придет.

— Вы на себя рассчитываете? Вам не светит.

— Почему?

— Не та масть, — глядя в лицо Андреа, ответил Кулешов. И даже позволил себе как бы вздохнуть. — Еще потому, что вы ученый. Ваше дело думать, а не руководить.

Андреа рассмеялся:

— Руководителям думать, конечно, не положено.

— Не ловите меня на слове. Случись что, министру сразу втык: кому доверил? своих муذاков тебе не хватает? Мы и своим-то академикам не даем командовать, зачем же нам чужие. И чего вы так рветесь, не пойму. Премию мы вам дали, должность имеете, моим замом — пожалуйста, обеспечивайте науч-

ное сопровождение центра. Нет, обязательно верховодить! Да поймите — не обогнать вам по-настоящему эту самую Америку, и нехорошо играть на этом и морочить голову правительству.

— Не понимаю, — стоял на своем Картос. — Не понимаю я такой политики. Зачем же добровольно уступать? Бороться надо, покуда есть силы Хрущев говорил, чтобы так держать.

— Хрущев много чего наговорил. Вы что, не понимаете?

Он посмотрел на Картоса с удовольствием шахматиста, съевшего последнюю фигуру, и подлил себе из термоса кофе.

— Не желаете?

Он явно что-то недоговаривал и не скрывал этого. Андреа попробовал зацепить Кулешова:

— И чем же вы собираетесь заменить ученых и науку? Соцобязательствами?

— У нас кое-что получше есть.

— Лучше науки? Не верю. Извините, у вас первоклассная наука!

Его поучающий тон вывел из себя Кулешова.

— Вы уж меня, ради бога, не учите патриотизму У нас много чего первоклассного. У нас, например, разведка первоклассная

— При чем тут разведка? — отмахнулся Картос.

— Она обеспечивает нас.

— Чем?

— Новинками. Зачем нам ждать, пока кто-то из академиков сообразит? Скопируем — и порядок.

— Вот оно в чем дело! То есть вы программируете отставание, чтобы мы попали в полную зависимость.

— От кого? От наших ребят? — Кулешов расхохотался. — С ними проще иметь дело, чем с вами.

— Это верно, — согласился Картос.

— Как там сделают что-нибудь стоящее, они нам доставят — и порядок.

— То есть наше дело повторить?

— Пожалуйста, ведите свои разработки. Сделаете что получше — ради бога, мы разве против?

— Не обгонять Америку, а плестись следом?

Кулешов миролюбиво подмигнул.

— Не теряя ее из виду!

— Шпионы вместо разработчиков?

— Вы меня не перетолковывайте. Ленинградскую лабораторию мы вам оставляем. Творите. И здесь и в центре работ никто не сворачивает. Только стратегия будет не та, какую вы наметили.

Картос опустил голову.

— Андрей Георгиевич, что вам нужно, лично вам? Дачу в Подмосковье хотите?.. Личную машину?

Картос исподлобья смотрел на него.

— Хотите, мы вас в Академию наук выдвинем? Не помешает. Наши должности, они временные, академиком будете пожизненно.

— Зачем же я старался создать центр? — тихо, как бы про себя заговорил Картос. —хлопотал перед Хрущевым?

— Вы что же, для себя старались?

— Не для вашей же стратегии я создавал центр!

Кулешов постучал ногтем по столу.

— Андрей Георгиевич, центр создан партией и правительством, а не вами

— Значит, я ни при чем?

— У нас инициатив хватало и без вас.

— Могу ли я вашу позицию считать за позицию министерства?

— Можете.

— Я вынужден буду обратиться к Никите Сергеевичу Хрущеву

— Через голову министра?

— Мне Хрущев разрешил

— Жаловаться будешь? Значит, на Никиту ставишь?

— Я вопрос ставлю.

— Ставь. Вопрос не фуй, он простоит долго. — Кулешов тяжело поднялся, мясистое лицо его раздулось, влажно заблестело в морщинах. — Жаль, что с тобой нельзя по-хорошему. Ты и талант и работник, но во всем остальном ты дерьмо собачье. Куда ты лезешь, думаешь, мы будем мудохаться с вами? А этого не желаешь, мать вашу? — Он похлопал себя по ширинке.

— У меня своего достаточно, — вежливо отказался Картос.

— Ну и лады, определились... Только я тебе так скажу напоследок: ты, можно сказать, убил бобра, а не добыл добра, ты у меня теперь повертись, попросишь задницу мою полизать — не дам!

По воскресеньям уезжали на взморье, на озера, большим автобусом, семьями. Удили рыбу, жгли костер, собирали грибы и, разумеется, слушали Джо. На него собирались и грибники, и рыболовы, и картежники. Жанр его баек определить трудно — выдумка соседствовала с реальными происшествиями, здравые идеи с фантастическими проектами. Особым успехом пользовались описания его жизни в ЮАР, как его похитили зулусы и он оказался в селекции, где мастерили музыкальные инструменты. Там он изобрел инструмент из морских раковин и систему, поглощающую свет, так что можно было в разгар солнечного дня сделать круг тьмы, кусок ночи. Он научил нескольких обезьян рисовать углем и красками превосходные картины, абстрактные и реалистические портреты. Картины пользовались исключительным успехом, их продавали по бешеным ценам на аукционах в Претории...

У зулусов его выменяло на двух слонов богатейшее племя герера. Он быстро вошел в них в совет жрецов, так как сочинил им гимн и сделал системы биологических барометров из насекомых, которые чувствуют приближение дождя, холодов, ураганов. А через полгода сбежал от них на воздушном шаре. Кстати говоря, тогда-то он и разработал подогрев воздуха от солнечных батарей, расположенных на оболочке шара. На этом шаре добрался до бушменов, у которых возглавил национально-освободительное движение.

Никто не смеялся над сказочными похождениями Джо, все понимали, что он гонит фуфлю, но что-то там было, где-то его выдумки касались действительности, отражаясь цветной лабудой от таинственной засекреченной жизни, может, еще более романтической. Да, его истории не состыковались, об этом он и не заботился, и никто его в этом не уличал. Стоило ли задерживаться на таких мелочах, если их ждали блестящие соображения Джо о механизме памяти. В этой вековой сложнейшей проблеме его догадки выглядели то сумасшедшими, то озаряющими, они будоражили воображение. Машинная память, человеческая память, память биологических систем. «Память и есть личность», — утверждал Джо. «Я» складывается из памяти прожитых лет. Когда он разбирал «я» по винтикам, то ничего не находил там, кроме памяти. Память имели и стрекоза, и корова, и микроб. Все события, самые мимолетные, записывает память. Все виденное, слышанное оставляет в ней хоть какой-то знак. Задача состоит в том, как восстановить слабые следы, как извлекать прошлое из темных вод забвения. У него имелись идеи по стимуляции памяти. Методика оживления, ликвидация забывания. Он выяснил разные причины забывания, отчего они наступают. Некоторые дела люди стараются забыть. Память стирает ненужное, неприятное. Капризы памяти загадочны. Забвение — то ли здоровье памяти, то ли ее болезнь. Люди слишком легко забывают уроки прошлого, свои клятвы и обещания. Забывают, как они были детьми, как влюблялись, сумасбродничали. Как плохо относились к своим родителям. Память определяет нравственный уровень человека, да и всего общества. Войну забывают, голодуху, очереди...

Джо предложил так называемые программные стимуляторы памяти. Требуется припомнить, допустим, фильм «Новые времена» Чаплина, сунул голову в стимулятор, щелк-щелк — и все освежилось, будто только что из кинотеатра вышел, даже вспомнил соседа, с которым сидел, как от него луком пахло.

Можно забраться поглубже, в нежное детство, вызвать дорогие образы бабушек, теток, первый класс в школе.

Складывалось впечатление, что там, в Иоганнесбурге, Джо и впрямь сумел создать подобные стимуляторы, потом что-то с ними случилось. Как и с ним. Его не решались спрашивать.

Иногда ему и самому казалось, что он сделал такие стимуляторы. Он видел их явственно, знал, как они действуют. Он ставил программный искатель на ту музыкальную свою весну в Париже, появлялась Тереза, ее силуэт, вырезанный из черной бумаги стариком на Монмартре, появилась его морщинистая физиономия, цветной зонтик над ним. Если бы не ЭВМ, Джо всерьез занялся бы памятью. У него получилось бы. После успеха с мини-ЭВМ и калькуляторами он уверился в своих силах. В нем прибавилось категоричности. Теперь он знакомился с женщинами без всяких оговорок и пояснений, просто говорил: «Я бы хотел с вами познакомиться, вы кажетесь мне интересной, может быть, я ошибаюсь, но вряд ли...» Что-нибудь в этом духе, нагло и почти-тельно. Отказы его не смущали. Отказов было немного, больше разочарований. Залысина его быстро росла, на висках появилась седина, но он сохранил безостановочную подвижность, его тощая фигура, как ось волчка, вовлекала людей в свой водоворот.

Несмотря на неприятности, которые чинил им Кулешов, настроение у Джо было отличное. Новые идеи расцветали в нем, он утешал Андреа — все пройдет, придет и это. Жизнь состояла из смены радостей: музыка, женщины, книги, поездки на машине к озерам, на взморье в Прибалтику, белые ночи. Филармония, новые пластинки, купанье, горячий песок пляжа... Работа занимала лишь малую часть играющего всеми красками, запахами, звуками мира, которым надо успеть насладиться.

Отношения Картоса с Кулешовым перешли в открытую войну. Кулешов вытеснял Андреа со всех позиций: отнял у него право самостоятельно брать на работу научных сотрудников, формировать научный совет, заказы на оборудование разрешил делать только через другого своего заместителя. Картос остался без власти, его научное руководство сводилось к выписке литературы и журналов.

Он мотался в Москву, разрывался между центром и лабораторией. В центре его людям становилось трудно заниматься своими темами, их лишали средств.

Лето пришло жаркое. Зной перемежался грозами с короткими бессильными дождями, затем опять наступала жара. В Москве было душно, пыльно. Картос возвращался в Ленинград, но и здесь нечем было дышать. Ночи в спальнях вагонов «красной стрелы» изматывали его. Каждые два-три часа он выходил в коридор отдышаться. Болело сердце. Он видел, что проигрывает борьбу за центр, надо было обратиться к Хрущеву, но он медлил. «Чего ты ждешь? — не понимал Джо. — Теперь у тебя есть все основания, тебя превращают в вывеску: красивое имя и никаких прав».

Однажды ночью в коридоре «красной стрелы» Андреа встретил генерала Колоскова. Генерал тоже страдал от жары и бессонницы. Краем уха генерал слышал о «некоторых разногласиях» в центре. Кулешова он не любил. Кулешов старался всучить военным приборы, плохо доведенные, лишь бы приняли. Картос признался, что хочет обратиться к Хрущеву. Генерал одобрил — если есть такая возможность... Докурив, он вдруг добавил:

— Только не тяните.

Тон, каким это было произнесено, подействовал на Андреа.

Он позвонил по телефону, который ему дал Хрушев. Ему сказали, что Никита Сергеевич отдыхает на юге. Можно ли ему написать письмо? Конечно, пишите на Москву, мы сразу же перешлем. С Андреа говорили приветливо, ясно было, что про особое отношение Хрущева к нему известно, и Андреа, отбросив сомнения, решился. В письме даже легче было найти слова и сформулировать суть. А суть была не только в Кулешове, за Кулешовым стоял Сте-

пин. Для очистки совести Андреа позвонил Степину, попросил о приеме. Помощник холодно сообщил, что в ближайшее время министр принять не сможет, и переадресовал его к Кулешову

Письмо получилось длинным, четыре убористых страницы, потом уж они с Джо ужали до двух. Зажогин отредактировал некоторые выражения, чтобы звучали по-русски, хотя была какая-то прелесть в иностранном акценте и корявых конструкциях, в которых было «больше, чем слышит ухо».

Письмо перепечатали. Зажогин вызвался доставить его в ЦК.

Ночью к Андреа явился Джо, он просил не отправлять письмо.

Стояли в передней, Андреа заспанный, в желтой полосатой пижаме, Джо в мокром плаще. Сослался на предчувствие, точнее не мог объяснить, что-то видел во сне, что-то плохое, которое надвигается.

— Не отошлем — и что дальше? — допытывался Андреа. — Смириться, миром поладить, как советовал Алеша Прохоров?

Накануне Андреа показал ему письмо. Читая письмо, Алеша вздыхал. Обвинения, предъявленные министерству, выглядели серьезно, но тон письма был вполне корректен. Автор не требовал отстранения, расправы, но давал понять: найти общий язык с министром не удастся. Алеша, неловко покряхтев, напомнил, что министр первый поддержал идею центра, организовал приезд Хрущева и последующее решение о строительстве. Говорил он вяло, косноязычно, вообще производил впечатление сонного, мечтательного лежебоки. Запинаясь, процитировал по-английски Шекспира: дурное, дескать, вырезается на меди, а хорошее пишется на воде, — признался, что боится, как бы война с министром не поглотила Картоса: за малое судиться — большое потерять. Ну пусть поотстанем от американцев, не ради них стараемся.

Вот и Джо тоскливо нудил: не отправляй письмо. Он не слушал Андреа, не видел его, он видел перед собой что-то другое, и это другое вселяло в него страх.

Андреа долго ворочался в постели. Одно дело не верить во всякую мистику, другое — бросать им вызов, всем этим пифиям...

XXXII

Людей, подобных Зажогину, часто недооценивают. Типичный заместитель, избегающий самостоятельных решений, осторожный, в отношениях с инстанциями он умел быть незаменимым, и многие его считали бесцветной личностью. Крестьянский сын, Зажогин презирал этих городских колупаев, болгарей, сиднюков, не знающих, что такое настоящая работа. Картос был первым «умником», которого он признал. Картос был хозяин, а главное, работник. Таким в детской памяти Зажогина был дед, работавший с рассвета до темна — то с топором в руке, то с лопатой, то с вилами, то с рубанком. Сам Зажогин привык работать вполсилы, в большем и нужды не было. Нехитрая мудрость чиновничьей жизни требовала не высовываться, помалкивать, не умничать, главное — четко отрапортовать. К этому и приноровился, сообразив, что так, с прохладцей, удобнее, а почету столько же. Картос же, по словам Зажогина, довел его до дела, до такого, что требовало ума. «Конечно, — говорил он, — я уже человек траченный, ржа меня поела, но кое-чем я ему пригожусь». Действительно, вел он себя как заботливый дядька.

Впоследствии Зажогин восстановил случившееся в эти дни почти по часам. Он передал пакет в ЦК в руки помощника Хрущева во вторник, в одиннадцать тридцать. Помощник обещал завтра же переслать с почтой своему шефу. Разговор был доброжелательный, никаких сомнений у Зажогина не вызвал. Письмо опоздало. Утром в среду почта была задержана. За Хрущевым приехали на дачу, усадили в самолет, привезли в Москву на срочное заседание Политбюро. В самолете Хрущев, сообразив что к чему, потребовал у летчика повернуть на Киев, но тот отказался. Передавали, что Хрущев кричал на него: «Ты знаешь, кто я? Исполни!»

Известие о снятии Хрущева разразилось над лабораторией, над центром как гром среди ясного неба, налетело смерчем, все перевернуло. Казалось бы, перемена произошла где-то там, в верхах, в поднебесной высоте, при чем тут питерская лаборатория, но то, что случилось на Пленуме ЦК, а затем спустилось на местные трибуны, вторгалось и в их существование.

Картос слушал доклад секретаря обкома в Таврическом дворце: «Хрущев ведет линию на подрыв руководящей роли партии!.. Ведь до чего дошел: партия на втором месте, а специалисты впереди...» Зал сверху донизу отозвался согласным возмущением. Парторг какого-то завода кричал с трибуны: «Поэт говорил в военные годы: «Коммунисты, вперед!» — а Хрущев перелицевал этот лозунг на «специалисты, вперед!». Но нам эта перелицованная одежда не подходит!»

В перерыве просторное фойе растревоженно шумело, лица азартно горели, все больше ликующе. Полузнакомый районный деятель подошел к Андреа, дожевывая бутерброд: «Ну как ваш огород, Андрей Георгиевич, полно камней? Видите, партия навела порядок, партия ни с кем не будет считаться! — Он вытер рот и покровительственно похлопал Картоса по плечу. — Волонтарист!» — и захохотал.

Как потом стало известно, в кабинете Хрущева были изъяты все бумаги, в сейфе среди прочих документов комиссия обнаружила и письмо Картоса на имя Генерального секретаря. Его передали министру Степину «для сведения».

Министр вызвал Андреа. Разговор был короткий.

— Вы выступили против меня. Вы что же, хотели меня подсадить? Я этого не прошаяю, Андрей Георгиевич. Кто не умеет быть благодарным, тому не стоит помогать, так что на мою защиту больше не надейтесь... — Степин сожалеючи покачал головой. — Ведь предупреждали вас. Эх вы, поставили на Хрущева, нельзя ставить на личность, — он усмехнулся, — надо ставить на две личности.

На том разговор закончился. Дальнейшие события следовали одно за другим словно по графику. В так называемом шахматном зале Смольного, где столики расставлены в шахматном порядке, состоялось обсуждение работы лаборатории. Вел заседание секретарь горкома, присутствовали работники аппарата горкома, райкома. Набилось довольно много желающих послушать, как будут разделявать хрущевского любимца. Зажогин умолял шефа: только не спорьте, не защищайтесь — валите все на Хрущева и на непонимание обстановки. Зажогин чувствовал себя виноватым. За то, что тянули с письмом, за то, что отвез его, за то, что не заставлял Картоса ездить сюда, в Смольный, и сам не наладил отношения с секретарями, особенно после визита Хрущева, возомнил, думал, теперь кум королю.

На заседании припомнили Картосу все — и кадровую политику, и противопоставление себя партийным органам, и заносчивость, и политическую незрелость, и восхваление капиталистических порядков, и потерю бдительности. Секретарь райкома сказал, что не случайно Хрущев прислал именно к Картосу, именно его выделил, это наиболее вызывающий пример противопоставления специалиста партийным кадрам. Хрущев продемонстрировал пренебрежение партийным руководителям города. И жаль, что товарищ Картос и его окружение попались на эту удочку.

Тут Андреа не выдержал. Все же странно, сказал он: ругать Хрущева, критиковать его следовало, когда он был при должности, — зачем же ругать вслед? у нас это не принято.

— А как у вас принято? — с ехидством спросил выступающий.

— Ругать самих себя принято, — сказал Картос. — Поскольку мы выбрали.

Кое-кто не выдержал, заулыбался. Председатель постучал по столу.

— Ваши попытки защищать Хрущева показывают, что вы не понимаете решения Пленума.

Второй раз Андреа сорвался, когда его стали учить политэкономии и марксизму.

— В отличие от вас я изучал Маркса по своей воле, в нелегальных кружках, — сказал он.

Загогин дернул его за пиджак. Картос сел и вернулся к наблюдению за игрой пылинки в солнечном луче. Это позволило отключиться. Смысл происходящего, слова в его адрес становились фоном, на котором пылинки перемещались почему-то вверх-вниз, горизонтального движения и косо почти не было.

Обсуждение кончилось. Луч погас. Андрею Георгиевичу Картосу было указано на неправильное поведение и предложено то-то и то-то. Партбюро должно в кратчайшие сроки то-то... Никто не понимал, почему он так дешево отделался.

Свояк Загогина служил в Смольном, при одном из начальников. Свояк не любил начальника за напыщенность и придирки, звал его пупырь, жаловался, что пупырь алкаш. Приехал свояк вечером, привез финскую наливку у Загогина была поллитра да еще два «малыша», так что поддали прилично тут-то свояк и сообщил Загогину, что известно о его звонках в Москву и то как он просил у Королева и военных моряков заступы своему шефу. На Загогина рассердились, потому что спутал все карты. Загогин, желая пострадать, признался, что это он отвез письмо Хрущеву. Свояк развеселился:

— Эх ты, сельхозпродукция!

И он рассказал про то, как готовили снятие Никиты. Его, пупыря, включили в делегацию куда-то за рубеж. В самолете глава делегации Брежнев пригласил к себе, усадил рядом, повел разговор про генсека: есть, мол, мнение, что политика Никиты ведет к ослаблению роли партии. Пупырь поддержал, поскольку и сам ощущал, что ущемляют. А Брежнев опять намекает: надо, мол, меры принимать, освобождать Хрущева. Пупырь догадался, что вот выпал и ему счастливый случай, и разговор пошел уже в открытую и по делу.

Загогин плевался, печалился, свояк утешал его:

— Ты пойми, шлепа ты лапотная: пал Хрущ — и все его фавориты должны пасть. Таковы законы придворной жизни. Чтобы спастись, надо поносить его.

— А я не согласен. Никита — наш царь-освободитель, твои пупыри Александра Второго убили!

Его с трудом утихомирили.

История взлета лаборатории привлекает своей необычностью. Последующие гонения на нее удручают. Подлоги, клевета, приемы удушения скучны своей неразборчивостью. Исполнители не отличались выдумкой, они мстительно изводили лабораторию во имя торжества заурядности, другой цели у них не было. Машина была запущена и с хрустом совершала положенные операции.

Коллегию министерства провел заместитель министра Хомяков, молодой, вёрткий, он прерывал каждого выступающего длинными своими репликами, пока кто-то из директоров не заметил вслух: «Как Хрущев, тот тоже встревал»

Из доклада Хомякова следовало, что государство вложило большие деньги в лабораторию, удовлетворило все запросы, а результатов нет. За столько лет ничего существенного. Потенциометры — отходы, мини-ЭВМ — всего лишь пробный экземпляр, серийного производства нет. Руководство пытается скрыть свою несостоятельность с помощью демагогических заявлений. И пошло, покатилося. Кое-кто из конкурентов с удовольствием подливал масла в огонь, другие считали, что выволочка полезна для острастки, чтобы не зазнавались. Все ходят с выговорами, пусть и этому любимчику вкатят. Были, правда, и такие, что напоминали о научных достижениях, все же создано поколение управляющих машин, каких не было в мире. Хомяков на этих правдолюбцев не обращал внимания. «Как видите, Андрей Георгиевич, коллегия считает, что никому не годны технологические проработки, не доведено до серии». Постановили: выговор руководителю и предложение — взять курс на внедрение изделий в крупное промышленное производство.

Сразу же после коллегии Хомяков отправился в Ленинград — довести решение до сведения коллектива лаборатории. Коллектив, все полторы тысячи, не сделал ничего стоящего, саботирует указания министерства, зазнался, испорчен волонтаризмом. Когда он произнес «запоминающееся устройство», зал принял это как оговорку, но он повторил, и стало ясно, что он ничего не понимает в компьютерах. Почему-то это исправило настроение. Люди зашептались, захихикали. А когда он произнес вместо «мнемотехника» «мнимотехника», зал развеселился.

Картоса развенчивали перед сотрудниками, обвиняли в показухе, называли демагогом. Внешне он сохранял привычную невозмутимость, черные кудрявые волосы его лежали как литые, даже какое-то подобие живости сохранялось в глазах.

— Ничего себе прислали нам грамотея, — сказал ему Виктор Мошков.

— Большому кораблю и карты в руки, — ответил Андреа, создав еще одну из своих знаменитых пословиц.

Никакого обсуждения Хомяков не разрешил. Коллектив должен был принять его мнение к сведению. В обкоме пришли к заключению, что коллектив лаборатории, типичное порождение хрущевской эпохи, заражен технократизмом, лучший способ оздоровить коллектив — это влить его в большое производственное объединение, поварить в рабочем котле, лишит самостоятельности. Так и было сделано. Их передали производственному объединению, под командование главного инженера Бухова. Туполев, Келдыш, Королев написали письмо с протестом. Письмо пошло в ЦК и к Степину. В ответ Степин отзвонил каждому из них, объяснил, что решение вынужденное, настаивали местные партийные руководители, реорганизация временная, чтобы сохранить и Картоса и Брука, им надо переждать непогоду под чьей-то крышей.

Отсюда, из будущего, рассматривая судьбы этих людей, читая материалы о них, воспоминания, слушая разные толкования их поступков, зачастую противоречивые, видно, что они творили историю, не подозревая об этом. Ибо то, что они делали, составляло историю цивилизации. «Люди делают историю, не зная истории, которую они делают». На всякий случай я поставил эту фразу в кавычки, наверняка кто-то уже произнес ее, слишком уж она очевидна.

Сами они, эти люди, уцелевшие, ныне, после смены декорации, тоже с удивлением разглядывают себя на сцене истории. Досмотрев пьесу до конца, они понимают, что, конечно, действовали неумно. Они ругают себя, досадуют на упущенное. Я успокаиваю их, уверяю, что в истории нельзя морализировать. Не надо спрашивать: осень — хорошо это или плохо? Так же нелеп вопрос: смена власти — хорошо или плохо? Так было. И мы не знаем, что было бы, если бы этого не было. Истории нельзя выносить приговор, ее приходится принимать как она есть. История зависит от современности. Великое становится эпизодом, эпизод становится великим событием.

В 1990 году, в семьдесят третью годовщину Октябрьской революции, на Дворцовой площади в Петербурге несли плакат: «7 ноября — день национальной трагедии». За три года до этого, когда праздновали семидесятилетие Октября, на транспарантах было написано: «Слава Великому Октябрю!» — а в 1980 году над колоннами демонстрантов плыло уверенное: «Дело Октября будет жить вечно!»

Для римского историка Иосифа Флавия казнь Иисуса Христа была мало-значашим событием, едва достойным упоминания.

Смерть Сталина казалась непоправимым несчастьем. Сотни миллионов людей во всем мире скорбели и плакали. Спустя сорок лет историки представляют ее как избавление страны от тирана и нового произвола.

Век электричества, век атома, век компьютера — что ж, у каждого века были свои творцы и герои.

Картос был одним из творцов нового века. Но он не любил историю. Он не признавал ее как науку. Наука должна иметь законы. У истории нет ни законов, ни правил, ни выводов, она ничему не учит. Оглядываясь на прошлое, он видел лишь кровь и трупы, насилие и зло, нагромождение глупостей и

ошибок. Его сместило, что весь мир, все города уставлены памятниками полководцам, как будто они что-то создали, чем-то помогли людям. Каждый историк изготавлял свою историю, использовал ее, как уличную девку, для своих целей. Попробовал бы кто-нибудь так обращаться с математикой или физикой. Он отвергал историю за то, что она не допускала эксперимента. С ней нельзя было поставить никакого опыта и узнать, что было бы, если бы...

Нет, Андреа не любил историю, вполне возможно, что происходило это от нарастающего чувства беспомощности. События швыряли его то вверх, то вниз словно щепку, ничего нельзя было предугадать. Падение Хрущева, письмо к нему, внезапная опала показывали, что в этой стране все непредсказуемо. Казалось бы, плановое хозяйство, социалистическая система, все скрупулезно рассчитано на пять лет вперед — и вдруг бац, и все летит вверх тормашками. Группка людей меняет руководителя, захватывает власть, и на завтра политики доказывают, что действовали не заговорщики, а необходимость исторического процесса.

Профессор Быховский, который приезжал к Андреа консультироваться — он писал теперь статью во славу кибернетики, — убеждал в неизбежности ухода Хрущева. Андреа учтиво напоминал профессору про его статью о Хрущеве за месяц до отставки. Профессор не смог предугадать хода событий. История играла с ними в кости, случайность была единственным правилом игры.

Если бы летчик испугался Хрущева и посадил самолет в Киеве, Хрущев удержал бы власть и не было бы никакого «волюнтаризма» и «нового курса».

Расправа с лабораторией встревожила и военных и ученых. Запротестовали ракетостроители, наиболее влиятельные в то время. Каргоса и Брука вызвали в ЦК, попросили успокоить общественность. Обещали создать все условия в лаборатории и что центр тоже будет выполнять их заказы. «Политическое положение как никогда раньше требует сплоченности, надо показать, что уход Хрущева не поколебал единства наших рядов... Враги надеются, что у нас начнутся распри... Вам не надо объяснять ответственности этого момента и ваших действий...» Они отвечали растроганно: да, да, мы понимаем, понимаем. В них говорило воодушевление солдат, польщенных доверием; они мысленно лихо щелкнули каблуками: есть сплотиться!

По улице шли молча, жадно глотая свежий сырой воздух. Первым заговорил Андреа, сконфуженно признался, что не понимает, с кем им надо сплотиться — с министерской шушерой, которая подпевает министру, с главным инженером Буховым, выпивохой, невеждой... И вообще.

— Что вообще? — поинтересовался Джо. — У партии могут быть высшие соображения, неизвестные нам.

— Только пути Господа неисповедимы. Партия не Господь Бог.

— Они действуют среди вражеского окружения.

Андреа зло поправил:

— Они сами создают себе вражеское окружение. Почему мы так ведем себя?

— Как ведем?

— Жалко! Ничтожно! Как бараны! Блеем послушно, повторяем их глупости. Нас превращают в людей второго сорта — мы радостно согласны. С какой стати? Мы такие же коммунисты, как и они. Чем я хуже Кулешова? Я не иностранец, я советский человек!

Это была не вспышка гнева — из глубины его души прорвался накопленный жар протеста, желчи. Он издевался над собой, над ними обоими, трусливыми подпевалами, — не смеют спросить, зачем убрали Хрущева, боятся поспорить, отстоять себя. Во что превратился он, Андреа, который никогда ни перед кем не гнулся?

— Давай-давай, — подначивал Джо, — займись борьбой вместо работы вроде Влада — много ли ты успеешь.

Он тоже мог размахивать кулаками и качать права: ему не дают проявить себя, любую инициативу зажимают, выгодные дела, предложения отвергают, не дают ходу. Ему тоже неприятно слышать от Бухова, что компьютеры — это

ваши еврейские штучки, не для русского человека, что роботы — евреи, у них еврейское мышление. И Джо Брук терпит. У него нет альтернативы. Он приехал сюда строить социализм, и если нет других, он будет строить его вместе с идиотами и подонками.

— Социализм, построенный подонками? Это нечто новое в строительстве.

— Тебя избаловали аплодисменты, — сказал Джо. — Ты думал, что так будет все время. Нет, милый мой, привыкай к неуспеху.

— Смириться? То есть потерять себя?

— Наоборот — сохранить. Влад не смирился, ушел из науки — и что?

— Влад счел, что борьба важнее. Я уважаю его выбор.

Но Джо понесло:

— Если бы ты не бился за директорство, мы бы постепенно ужились с Кулешовым, он все же лучше Бухова.

У Картоса воинственно поднялись усы, надменно откинулась голова — малый рост, да разве бывает малорослым король? Основатель современной микроэлектроники, великий и несравненный предводитель нового направления, новой эпохи! С какой стати он должен с кем-то уживаться? Разве он не доказал свое право на руководство? Его признал сам Хрущев, какого же черта, он будет или хозяином, или никем...

Никем — это должно было что-то означать; что именно, Джо не знал. Разговор оборвался, и вдруг Джо тихо спросил:

— Ты скукаешь?

Андреа выматогался впервые в жизни, старательно, с наслаждением выговаривал он эти русские слова.

— А я скучаю, — еле слышно пробормотал Джо.

XXXIII

К тому первому разговору Эн тщательно подготовилась, отрепетировала свои доводы, возражения, однако все пошло совершенно непредвиденно — Андреа не закричал, не возмутился, ходил по комнате, недовольно бормоча: вполне возможно, что Хрущев в связи с письмом вызовет его в Москву, тогда он и поговорит о разрешении на отъезд, конечно, две просьбы — плохо, но, может, и хорошо, хоть одну да выполнит. Выходило, что решение Эн уехать не вызвало у Андреа ни вопросов, ни возражений, его удручала лишь процедура — то, как этого добьются. Впрочем, буркнул, что и сам бы уехал, если бы мог.

Судя по некоторым замечаниям Картоса, он тогда уже понимал, что положение осложнилось и переломить отношение к центру даже Хрущеву будет нелегко, противодействие аппаратчины возрастает. Помощь Хрущева могла лишь временно остановить кулешовых. Что же касается частной просьбы, тут шансов больше, тут Хрущев может пойти на широкий жест, отворить калитку, позволить Эн вернуться к детям. Допустим, под видом разрешения навестить... Словно обсуждая условия эксперимента, Андреа позволил себе представить ход событий: рейс Москва — Нью-Йорк, пересадка в Амстердаме. Она посмотрит там то, что Винтер им не позволил. Вероятность получить разрешение, по его предположениям, фифти-фифти.

Эн потом призналась Але, что деловой тон мужа снял тяжесть с ее души, все стало простым и легким. Но она вдруг увидела и то, чего не замечала: лиловые набухшие вены на висках Андреа, лицо, изношенное работой, на котором бравые усики выглядели почти пошло.

Вдруг она уверилась, что уедет, что он все устроит.

— Ты плохо выглядишь, — сказала она. — Тебе надо в санаторий.

Ей хотелось погладить его по голове, кто бы мог подумать, что его литуую черную шевелюру нарушат серебристые проблески. Она с жалостью рассматривала бывшее вместилище своей любви. Вспомнилось, как сидела на полу в коридорчике перед закрытыми дверями его кабинета, подслушивала: он пел для себя под гитару, от этого одинокого пения у нее катились слезы, отчаянно-счастливые, сладкие слезы.

Был музыкальный вечер дома у Джо. После музыки «Битлз», обожаемых Андреа, его осторожно принялись уговаривать заняться новой машиной. Ему льстили — только он и вытянет. Андреа размяк, обещал подумать. Ради этих ребят он на многое мог пойти, правда тут же заворчал:

— Поразительно, как легко вы принимаете унижительные условия. У вас на все готово оправдание — во имя дела. Ваши родители так же покорно сидели и ждали ареста.

— А что они могли сделать? — спросил Марк.

— Бежать. Хотя бы бежать.

— Куда?

— Куда угодно.

— Легко сказать.

— Я знаю, что говорю.

Марка затолкали, задержали, чтобы не спорил.

— Рабская психология, — настаивал Андреа. — Интересы дела выше интересов личности — это мораль рабов.

— Что же, по-вашему, интересы личности выше?

— Конечно, — не задумываясь ответил Андреа. — Выше интересов личности ничего не должно быть.

Его утверждения отпугивали, они не вязались с детства усвоенными понятиями, что жизнь их принадлежит Родине, партии.

— Если таковы ваши убеждения, ради бога, жертвуйте собою. Но требовать этого от каждого нельзя. Вы ничем не обязаны ни правительству, ни народу. Вы свободные люди, поймите это.

Вокруг него ходили на цыпочках, льстили, принося свежие известия о триумфальном шествии их машины «10-01», «Шехерезады», как называли ее. Ракетчики, атомщики, подводники, авиаторы хвалили ее, требовали.

Отношения с главным инженером объединения не складывались. Характер у Бухова был вздорный. Хорошо хоть генеральный директор сдерживал его. Директор говорил Картосу: «Ваша заступница и покровительница — «Шехерезада». Из-за нее на совещаниях у самого Устинова возникают ваши имена».

Однажды Бухов пригласил Картоса на охоту — «ради налаживания отношений». Андреа согласился. Никого не убили, зато в охотничьем домике их ждало роскошное застолье. Бухов принял еще в лесу. Количество водки, которое он мог выпить, ужасало Андреа. Он обнимал Андреа и умилялся: откуда вы прилетели к нам? как попугайчики в тайге.

Перейдя за литр, Бухов поклялся застрелить свою жену за то, что изменяет ему с грузинами и евреями. Допытывался у Андреа, на чью разведку он работает, правда ли, что Берия спас его. Ну если не Берия, то Сталин-то спас, и провозгласил тост за великого Сталина, потребовал, чтобы Картос выпил за своего спасителя. Между прочим, если Сталин приблизил к себе Берию, значит, так надо было, Берия держал всех в страхе — и был полный порядок.

— Я понимаю, у тебя конспирация. А вот я всем говорю: я сталинист. Ленин много болтал, Сталин сделал нашу державу великой.

Когда генеральный директор заболел и вышел на пенсию, вместо него назначили Бухова, хотя министр был против. Местное партийное начальство поручилось за Бухова как за твердого руководителя, на парткоме Бухов пообещал показать всем, что такое настоящий директор. «Обеспечивая тылы», назначил своим замом сына секретаря обкома. Кроме тылов, нужен был, однако, и быстрый успех или хотя бы какое-нибудь звонкое многообещающее начинание. Неизвестно, кто ему посоветовал, но Бухов решил создать новый компьютер на основе американского образца. Вызвал Картоса и предложил возглавить работу. Андреа отказался: дескать, копировать — значит тормозить живую мысль коллектива, который лидирует в этой области. Бухов же доказывал: «американка» верняк, с ней не ошибешься, есть готовенький образец, полюбуйся, добыли в США кое-что из технологий, обещают еще. Упрасивал, сулил золотые горы, такая мощная лаборатория может вести работы параллельно.

Но почему Бухов не верит в своих людей, а верит в американцев? Да потому что наши в толчке хороши, америкашки — это гарантия! Так ничего и не

добившись Бухов обиделся: не хочешь — как хочешь, за нами не пропадет. Он насобирав по отделам большую группу, переманил из лаборатории трех специалистов, отобрал первый этаж, дал повышенные оклады, и работа закипела.

А в лаборатории все шло как обычно, Картос никого не подгонял, не обращая внимания на конкурентов. Алеша Прохоров и Виктор Мошков нервничали: если американскую машину сделают раньше, то лаборатории несдобровать, станут доказывать, что выгоднее перейти на копирование зарубежных моделей. Мошков предлагал объявить аврал, работать по десять, двенадцать часов. Мол, надо мобилизоваться, иначе не победить. Картос смотрел на них с отрешенностью сфинкса.

— Победить? В чем?

— Не понял, — сказал Мошков.

Я тоже, — сказал Картос.

В соревновании — неуверенно предположил Мошков.

— Соревнование в чем?

Картос спрашивал их так, как будто они вновь стали юнцами, поступавшими к нему на работу. За десять лет дистанция почти не сократилась. Все так же он опережал их, это восхищало Алешу и выводило из себя Мошкова.

— Над нами, Андрей Георгиевич, навис не дамоклов меч, а топор, обыкновенный русский топор, неужели вы не видите?

Мошков был убежден: шеф не понимает обстановки, не хочет считаться с тем, что отношение к лаборатории изменилось и Картос уже не баловень судьбы. Однажды он объявил Алеше:

— Гений и руководитель — две вещи несовместные.

— Что ты хочешь этим сказать? Андрей Георгиевич и как руководитель гениален, — удивился Прохоров.

— В тепличных условиях, — настаивал Мошков.

— Что значит работать по десять часов? — не слушая его, рассуждал Алеша. — Разве можно думать быстрее?

— С гениями никогда прав не будешь, — хмурился Мошков. — Даже если гений обделается, он не будет засранцем, как мы с тобой. Это будет «ошибка гения».

А между тем новая модель не давалась. Теоретически она выстроилась, а практически не получалась. Архитектура, если так можно выразиться, не складывалась. Картос бродил как в тумане, на что-то отвечал, что-то подписывал, не вникая в суть дела. На дачу не ездил, природа мешала ему, ибо требовала внимания. По воскресеньям с самого утра он бродил по городу. Среди обезличенной сутолоки прохожих, машин трамваев хорошо думалось. Решения приходили и отвергались. Вечером звонил Джо, отчитывался: шесть находок, все блестящие и все негодные. Отдельные узлы торчали сами по себе, не желая соединяться в общую композицию.

Бухов вызвал, интересовался, торжествовал:

— Вот видишь, не идет, поди, застрянешь еще на год. А мои орлы строят без проблем.

К осени отдел Прохорова выдал отличный карманный калькулятор. Бухову шепнули, что в калькуляторе — американская схема. Он поверил этому охотно и на возражения Прохорова подмигивал — не лепи горбатого, в наших условиях такую штуку не сделать. Хвастал калькулятором в министерстве, показывал военным как доказательство правоты своей политики: «Надо использовать западную технику, нечего стесняться». Первое время он еще ссылался на Кулешова, теперь же выдавал установку на копирование за собственную тактическую линию.

Ведущие инженеры лаборатории обратились с коллективным протестом в министерство, из Москвы приехала комиссия и довольно легко установила отечественное происхождение калькулятора. Бухов принял заключение комиссии с восторгом, произнес речь — «знай наших!», пора, мол, поддержать отечественные достижения, распространить их, показать всем, то есть выпустить массовую партию калькуляторов.

Буховская «американка» застряла, харьковские и московские машины тоже не получались, к пятидесятилетию советской власти министерство не смогло похвастать новыми достижениями, а тут еще приближалось столетие Ленина и требовалось во что бы то ни стало, любой ценой выложить подарок. Десять тысяч калькуляторов, нет — пять тысяч! Шла торговля, ставились условия, в конце концов Картоса уломали. Его прельстила надежда на НИИ. Больше ничем нельзя объяснить его решение принять такой огромный заказ.

Ни оборудование, ни помещение — ничто не было готово. Андреа успокаивал всех, ссылаясь на обещания министерства, но при всем старании больше чем сто штук за месяц выпустить не смогли. Картос обратился к заводу за помощью, завод отказался: наладьте выпуск у себя, отработайте технологию, тогда посмотрим.

Зажогины эта история показалась подозрительной. На Картоса его аргументы не действовали: советским людям всюду мерещатся заговоры. Мошков внушал: в советских условиях доверчивость — самое опасное качество. Андреа действительно при всем его умении рассчитывать далеко вперед легко мог клюнуть на пылкие заверения какого-нибудь чиновника, верил честному слову, бумажке, считая, что это незыблемо.

А тут еще у Джо стало что-то получаться с давней его затеей — персональным компьютером. Он был счастлив и целиком зарылся в это дело, шутка ли, на свет появилось прелестное создание, которому предстояло большое будущее. Таких малюток скоро будут сотни тысяч, а может, и миллионы! Из всех отделов приходили полюбоваться на его «малыша».

Когда Устинов спросил у Картоса, какое применение в военном деле может иметь персональный компьютер, тот лишь пожал плечами — при чем тут военное дело? Важны возможности, которые получает человек, эта миниатюрная машина способна вместить целую библиотеку, играть в шахматы, в покер... Этим он хотел подчеркнуть ее высокий, универсальный уровень. Устинов недовольно покачал головой.

Встретились они случайно, на Северном флоте, куда Андреа вызвали по поводу «Шехерезады». Командование просило по возможности упростить методику обучения. «Так, чтобы любому адмиралу было понятно», — пошутил Картос, фразу эту ему потом припомнили.

Устинов, будучи на крейсере, издала узнал Картоса. Памятливость начальства восхитила Андреа. Восхищала и его неумоимость. Грузный старый человек, Устинов лазал по трапам, поднимался, спускался, загонял адмиралов. После короткого разговора о возможности персональной ЭВМ отношения их разладились. Устинов сразу посуловел: ученые, дескать, жируют на военных заказах, а быть благодарными не научились. Картос не понял — за что благодарить? И что это значит — военные деньги? И вообще, зачем столько оружия? Оно же морально устаревает. Устинов повысил голос: «Знаем мы эту пацифистскую болтовню!» Картос стал подтверждать свою правоту цифрами, что всерьез рассердило Устинова. Присутствие адмиралов подстегнуло его. Широкая его фигура раздалась, орденские планки выпятились. «Видали, какой стратег! Не воевал, на фронте не был, а все знает. Нет, уважаемый Андрей Георгиевич, мы не допустим, чтобы нас еще раз врасплох застали. Достаточно народ наш настрадался...» Ничего нового в его речи не было, обычные доводы военачальников того времени. Заслуживает внимания лишь фраза в адрес лично Картоса: «Вы на кого работаете?»

Самая лучшая слухопроводность в секретных учреждениях: про разговор Картоса с Устиновым немедленно стало известно и в министерстве и в лаборатории.

Вечером Бухов ввалился к Андреа; наполнив кабинет спиртным перегаром, принялся ругать Устинова:

— Как облупленного его знаю, рвался наверх, удержу не было. Недавно ему сказал: «Митрий, уймись, ты же стал главным растратчиком страны, все на шинель хочешь ухлопать. Народишко тоже хочет во что-то одеться». А он мне, как водится: «Народ голяком согласен, лишь бы не было войны». А я

ему: «Ты войной пугаешь, забыть ее не даешь, чтобы вокруг тебя все вертелось».

Орал он безбоязненно, Картос завидовал его свободе, а Бухов тыкал в него пальцем:

— Ты на меня не донесешь, верно? Интеллигент! — Удивлялся — Чего ты полез с ним цапаться? Не твой вес... Оно неплохо, что кто-то воткнул ему перо в задницу, а то привык, чтобы лизали без остановки. Имеешь право!

Потом признался под секретом, что «американка» не идет, получается телега вместо тепловоза. Жаловался на своих разработчиков. Упросил Картоса прислать своих мудрецов — разобраться. Картос послал, однако объяснил Бруку, что из «наших продуктов ихнее блюдо не приготовишь»

Алеша Прохоров уверял всех: шеф заранее знал, что скопировать «американку» не удастся, поэтому и не беспокоился.

Подобных легенд бытует немало, и никакие просчеты Картоса, никакие его ошибки не могли поколебать твердого убеждения в провидческом даре учителя. Что касается Джо, то его интуитивное чутье, иногда таинственно спасительное, почему-то никого не удивляло.

Несторы российской кибернетики сходятся на том, что лабораторию ликвидировали не случайно. Одни считают, что дело было в калькуляторах. Другие убеждены, что сорванный заказ — только повод. А причина в том, что Бухову было выгодно проглотить лабораторию. Третьи кивают на Устинова.

Все эти обстоятельства несомненно имели место. Но у общеизвестных причин были свои сокрытые причины, до них обычно не добираются. К тому времени, то есть к середине семидесятых, Картос уже явно не укладывался в существовавший порядок вещей. Слишком много глупостей творилось кругом — вместо серьезных научных работ стряпали ничемные диссертации, гнались за премиями, званиями. Картос ожесточился, давал безжалостные отзывы на работы других институтов, выступления его стали резкими.

С лабораторией поступили хитро — ее передали КБ. Почти полторы тысячи человек присоединили к маленькому КБ, появилось большое КБ, а лаборатории не стало. И сделали это в тот самый момент, когда Картос нашел-таки решение и все пошло, даже странно было, как это они раньше не сообразили. И ракетчики, которые любили Картоса, дали понять, что не в силах его отстоять. Генерал Колосков так прямо и сказал: плевать им на машину, если хочут власть показать.

Джо наступал на машинке своим ужасным слогом письмо Генеральному секретарю Брежневу. В нем он перечислил заслуги Андреа — первый в мире персональный компьютер, первое поколение управляющих машин, поколение запоминающих устройств, потенциометры... вертикальная интеграция.. ферритовые пластины... создание центра... Надо создать условия, страна может наверстать отставание. Еще не поздно, повторял он, помогите...

Это было страстное, сумбурное, совсем не политическое письмо.

В поведении Картоса ничего не изменилось. Минута в минуту он появлялся в своем кабинете, снимал пиджак, надевал полосатую темно-зеленую куртку. Все так же регулярно они с Джо посещали библиотеку Академии наук, заказывали копии интересных статей. По-прежнему руководничал в своей маленькой мастерской. Выступил на семинаре о будущем кибернетики. Никто не помнит, чтобы он держался как обиженный человек. В тот день, когда лаборатории закрыли счет в банке, Картос явился к Бухову. Спокойно отсидел в приемной, дождался своей очереди, положил заявление с просьбой об увольнении. Судя по точности формулировок, оно было написано заранее.

Бухов поинтересовался, куда это он переходит. Картос спокойно ответил: никаких предложений у него нет, просто увольняется. Поняв, что это всерьез, Бухов разорался, наложил размашисто резолюцию: «Отказать!»

— Будешь как цуцик являться. Нас заявлениями не испугаешь. Думал, я перед тобой на задние лапки встану? На-кась! — И выставил шиш.

Картос терпеливо объявил: как только сдаст дела Зажогину, так и откланяется. Бухов рассвирепел:

— Ты что, с ума сошел? Под суд пойдешь! Не таким рога ломали!

— На суд я готов. Пожалуйста.

Через месяц он на работу не явился.

XXXIV

Люлька висела на высоте третьего этажа. Подштукатуренный петербургский дом начала века красили охрой, чтобы свежей и ярче выглядели белые лепные наличники. Маляр тщательно прокрашивал кистью барельефы. Красил и пел во весь голос, благо звуки скрадывались уличным шумом

Весть о том, что Картос работает маляром, достигла Москвы. У Бухова состоялся неприятный телефонный разговор с инструктором ЦК. На самом-то деле он сразу же сообщил в Москву о выходке Картоса, но там теперь делали вид, будто это новость, и сердились, почему, мол, Бухов не принял мер. А что он мог сделать? Подать в суд ему же не разрешили.

— Это недопустимая демонстрация.

— Я ему передам ваше мнение.

— Вы свой юмор поберегите. Если иностранные корреспонденты пронюхают?

— Я могу с милицией договориться. Его возьмут.

Москва долго молчала.

— Тяжелая ситуация.

— Видите, не все так просто, — обрадовался Бухов.

— Это с вами тяжелая ситуация.

— Что же делать?

— Это ваш вопрос, вы и решайте.

Бригадир отказался спустить люльку, командный тон Бухова ему не понравился: «Дядя, орать на рабочий класс не надо». И ощерился белыми крепкими зубами.

Из лаборатории приезжали, дабы удостовериться, до чего же довели их начальника. Женщины плакали. Образ Картоса окутался романтической дымкой. Недовольные во главе с Мошковым уверяли, что это акт беспомощности и упрямства. Картос, мол, принес лабораторию в жертву своей маниакальной идее самостоятельности. При виде Картоса, работающего в люльке кистью и пистолетом-распылителем, побеждало сочувствие.

Нина Федоровна, секретарь Картоса, побывала в бытовке во время перерыва. Бригада ела хлеб с колбасой и плавлеными сырками, стояли бутылки с кефиром рядом с морковью и зеленым луком. По ее словам, Андрей Георгиевич сидел в центре, рядом с бригадиром; прочитав письмо Бухова, попросил передать: если трест по настоянию начальства его уволит, это ничего не изменит, он пойдет в артель маляров, которые халтурят по квартирному ремонту, «хомут на свежую голову всегда найдется».

Рассказы о Картосе-маляре до сих пор сохранились в объединении, вошли в фольклор вместе с его неуклюжими поговорками. Покажут при случае и дом, окрашенный им снаружи по фасаду, и лестничные пролеты.

Оказалось, что позиция, занятая Андреа, практически неуязвима.

Зашли в пивную на Большом. Пиво Картос любил. Взяли по кружке, уселись в полутемном углу за столик. Картонку «Стол заказан» Филипп Алиевич убрал. Держался он здесь по-хозяйски. Это был упитанный толстячок, большоголовый, с лицом бледным и длинным, как бы от того же высокого человека. Правильные черты его были словно тщательно стерты, так, что не осталось ни красок, ни морщин. Одет человек был в когда-то хороший костюм и полосатую рубашку без галстука. Двигался Филипп Алиевич неспешно, увесисто, временами твердо придерживал Картоса за локоток.

Отпив полкружки, объявил Картосу, что в органах специально занимался его персоной, обрабатывая всю «прослушку», так что материалом владеет. Теперь же его, Филиппа Алиевича, отстранили. Никаких сведений он разглашать не собирается, но может кое-что показать, так, мелочь, из частной своей коллекции, нигде не зарегистрированное, в порядке личной симпатии. Филипп Алиевич вынул из внутреннего кармана пухлый потертый конверт и положил его перед собой на чуть влажную пластмассу столика.

— У меня, как вы понимаете, естественное к вам чувство, столько лет были моим объектом, знаю про вас, можно сказать, весь интим, а в непосредственный контакт не вступал. Не положено. В первый раз выхожу на контакт. Даже странно. Вы знали, конечно, что за вами наблюдают. Мне казалось иногда, что вы меня чувствуете. У вас ведь никаких серьезных срывов не было. Очень вы аккуратно себя держали. Например, отказались читать «Архипелаг» Солженицына, Брук читал, а вы нет. Извините, Андрей Георгиевич, но для интеллектуала высшего сорта такая ровная линия неестественна. Неправдоподобна! Такая геометрия знаете на что похожа? На очень глубокую конспирацию! Так считали там, наверху. Я-то понимал, что это не так. Но было удобнее согласиться. Когда же вы, извиняюсь, отмочили нынешний номер, мне это в вину вменили, почему, мол, не предсказал.

Заказали еще по кружке. Бледное лицо Филиппа Алиевича немного ожило.

— Вы и не знаете, какая вокруг вас шла борьба! Есть великие шпионы: Абель, Клаус Фукс, Берджес, еще несколько. Лоуренс. Считается, что все они разоблачены. Те, кто остался в неизвестности, — те мастера. Некоторые требовали искать на вас компромат. Были, правда, и другие... — Рассказывая, он вскидывал глаза на Картосу, пытаясь обнаружить хоть какой-то отклик. — Благодаря вам я стал аналитиком. Вы, можно сказать, развили мой ум. Как ни смешно, но я вырос на ваших хлебах. Разумеется, у меня имелись и другие задания, но вы были моим постоянным клиентом в течение десяти лет — подумайте только! Иногда я представлял себе, как встречу с вами, разумеется, в своем кабинете, на допросе. И вот вместо кабинета пивнушка и вы, извините, в рабочей куртке, а я вроде как проситель. Но честное слово, мне ничего не надо, я с полным бескорытием. Любопытство меня мучает: до какой степени я просчитался, в чем? Мне же известно, что однажды вы уже уходили в маляры, но тут ведь другое! Это, как говорит мой сын, большая залепуха с вашей стороны. Начальство наше навзничь опрокинулось. Наша беда, что мы рассматриваем характер объекта как нечто постоянное. Наше учреждение исходит из убеждения — в каждом человеке имеется говнецо. С этой установкой и разрабатываем. Любого. А вы не поддаетесь. Вижу: вы гадаете, какую я цель преследую. Могу чистосердечно сознаться: я поступок хочу совершить... Вот оно, письмо. Случайно попало ко мне, не зарегистрированное, изъято из частных рук. Думали, не имеет значения. Не знали, кому адресовано. А я знал. К сожалению, отдать не могу.

На тонкой бумаге четкий печатный почерк. Писано черным фломастером, без обращения:

«Чем лучше я тут устраиваюсь, тем больше тебя не хватает. Мастерскую, про которую я тебе писал, оборудовал светильниками, жалюзи, шкафами. Получилось прилично, район Гринвич-Вилледж, ты знаешь, самый подходящий. Считай, повезло мне с этим боссом-славянином. Места по-своему красивые, яркие, люди тоже, каждый бросается в глаза, в мои глаза, пока еще дымка романтики не развеялась. Я чувствую себя словно в командировке, поддерживаю в себе эту уловку, чтобы не затосковать».

— Позвольте, — спросил Картос, — это письмо кому?

Филипп Алиевич поклонился.

— Анне Юрьевне.

— Ей и передайте.

— Не могу. — Филипп Алиевич виновато усмехнулся. — Ей нельзя. Она шум поднимет.

— Я не читаю чужих писем.

— Это не чужое, тем более что Анна Юрьевна его не увидит.

Картос молчал.

— Я взял его ради вас. Читать чужие письма не преступление, использовать их во вред — вот что преступно.

— Из чего вы хлопочете? Вам-то какая корысть?

— Андрей Георгиевич, я человек. Представьте себе, несмотря ни на что, че-ло-век! Я хочу иметь свои поступки.

Картос разглядывал его, раздумывая, — так разглядывают загадочную картинку

— Хорошо. — Он слегка кивнул.

«...знакомые завелись, русские, соседи — художники, местные евреи, почти все понимают по-русски, у каждого предки из Одессы или Белоруссии. Появилась еще одна галерея, которая берет мои работы. Помнишь мужчину в черном костюме на пустом пляже? Купили сразу же, галерейщик оставил ее на две недели повисеть, народ задерживался у нее, спрашивали про автора. Автор же вдруг иссяк. Перестал находить вокруг себя странность. Мир с головы встал на ноги, обрел успокаивающую нормальность. Родимый абсурд исчез как сон. Абсурд нашей жизни, от которого некуда было деваться, я о нем вспоминаю с нежностью. Здесь люди перестали казаться мне странными, улыбаются друг другу, никто не хочет лягнуть, выругаться. При этом головы выбриты наполовину, вторая половина — ультрамариновая, и мне это нравится, и я примиряюсь, примирение мешает работать. Написать про мои ощущения не могу, когда я держу тебя за руку, ты понимаешь мой недосказ. В письме — чертёж, по дороге из головы до бумаги краски пропадают. Внутри у меня живопись, а напишу словами — и пропало. Знаю, что в здешней жизни абсурда достаточно, а не вижу, ослеп. Ты мне нужна позарез. Я бы прозрел. Как бы хорошо нам жилось и мне работалось! Что тебя там держит? У тебя же нет там чувства родины, да и любви к социализму. Сейчас стало посвободнее. У тебя тут дети, ты имеешь право настаивать. Думаю, твой муж должен понять. Не будет же он тебя задерживать только в отместку. Тогда он не заслуживает твоей жалости, и нечего с ним считаться. Никогда его не видел, не питаю к нему ничего плохого, думаю, что он был достоин тебя. Он должен понять, что чувство изживает себя — и тогда люди расстаются. Уверен, что он мог бы добиться разрешения.

Пробовал писать тебя — не выходит. Каждую частицу твоего тела помню. Шея, волосы, плечи, рот, но все они живут по отдельности. Начну писать — сносит на тот портрет, что писал до тебя. Та, которую узнал, — ускользает. Будь ты здесь, я писал бы одну тебя. На улице, в баре, у окна, на лошади, в Центральном парке, куда изредка выбираюсь. Только тебя как разнообразие мира. Модильяни писал различных мужчин и женщин как единое отношение к миру, а я тебя — как множество состояний. От черного до молочно-белого, от восторга обладания до ужаса потерять. Ты стоишь среди мрамора древних статуй, они с отбитыми руками, ты — единственно целая, куда прекраснее их своим живым несовершенством.

Неделю назад получил от тебя впервые записку через К. Н. Аккуратно пишет один Кирюха. Из трех его писем два доходят. Так что свобода набирает силу. Обо всех нас, изгнанных, забыли, обо мне тоже, вернемся ли мы когда-нибудь — не знаю. Была у меня тут выставка. По сравнению с нашими провальная. подвальчик из двух комнат, двадцать посетителей за день, ни споров, ни шума. Единственная радость — каталог издали приличный. Чуть что, я сую его: полюбуйтесь, не проходимец, не фуфлю. Господи, если бы ты приехала ко мне, каждый вечер молюсь об этом, я вымолю тебя, не может того быть, чтобы нас разлучили навсегда.

Письмо посылаю с оказией. Торопят, обнимаю».

Из конверта выпали блестящие квадратики слайдов. Картос просмотрел их на свет. Картины в тонких белых рамках. На одной обнимались кентавры — вместо конского туловища кузов и автомобильные колеса. Было и фото четырехэтажного грязно-белого дома. Внизу бар с зеленой вывеской, чахлый куст в

деревянной кадке, окна, прикрытые жалюзи, кусок улицы, типичный Гринвич-Вилледж. Пожалуй, Андреа знал этот уголок.

С профессиональным вниманием Филипп Алиевич следил за тем, что творилось с лицом Картоса, как сползала маска невозмутимости, гасли краски, он старел на глазах.

— Знаете, я многим рисковал.

Андреа молчал, разглядывая узор пластика на столе: клеточки, кружочки.

— Вы не могли бы отправить это по почте? Адресату, — сказал он, не подымая глаз.

— Для меня — чревато. Я нарушил правила...

— Снимите копию.

Филипп Алиевич откинулся на спинку стула.

— Значит, вы хотите, чтобы адресат получил письмо? Правильно я вас понял?

Картос кивнул.

— Не ожидал. А впрочем... — Филипп Алиевич почесал в затылке. — Если я отдам его вам, что вы с ним сделаете? Потребуется объяснений? Вы ведь ничего о них не знали. То есть подробностей.

— Зато вы все знали. Все подробности. Не так ли? И хотите знать дальше.

— Я же отключен теперь от всякой информации.

— Плохо ваше дело.

— Вы смеетесь, а я расстроен. Мне стыдно за нее. Прошу прощения, но как она могла...

— Не надо об этом.

— Вот вы бросили вызов, маляром стали. Для меня это был удар. Вы, можно сказать, уничтожили портрет, который я создал. Но я не о себе пекусь. Я не хочу, чтобы вы пострадали. Представьте: трос обрывается и люлька ваша падает... Не верите? Клянусь вам! Я столько лет жил вашей жизнью, я знаю вас как никто. Я уважаю вас, честное слово, я понимаю, что это странно.

— Не знаю, как отблагодарить вас, — пробормотал Картос.

— Берите письмо, пожалуйста, больше я вас беспокоить не буду. Для вас я — гебешник. Я надеялся, что вы способны понять человека, который... да что говорить.

XXXV

Предложение поступило от президиума Академии наук. Подписанное вице-президентом. В самых разлюбленных тонах: «Учитывая заслуги... реальные достижения... огромный опыт... ваш талант руководителя...» Короче: «Мы были бы счастливы, если б вы, Андрей Георгиевич, согласились возглавить Институт вычислительной техники в Сибири». Академический институт. Прежний директор уходит на пенсию. Институт нуждается в реформе. Президент также присоединяется к просьбе.

Вручил письмо академик Фомичев, командированный специально для переговоров. Он появился в дверях квартиры Картоса с большим букетом роз, поцеловал руку Эн, обнял Андреа, словно лучший друг. Не давая опомниться, без околичностей приступил к переговорам. Академический институт — это полная независимость, структура академии дает автономию, защиту от министерских и прочих властей. Сам себе хозяин. Через несколько месяцев, поняв что к чему, можно переташить из Ленинграда своих людей. Самое же существенное то, что должность влечет за собою академическое звание. Директору положено звание академика. Минимум членкора. Разумеется, через выборы, но все считаются с должностью. Да и выборы-то в наших руках, с этим делом научились справляться.

Пили чай. Фомичев нахваливал прическу Эн, ее пышные волосы, ее синее платье с вышивкой, незатейливые его комплименты доставляли Эн удовольствие.

В первый день он не добился от Андреа никакого ответа и, пользуясь разрешением Эн, явился на следующий вечер. Ленинградскую квартиру советовал

оставить за собой; на директорство, если откровенно, следует смотреть как на командировку за званием.

Он щеголял своим цинизмом, вызывая Картоса на протест, хотя бы на замечание. Картос рассеянно кивал. Неплохой рассказчик, Фомичев описывал свои недавние поездки в Париж и Токио. Он был наглядным доказательством того, что жизнь прекрасна незнакомыми странами, хорошей едой, красивыми женщинами, он был доволен своим галстуком, купленным на улице Риволи, ботинками на толстой кожаной подошве, в свете подобных перспектив сомнения Андрея Георгиевича превращались в мелочи, не стоящие серьезных размышлений.

Джо был доволен: прислали Фомичева, этот не отступится. Фомичев не мыслит, чтобы его постигла неудача. Кто прислал Фомичева, они не знали, но ясно, что не только президента академии; Джо был уверен, что сработало его письмо Брежневу. Но стоит ли Андрея уезжать в Сибирь — вот в чем вопрос, беспокоился Загогин, а что, если его просто-напросто выводят из игры, если его там закупают?

Фомичев игриво жаловался Эн:

— Андрей Георгиевич относится ко мне, как Фауст к Мефистофелю, но у меня нет ни хвоста, ни рогов, можете освидетельствовать.

Он привез Эн корзину с французскими винами, коробкой конфет и печеньем, все «прямо из Парижа», признался без обиняков:

— Хочу вас подкупить.

Эн посмеивалась:

— Не знаю, не знаю, моего мужа, кажется, устраивает работа маляром, целый день на воздухе, он окреп.

Андреа согласно кивал.

Варианты Фомичева были один обольстительней другого. Эн может остаться в Ленинграде, Картос едет один, на лето она приезжает к нему. У него будет коттедж. Академическую жизнь стоит вкусить, это и почет и блага, всегда при машине, полная обеспеченность. Фомичев не скупился на обещания, ссылаясь на президента академии, и действительно, президент лично позвонил Картосу домой, просил принять предложение во имя интересов дела.

Андреа обещал подумать. По мнению Фомичева, он просто набивал себе цену. Другого объяснения не было. Предложение достаточно выгодное. Вряд ли он мог рассчитывать на большее.

После звонка президента Фомичев приступил к решительному разговору:

— Вы, мой друг, стремились к самостоятельности, не так ли? Академия наук дает вам такую возможность. Берите, хватайте, пока не поздно. Извините, милейший, вы ведете себя как *enfant terrible*.

Отужинав, они сидели вдвоем, Эн ушла на кухню мыть посуду.

— Вы вполне заслуживаете академика сразу, но я тоже прошел через глупое членкорство.

Фомичев никак не мог понять, что удерживало Картоса, какая-то невидимая зацепка, которую, похоже, он и сам не решался высказать.

— Вы будете первым иностранцем, возглавившим институт. В наших условиях это великое дело, я рад, что способствовал. А дальше пойдет, покатится. Лиха беда начало! Ну как, по рукам?

— Видите ли, у меня есть одно условие, — сказал Картос.

— Какое?

— Чтобы мою жену отпустили в Америку.

От изумления Фомичев замер с открытым ртом.

— Как так? Совсем? — почему-то шепотом выдохнул он.

— Совсем.

Воцарилось молчание.

— У нее там остались дети, — пояснил Картос.

— Ничего себе... И вы что, согласны?

— Это мое условие.

— Андрей Георгиевич, но как же вы, коммунист... — Фомичев смотрел на него в ужасе. Вальжная барственность слетела с него, он отодвинулся подальше.

ше, роскошный блейзер его сморщился — Покинуть нашу страну — и в Америку! Если бы куда-нибудь в Грецию, а то в Америку. Вы понимаете, что это значит?

- Она имеет право.
- Не знаю... Я, конечно, передам.
- Пожалуйста.

Был сырой теплый вечер, светлая заря догорала между деревьями. Ребятня собирала на газонах желуди. Мокрые листья липли к белому мрамору статуй Летнего сада.

Эн шла, помахивая сумкой. Они старались говорить спокойно. Кругом было много народу.

Когда Джо узнал о предложении Фомичева, он приуныл, мысли о расставании с Андреа удручали. Он не представлял, как сможет работать без интуиции Андреа. А тут еще эта глупость с Эн...

— Надеюсь, что ничего у тебя не выйдет. Начальство пошлет тебя подальше с такой просьбой. Куда-нибудь под Вологду. Вот чего ты добиваешься. Шутка сказать, такой политический акт предложить, ты понимаешь, что он означает?

- Действительно, что сие означает? — поинтересовался Андреа.
- Что твоя жена не хочет жить в стране социализма.
- Строящегося, — поправил Андреа. — Это несколько ее оправдывает.
- Что она предпочитает капитализм. Терпенье их лопнет. Вышлют, обоих вас вышлют.
- Вместе? — спросила Эн. — Он же хочет от меня отделаться.
- Я тебя привез сюда — и я же должен освободить. Нам с Джо отсюда не выбраться. Пусть хоть ты вернешься домой.
- А что, мы здесь не дома? — горячился Джо. — Ты говоришь так, будто мы попали в ловушку.
- Ловушку?.. Может, так оно и есть. Ловушка, когда нельзя вернуться.
- Ай-я-яй, ты так гозоришь про социализм. Социализм — это гарантия мира.

Андреа зажал уши.

— После разговора с Устиновым слышать это не могу. Он ястреб, хуже всяких милитаристов. У него психоз — оружие, еще оружие, больше оружия. Они не могут остановиться...

Впервые он выкладывал об Устинове, о Сербине то, что у него накопилось:

- Они загоняют страну в нищету, уродуют науку.
- Довольно, — сказала Эн. — При чем тут я, ты что, хочешь спасти меня от нищеты? По-моему, я тебе никогда не жаловалась на здешние условия.
- Она не сама по себе уедет, — сказал Джо. — Она уедет как твоя жена, ты подставляешься, чуть что, тебе предъявят.

Эн остановилась у статуи какой-то греческой богини, сняла с нее прилипший влажный лист.

— Джо, ты его не можешь понять, ты никогда ничем не жертвовал ради любви. Твои романы не доставляли тебе хлопот. Ты предохранялся от настоящей любви как от триппера.

Эн не стеснялась. Беломраморная богиня над ней играла на лире и загадочно улыбалась.

- Почему вам ваши машины важнее семьи? Несчастливы вы люди.
- Послушай, чего бы ты хотела? — спросил Джо.
- Я?.. — Эн задумалась. — В идеале я бы хотела, чтобы мы все вместе вернулись домой.
- Это невозможно, нас никогда не отпустят. Даже если здесь отпустят, там арестуют.
- Уже все забыто. Ты бы уехал?
- Я об этом не думал.

— Боишься об этом думать.

— Не думал, потому что мне здесь достаточно интересно. И послушай, женщина, мы ведь устроены по-другому. Вот Андреа ругает, поносит начальство, ему действительно не дают ходу, его лишили центра, который он создал. Все так. Но я скажу то, что никому не говорил: он здесь, в Союзе, расцвел! У нас замечательные ребята, эти русские индуцировали его, я думаю, в Штатах такую лабораторию нам не удалось бы подобрать. Недаром мы обогнали всех. Пусть фыркает, он знает, что это так. Нигде бы ему не удалось сделать столько, сколько здесь.

Похвалы Андреа принимал как должное. Когда Кулешов на коллегии упрекнул его в нескромности, Андреа спросил: а почему, собственно говоря, он обязан быть скромным? Скромность, говорят, украшает человека. Но какого человека? Скорее всего посредственность. Пушкин не был скромным. И Маяковский. И Микеланджело. Скромным он готов быть перед учеными, которых признает великими, перед Шенноном, Тюрингом, Винером, перед ними он склоняет голову.

Им навстречу шел Алеша с рюкзаком, из которого торчала теннисная ракетка. Он был разгорячен после удачной игры. Андреа взял его под руку, они заговорили о новой машине. Джо и Эн, поотстав, следовали за ними.

— Ты думаешь, они согласятся? — спросила Эн.

— Если будешь стоять на своем. Андреа узнал что-нибудь новенькое про твоего художника?

— Он прочел письмо. От него. Оттуда...

— Каким образом?

— Не знаю.

— И что же? Устроил сцену?

— Нет. В том-то и дело. Его удерживает гордость, он идиотски самолюбив. Особенно теперь, после неудач.

— Ну и что? Не все ли равно, если ты хочешь уехать.

— Я жалею его. И Валеру тоже. Я жалею обоих, вот что ужасно. Я не хочу выбирать. Если останусь, буду тосковать по Валере, он ждет меня, теперь-то я знаю это. Если уеду, буду стыдиться самой себя.

— Не мучайся, скорее всего тебе откажут.

— Фомичев отнесся к этому серьезно.

— Ты знаешь, почему набожные евреи носят на голове кипу или шляпу? Они признают, что есть что-то выше их. Есть кто-то и повыше Фомичева.

— Будь как будет. Пусть судьба решит за меня. Так легче.

Потом она говорила о том, что ей с Валерой, конечно же, хорошо, но, в сущности, они ведь и не жили вместе, с ним придется начинать как бы заново, начинать третью, нет, уже четвертую жизнь. Девичество, Роберт, Андреа и Валера...

Она будет вспоминать этот сумрачно-холодный город, несчастный и нежный, полный таинственных уголков, заброшенных особняков, где в нише полуразрушенного фасада вдруг видишь остатки прекрасной мозаики, облупленные фигуры каких-то древних греков. Бесчисленные мосты, мостики, каналы, протоки. За эти годы она исходила весь Васильевский остров, Петроградскую сторону, набережные Фонтанки, Мойки, заходила во дворы, проулки. Когда Валерий писал свои петербургские фантазмагории, она была его гидом. Конские головы, узорные ворота, балконные решетки — город был набит следами былой красоты; ее глаз выискивал в заснеженных улицах изящные безделушки, она радовалась своим находкам одинокой радостью путника... С какой-то неестественной четкостью запомнится ей и этот сырой вечер в Летнем саду. Каждое слово, весь разговор с Джо, малейшие подробности сохранятся в ее памяти — коротко стриженный затылок Алеша с глубокой ложбинкой, красные уши Андреа, зеленые сумерки сада, а за высокой решеткой, над Невой — золотое вечернее небо. И как Андреа втолковывал Алеше: «Ты считаешь, что Россия — большая жопа Европы, а я все же думаю, что она член Европы, детородный член».

Валера тогда писал свою серию «Боги». Там был изображен сад, отдаленно похожий на Летний, мраморные боги в пиджаках, плащах, шляпах толпи-

лись вокруг обнаженной женщины. Гранитный постамент. С него она и обращалась к богам. На второй картине — спины и затылки уходящих из сада богов. Из прекрасного сада, где остались пустые постаменты; боги в плащах, юбках, брюках покидали его. Листья облепили их мраморные затылки и мраморные ноги. Обнаженная женщина напоминала Эн, она хотела следовать за богами и не могла.

«К сожалению, выяснилось, что я до сих пор люблю его, — говорила она в тот вечер Джо, — я была жестока с Андреа — зачем? Я думала, что не нужна ему, я не понимала, что вошла в него и он перестал замечать меня, как не замечают собственного сердца».

«Продолжай, — требовал Валера, он писал под аккомпанемент ее рассказов, — еще, еще, — просил он, — про то, как тебя вызвали». Странно, но текст заявления, которое попросили ее написать, она плохо помнила, обыкновенное заявление, шариковой ручкой, с просьбой разрешить выехать повидаться со своими детьми, обращается впервые, соскучилась, обязуется не нарушать подписанных ранее обязательств...

Все произошло поспешно, бестолково, Эн даже не успела ни с кем толком попрощаться. Она надеется вернуться, так она сказала советскому вице-консулу, который встречал ее в Нью-Йорке. Он предупредил: госпожа Картос может сделать это в любое время, если только не перекроет себе дорогу назад какими-либо враждебными акциями.

Появление Эн в Нью-Йорке прошло незамеченным. На сей счет, как говорили, существовала договоренность с ЦРУ. Она сняла себе квартирку неподалеку от Валеры. Когда в 1987 году он приезжал со своей выставкой в Москву, Эн с ним не было. К тому времени В. Михалев стал известным художником — две монографии, в Париже альбом с рисунками; был там и снимок Эн, она стояла у окна с распущенными волосами, слишком молодая, Кирилл утверждал, что это монтаж.

XXXVI

О сибирском житье Картоса сведения скудные. Известно, что власти встретили его приветливо. Отвели солнечную трехкомнатную квартиру, обставленную новенькой немецкой мебелью. Окна выходили в парк, дом был правительственным, из серии «дворянское гнездо». Прикрепили машину, выдали пропуск в спецмагазин и спецстоловую. Андреа сделался достопримечательностью города: залетная птица заморского оперения, кроме английского говорит еще и по-гречески и по-испански, что, как всякое излишество, свидетельствует о европейском блеске. Временная опальность притягивала к нему внимание, начальство не противилось, потому как понимало: товарищ Картос попал к ним транзитом, рано или поздно, после того как получит академика, его заберут в столицу. Дамы за ним ухаживали с удовольствием — мужчина одинокий и приятный.

Коллектив института оказался слабеньким, больших работ здесь не вели, привыкли исполнять то, что поручали, а поручали им лишь то, к чему они привыкли. Оборудование допотопное, зарплата аховая, помещение ветхое, холодное, линолеум в коридорах дырявый, даже лампочки без плафонов. Сотрудники — народ милый, тихий, занятый своими огородами и садовыми участками.

Андреа несколько раз собирал их, пробовал заинтересовать проблемами искусственного интеллекта. Он пришел к выводу, что, создавая искусственный интеллект, необязательно имитировать человеческий мозг. Следует искать новые подходы. Его внимательно слушали, задавали вопросы, иногда дельные, но на этом все и кончалось. Охотников заняться этой проблемой всерьез не нашлось.

Начальник второй лаборатории, Савельев, в открытую говорил, что народишко дешенный отсырел. Молодежь, кто поспособнее, норовит податься в центр, в крайнем случае в Новосибирск. Вот и он, Савельев, в свои сорок лет оставил диэлектрики и переключился на огурцы, ныне заслуженный огород-

ник. Картос прочел две его работы, напечатанные в местных «Трудах» лет десять назад. Обещающие были работы, Савельев не продолжил их, а теперь все заросло.

Пассивность сотрудников удручала Андреа. Семинары проходили скучно отбывали, подремывая, ждали, когда отпустят. Однажды он все-таки сорвался, наговорил обидных слов, обозвал деградантами. Сидели, виновато опустив головы, никто не возразил, разошлись молча. Он задержал Савельева. Савельев не оправдывался. И остальные сотрудники встречали его замечания виновато, не спорили. Он тыкал их в научные отчеты, приготовленные кое-как, лишь бы сдать.

Он убедился, что интерес людей вызывало другое — надо было консервировать овощи, заготавливать травы для чаев, закладывать на зиму картошку, доставать кирпич, мел для дач и садовых домиков. Мелкие заботы жужжали повсюду, забираясь в пространство рабочего дня, и отогнать их Картос не мог. У кого-то болели куры, проблему куриных хворей обсуждали повсеместно, горячо, с помощью специальной литературы. Копали погреб. «Определить оптимальную глубину погреба — это тебе не схему рассчитать», — писал Андреа в одном из писем Джо.

Местная жизнь не совпадала с прежней жизнью Андреа. В Н-ске укрыться было негде, приходилось посещать юбилеи, свадьбы, являться на приемы, торжественные заседания, активы, сидеть в президиумах. Одиноким директор института, брачного возраста, чем дальше, тем больше волновал женскую часть населения. Андреа засыпали предложениями помочь по хозяйству, ему давали кулинарные советы, наносили визиты с дарами — соленья, печенья. А тут еще уговорили по случаю приобрести катер и выезжать по озерам и протокам на рыбалку. Красота прозрачных сибирских рек захватила его, было блаженством плыть вдоль диких обрывов, природа была тут могучая, с красой извечной, пахучей. Зимой его утаскивали на подледный лов. Закутанный в овчину, Андреа часами просиживал посреди белых просторов озера. Мысли об интегральных схемах посещали его все реже..

Он писал Джо:

«Ум мой постоянно очищается. Я начинаю видеть, что люди ходят на службу не ради высоких целей, они растят детей, ловят рыбу, любят, ссорятся, жизнь как таковая для них дороже работы. Развитие микроэлектроники никого особенно не волнует. Я со своей идейностью выгляжу здесь посторонним. Я был упоен предназначенностью, своими машинами, а ведь ничего от них не останется, прогресс все сожрет. То, что мы делали, станет позавчерашним обедом. А я пожертвовал всем... Мне недавно приснилась Эн, и я увидел то, с чего у нас началось: обольстительный шрамик у нее на скуле, след нашей общей строительной горячки на Итаке... Не знаю, удастся ли нам дожить... Сколько ни думал, придумал лишь одно: прогресс — это увеличение срока человеческой жизни. А все остальное — успехи техники, науки, политики — не понять, лучше от них человеку или хуже.

Дома в деревнях здесь деревянные, каждый дом пахнет теплым некрашеным деревом, запах этот смешивается с запахом реки. Вернусь в Москву — все исчезнет: и запахи и сомнения; опять помчусь — куда, зачем? Знаю, что не нужно, и знаю, что не вырваться мне, не изменить свою жизнь!»

Поздней весной Савельев повез Картоса к себе на садовый участок. На шести сотках — больше не положено — стоял ярко-желтый с синим домик, теснились несколько укутанных соломой яблонь, кусты черноплодки, блестел обтянутый запотелой пленкой парник, нежная зелень доверчиво выбивалась на свет, торчали двулистки — знак огурцов, знак моркови, знак кабачков, знак редиски. Савельев разглядывал зеленые иероглифы, и его измятое заботами лицо приняло такое счастливое выражение, какого Андреа никогда у него не видел.

В письме к Джо Андреа подробно описывает участок Савельева: колодец, насос, сколько чего выращивают, систему земледелия, кпд выше китайского, обеспечивает семью Савельевых (пять человек) на всю зиму овощами, вареньем, яблоками. Без огорода, на одно жалованье, не прокормиться. Зарплата —

пустые бумажки, здесь ни масла не купишь, ни колбасы, совсем другая жизнь, чем питерская или московская. Савельев повел его по соседям. Такие же участки, домишки, каждый на свой лад, у кого с печкой, у кого с камином, с электробатарейми. Один дом с башенкой, другой в виде гриба, чтобы землю экономить. Вот куда направлена выдумка.

Андреа восхищается изобретательностью владельцев, сетует — на что, дескать, расходуют изобретательность, и снова обрывает себя, вспоминая, с какой гордостью они показывали ему свои достижения. «Они не менее счастливы, чем наши ребята при удачном завершении очередной машины. Несравнимо, да? А собственно, почему? Работа на себя дает этим людям удовлетворение, которого они лишены в институте. Увы, несмотря на шестьдесят лет советской власти, чувство собственности пришло и без всякой агитации запросто одолело социалистическое сознание со всеми его блестящими надеждами, Марксами и прочими первоисточниками. Несчастных шесть соток! Почти каждый выступает на своем участке как творец и созидатель. Минкин, старший лаборант, сказал мне: «Я жил-жил и не знал, какой у меня вкус, а тут вот покрасил свой домик, вижу — безвкусица, значит, что-то проклюнулось!» Для них занятия эти — не мелкие, а насущные. Какое право я имею свысока смотреть? Сегодня жизнь здешнюю облегчают не ЭВМ, сегодня надо, чтобы за зиму картошка не проросла. Боюсь, что и завтра то же самое будет. При этом они себя виноватыми чувствуют, понимают, что институту отдают полсилы. Спорить со мною не смеют. Наши, когда я посылал помогать в колхоз, какой хай поднимали, эти же безропотно едут».

Сохранилось всего три его письма из Сибири. В последнем Андреа пишет:

«Затягивает меня здешнее неспешное житье. На днях поймал большого тайменя. Удовольствие огромное. Собрались на него. Выпив, я вдруг впервые без просьбы сыграл и спел несколько песен. Об этом узнало начальство, пригласило меня на суаре в качестве менестреля. Я стал отказываться, тем более что приехал Мошков, мы с ним работой занялись, и я как бы шутя условие поставил: приду, если дадите еще несколько садовых участков. И что ты думаешь? Соглались! Но сказали: вы, мол, жаловались на частнособственнические инстинкты сотрудников, а теперь что — сами их поощрять будете? На вечеринке разговор зашел о пережитках капитализма в сознании людей. Кто-то пошутил: дескать, еще пожалеем, что искоренили эти самые пережитки — восстанавливать придется. Шутка начальникам не понравилась, но двадцать участков я таки получил. Земля немереная, а жмутся, один из местных идеологов рассуждает так: «Владелец участка обретает независимость, независимость приводит к индивидуализму, уходу в мир мещанских интересов». На вид дуб дубом, однако доказал, с цифрами, первобытность такого земледелия, нужно-де передовое, машинное, но другой, не колхозной заинтересованности. Слушал его и убеждался: да ведь он в душе — фермер, дали бы ему землю, кредиты, то-то бы развернулся! Сколько кругом погасших, нереализованных талантов! Русский человек никогда не имел возможности заняться своим делом. Русский народ — это залежи не востребуемых талантов. Причем во всех областях. Начиная с математики, кончая музыкой. Их можно сравнить с древними греками. И при этом у меня косный коллектив, не способный выполнить более или менее приличную работу. И при этом тот же Савельев додумался до интегральных схем одновременно с нами. Его группа подошла к ним вплотную. Как водится, никто на это не отозвался. Сам он, когда я ему это сказал, обрадовался. Но никакого огорчения от того, что не досталось ни первенства, ни славы. Удивительное безразличие. Обрадовался своему уму, то есть тому, что самостоятельно дошел, и этого ему достаточно».

По воспоминаниям, Картос вел себя с женским персоналом осторожно. Официально считалось, что супруга его отбыла за рубеж, развода не было, в анкетах он числился состоящим в браке. Под старый Новый год оказался вдвоем в сауне с тридцатилетней заведующей поликлиникой, заводная, крепкая чалдонка, ее портрет был когда-то даже напечатан на обложке «Огонька». Как да кто подстроил им эту сауну, неизвестно, но уж раз так получилось, Маргарита потребовала, чтобы Андреа подтвердил свои мужские возможности,

иначе она подтвердит слухи о его недееспособности. Такую вот выгодную для Андреа версию она преподнесла.

Легкой связи у них не получилось. Никто не ожидал, что острая на язык, циничная разведенка может, как она сама признавалась, вляпаться. Рита ухаживала за ним, сопровождала его и на рыбалку и на лыжах, внимание ее временами тяготило Андреа, она понимала это и ничего не могла поделать с собой, навела в его квартире уют, стряпала ему вкусно, обильно, он жаловался, что толстеет.

Наконец-то он стал доступен журналистам, и они накинулись на него:

— Может ли машина думать?

— А кто ж еще у нас может думать?

— Удастся ли вам здесь сделать то, чего вы хотите?

— Боюсь, что никто не живет как хочет, разве что дураки.

О себе, о своей биографии Андреа ничего не сообщил.

Наконец одной журналистке удалось раздражить его, и он разразился монологом, который она полностью опубликовала в местном журнале:

— Поединки с природой? О чем вы? Мы заняты мелкой, скучной работой, к тому же грязной. В ней нет ничего от величия задач, которые она якобы решает. Обычная возня — из-за материалов. Тащат друг у друга, а больше — у казны. Прежде всего спирт — валюта науки. Время уходит на добычу, что, где выменять. Грызня с производственниками. Элегантные молодчики, которые сыплют остроумия, спорят о поисках истины, при этом сплошь альпинисты и философы, — выдумка литераторов. Если и попадают, то это большей частью поверхностные ребята. Природа с нами хитрит, лишь бы не проговориться, врет, притворяется...

XXXVII

В один из своих приездов в Москву Андреа познакомился с проектом работ по волновому воздействию на противника. Режимы должны были обслуживаться системой ЭВМ. Проект сопровождался рекомендациями и рецензиями ученых, среди которых было несколько известных. Непонятно, как они могли вляпаться в явную аферу. Новые лучи якобы и лечат, и убивают, и обеспечивают связь на любых расстояниях. Возможности их всемогущи, они увеличивают всхожесть зерна, они снижают потребление топлива. Эффект неисчислимым. Секретность наивысшая.

На вопросы Андреа академик Фомичев уклончиво процедил: нельзя-де с порога отвергать, чем черт не шутит... Андреа сочувственно кивал и также сочувственно стал объяснять, что столь фундаментальным открытиям трудно найти себе место внутри незыблемого каркаса науки. Физика налагает суровые ограничения на новые силы и поля. Их надо искать снаружи, за пределами обычных условий.

От его менторского тона Фомичев взорвался: нечего его учить. Он всю эту шарлатанщину видит насквозь, лучше Андреа и если ввязался, значит, на то есть причина. Мало разбираться в физике, надо еще разбираться в том, что над физикой. А над ней царят денежки. Да-с, самое что ни на есть пошлое золото. Военные, которые купились на посулы изобретателя и отвалили большой кусок своего пирога, пообещали Фомичеву выделить на его новую лабораторию. Он понимает, что рискует своим именем, но надеется, что его прикроют секретностью. Посоветовал и Андреа сделать то же самое: поддержать проект, пообещать какую-то разработку, а под нее получить деньги для института. Оказалось, что в этом дутом проекте участвуют еще несколько ученых на тех же условиях.

Андреа подумал и согласился.

Впоследствии бумаги, подписанные им, каким-то образом всплыли. На них ссылались, доказывая, что Картос не разбирался в физике, что репутация его преувеличена.

Выборы в Академию наук приближались. Кандидатов оказалось много, на одно место, кроме Картоса, претендовали еще шесть человек. За каждым стояли влиятельные академики, институты, работники ЦК, обкомы. Попытки договориться привели к тому, что за две недели до выборов из семи претендентов остались четверо. Никто из них не уступал. Механизм очередности не сработал, все получилось не так просто, как сулил Фомичев. По настоянию Заюгина организовали группу поддержки Картоса. Он уверял Андреа, что у всех кандидатов есть нечто подобное. Группа обрабатывает академиков — членов отделения, их жен, их детей, их сотрудников, использует любые связи. Убеждают, обещают, раздают подарки, из южных республик везут фрукты, вина — таков обычай, так заведено. Заюгин связался с Савельевым, с Маргаритой, из Н-ска прибыло самолетом два ящика с рыбой. Заюгин готов был развезти ее по нужным людям, но это было бы бестактно; Андреа скрепя сердце отправился по адресам. Поднимался с пакетом, потел, краснел, вручал, бормоча: наловил самолично нашей сибирской рыбешки, попробуйте. К его облегчению, академики принимали пакеты охотно, с шутками, один хитро подмигнул: подарки любят отдарки, не так ли? И тут же вручил ему на отзыв диссертацию некоего Сагдулаева. В тот же вечер к нему в гостиницу явился и сам Сагдулаев, застенчивый мягкий узбек, принес «макет готового отзыва, чтобы вам не затрудняться, зачем мучить себя».

Позвонил академик Родин, попросил выступить в Доме ученых на юбилейном вечере его друга-профессора, тоже кибернетика. Этого профессора Андреа терпеть не мог, однако отказать было неудобно. Как будто все сговорились использовать Картоса, пока он еще не выбран, пока зависим.

Внешне он держался по-прежнему холодновато, слушая, учтиво наклонял сидящую голову, шутил своим обычным нескладным русским языком, то ли виновато, то ли хитровато — не поймешь. Но все чаще застывал посреди разговора, переставал слушать. Смотрел словно бы издали. Два человека — Джо и Заюгин — знали, что творилось с ним. Он предупреждал, что больше не выдержит, нет сил терпеть, притворялся, унижаться... «Еще немного, потерпите», — умолял Заюгин. Джо змонул из Ленинграда, тревожился: раз так трудно, может, плюнуть? Андреа сердился, он не умел отступать, не в его характере сдаваться, это Джо готов смириться с поражением, гнить на вторых ролях, позволять себя эксплуатировать, нет, извините, он своего добьется, академия для него не цель, а средство, рано, рано списывать его со счета... Он орал, не сдерживая себя. В тот раз Андреа много злого наговорил о примиренческом поведении Джо, обвинял его в том, что тот предаст их идеалы. Не было никакой логики в его словах, недавно же сам писал из Сибири — как хорошо, дескать, погрузиться в обыкновенную жизнь, сложить камин, заготавливать дрова, самому их пилить, колотить.

Андреа кричал, что он их жертва, что это они вынуждают его идти на унижения, терять порядочность, ему самому ничего не нужно, никакого звания, что Джо, как всегда, устроился за его спиной и первый будет пользоваться плодами, если он, Андреа, станет академиком.

Ночью он позвонил Джо, извинился, сказал, что сорвался, слишком постыдна битва, в которую он ввязался. Ну получит академика, дальше надо будет добиваться возвращения из Сибири, потом добиваться восстановления статуса лаборатории, все истратит на хлопоты, погоню за призраком. Бунта не получилось. Обнадежили, обманули...

Сперва надо было пройти голосование на отделении. Накануне пронесся слух, будто из Совета Министров звонили президенту и выражали сомнения насчет кандидатуры Картоса в смысле политической благонадежности. У отделения дополнительно запросили список его научных трудов, хотя знали — в открытой печати Картос публиковаться не мог. До поздней ночи засиживалась группа поддержки в московской квартире Заюгина, курили, пили кофе, подсчитывали, кто и как будет голосовать, возможны ли варианты и кого бы еще подключить. Картос стискивал голову руками, ходил взад-вперед, вдруг вспомнил, как покойный академик Ландау говорил ему: две трети академиков ниче-

го общего с наукой не имеют, а труды вице-президента Топчиева не более чем размышления о том, что такое автомобиль.

Голосование на отделении принесло победу двум кандидатам, Картосу и старому члену Расторгуеву. Место же было одно. Андреа попросили уступить, он-де еще успеет, а Расторгуев на следующих выборах не пройдет по возрасту, на что Картос ответил: решать должно общее собрание, а не он единолично. Держался Андреа твердо, но после этого разговора чувствовал себя отвратительно. А наутро в день открытия сессии Академии наук отправился пешком по Моховой в сторону Никитских ворот. В девять утра его уже не было в номере, и где он находился до часу дня — неизвестно, но в час или около того, как свидетельствовал буфетчик, Андреа появился в забегаловке у Никитских ворот. Запомнились его бледность, неверные движения. Подумали, с перепоя, свой, что называется, клиент — запойный. Но заказал он чай. Чай и больше ничего. Шатко донес до стола, опустил на стул. Рядом сидел парень в телогрейке, ел макароны. Разыскали этого парня; оказывается, Картос ему пожаловался: плохо, мол, — и даже сказал, что умирает. Парень не вник: погоди, мол, папаша, доем по-быстрому — и мы с тобой примем по стопарию.

Когда он начал сползать со стула, к нему кинулась кассирша, но что он хотел сказать — не поняла...

Джо, расспросив ее, понял, что, умирая, Андреа пытался говорить по-английски... Когда приехала «скорая», Картос был уже мертв. Он лежал на замызганном, заплеванном полу, загороженный стульями, лицом к стене. За остальными столиками продолжали есть и пить.

В это время на сессии академии шло голосование. Фомичев расхаживал со своим бюллетенем, громко советуясь: не жирно ли будет Картосу сразу прямехонько и в академики? На что Капица Петр Леонидович ответил довольно громко: «Мерзейшая наша русская черта — зависть». Фомичев изобразил согласие, но агитацию — за Расторгуева и против Картоса — не прекратил. Кандидатура Картоса и в самом деле была спорной. Толки о нем ходили разные. Однако версию о шпионстве всерьез не принимали. К вечеру стали известны первые, неофициальные, итоги голосования. Картос не прошел, не хватило трех голосов.

Когда Зажогин позвонил, Джо решил, что его разыгрывают: Андреа и смерть? Невозможно. Он и на похоронах твердил как заведенный: «Вы шутите? Шутите... Шутите?» Его просили выступить, а он ничего не мог произнести, кроме этой дурацкой фразы...

XXXVIII

Передача шла в воскресенье, в девятнадцать тридцать. Называлась она «Кто вы такой, Джо Берт?». Анонсировали ее как разоблачение одного из крупнейших советских ученых, который сам выступит в диалоге со знаменитым ведущим Уолтером Круменом.

Час TV — две тысячи долларов, Джо согласился. Ему нужны были деньги, чтобы снять приличную гостиницу. С родными пока не складывалось, и он остановился у своего старого приятеля Сингера на окраине Нью-Йорка. Сингер считал, что следовало поторговаться, биография Джо — это сокровище, киношники за такую жизнь могут выложить десятки тысяч долларов. Наверное, Сингер прав, к нему уже подкатывался молодой журналист Питер Колински, собиравшийся сделать о Джо книгу, он обещал ему половину гонорара, но лишь через полгода. Да еще при условии, что Джо все это время будет помалкивать и уж тем более не яхшаться с такими потрошителями, как Уолтер Крумен. Уолтер же заверил, что выступление по телевидению будет хорошей рекламой для киноценаристов.

Короче, Джо убедился: в этой части планеты его биография пользуется большим спросом. Следовало использовать конъюнктуру. И начинать следует с телевидения, то есть с Крумена.

В Нью-Йорке стояла жара. В тени тридцать градусов, город был весь в поту, хотя кондиционеры работали на полную мощность. Режиссер критически осмотрел плотный темно-серый костюм Джо, рубашку с затянутым синим галстуком, платочек, торчащий из кармана. Сам режиссер был в майке, шортах и сандалиях на босу ногу. Он предложил Джо снять пиджак. Джо засомневался — прилично ли, все же он как бы представляет Советскую страну... Режиссер вдруг согласился, пожалуй, это будет в образе; то ли русский американец пришелся ему по душе, то ли он втайне недолюбливал Уолтера, который осточертел требованиями показывать его физиономию. И еще он посоветовал Джо не отступать под напором Крумена, отвечать ударом на удар, нападать на Америку, если Джо оробеет, то зритель потеряет к нему интерес, если же удастся продержаться, то можно будет пустить их на второй раунд через несколько дней.

Уолтер приехал в последнюю минуту — в клетчатой рубашке, джинсах, пыхтя и отдуваясь, этакий симпатичный увалень. Красноносый, видать, любящий закладывать, он шумно сморкался, вытирая большим алым платком потную шею, лоб, и как бы забывая про камеру, спохватываясь с виноватым смешком.

Мне показали видеокопию этой передачи. Джо появляется на экране не сразу. Сперва Уолтер рассказал, как десятки лет агенты ФБР безуспешно разыскивали того, кто помогал Розенбергам и затем скрылся на пару со своим другом Костасом; коммунисты, молодые, талантливые инженеры-исследователи, они ускользнули из рук агентов и словно бы растворились где-то на востоке, в бескрайних просторах России. Считалось, что их обоих выкрало КГБ и то ли уничтожило, то ли запрятало в своих подвалах. Попытки ЦРУ узнать что-нибудь об их судьбе ни к чему не приводили. Ни родные, ни дети, ни одна душа в Америке ничего не знали о них, так же как и о женщине по имени Эн Хиллмен, которая сбежала с Андреа Костасом. Трое американцев исчезли, растворились, пропав без вести. Ныне один из них появляется в Нью-Йорке, имея на руках американский паспорт.

Все трое жили в Советском Союзе под другими фамилиями, имели другие биографии, ЦРУ знало об этих людях, но не догадывалось, что это те самые искомые икс, игрек, зет. Уравнения с тремя неизвестными не удалось решить. Еще одно доказательство высокого качества русской разведки.

— Разрешите называть вас просто Джо?

На экране фотография молодого Джо, черты расплываются, двоятся, из телетумана возникает нынешний Джо, перед камерой он невольно выпрямляется под стать молодому, но видно, как они разошлись. Он ли это? Не мудрено, что Уолтер смотрит на него с сомнением.

— Вы Джо Берт?

— Да.

— А в советском паспорте?

— Брук. Иосиф... Иосиф Борисович.

— Вы выбрали имя в честь Сталина?

— Джо по-русски — это Иосиф.

— Интересное совпадение. Оно сыграло роль в вашей судьбе?

— Что вы имеете в виду?

— То, что вы сделали сталинистом.

— Сталинистами становятся по другим причинам.

— Зачем вы приехали в Штаты?

— Я хочу продать совершенно новый способ производства чипов для компьютеров, это моя собственная разработка...

— Минутку, Джо, у нас за рекламу надо платить. Нас смотрит вся Америка не ради ваших чипов, людям интересно знать, каким образом американец, рожденный здесь, в Нью-Йорке, стал в Москве Иосифом Бруком из Йоганнесбурга. Каким образом вас переправили туда?

— Я сам уехал в Европу.

— Зачем?

— Чтобы заняться музыкой.

— Вы уже были коммунистом?

— Да.

— Кто вас вовлек в партию?

— Я сам вступил.

— Вы знали Розенбергов?

— Мы познакомились студентами.

— Зачем вы вступили в партию?

— Господи, да зачем все вступают. Мне нравилась идея коммунизма, капитализм выглядел отвратительно. Кризис тридцатых годов — вы не знаете, что это такое, а я никогда не забуду, как у Вашингтон-сквер из окна двенадцатого этажа выбросился один коммерсант, он кричал в воздухе и потом шмякнулся на ограду, на пики... — Джо передернулся, закрыл глаза.

— Лучше диктатура пролетариата, концлагеря, расстрелы, уничтожение несогласных?

— Нас привлекали принципы — от каждого по способностям, каждому по труду, а дальше — от каждого по способностям, каждому по потребностям. Разве это плохо?

— Прекрасно. А на самом деле?

— Да, методы некорректны.

— Некорректны! — взвился ведущий. — Уничтожили десятки миллионов людей, больше, чем в гитлеровских душегубках, — это называется некорректным! В книгах о деле Розенбергов пишут, что вы бежали в Европу, узнав об их аресте.

— Я уехал за год до их ареста.

— Ваша музыкальная карьера в Париже удалась?

— Я сочинял шлягеры. Это у меня получалось.

— «Мой первый поцелуй» — это ваш поцелуй?

Уолтер смеется и напевает, вспоминая мелодию. Джо подпевает ему.

— Какого же черта вы бросили музыку и отправились в Москву?

— Может быть, все бы сложилось иначе, если б за мной не стало охотиться ФБР.

— Вы чувствовали за собою вину?

— Нет.

— Чего же вы боялись?

— В обстановке маккартизма коммунистов сажали, не считаясь с законами.

— Выходит, вы тогда уже все понимали, не надеялись на законы. Как же вам удалось перехитрить наших агентов? Откуда вы узнали, что вас выследили?

— Я почувствовал.

— Они себя чем-то выдали?

Джо задумывается.

— Были неуловимые мелочи. Например, я позвонил в посольство, и то, как со мной говорили...

— Какое чутье! Но есть другая версия. Позвольте, я покажу вам видеозапись интервью с одним из агентов, которые были посланы за вами в Париж. Это бывший сотрудник ФБР Мак Морисон.

Уолтер вставляет видеокассету. На экране студийного телевизора появляется усохший господин, у него такая же лысина, как у Джо, висят бульдожьих брыли, в руках толстая палка, он расхаживает, опираясь на нее.

— Мистер Морисон, расскажите, как вы занимались поиском Джо Берта.

— Мы получили задание отправиться в Париж и взять там этого типа. Он нужен был по делу Розенбергов. Вдвоем с напарником вышли на этого музыканта. Но в последнюю минуту он драпанул.

— Как это могло произойти? — спрашивает его сидящий к нам спиной репортер.

— Он не знал про нас. Он звонил в посольство, возмущался, что его друзьям Розенбергам шьют шпионаж, хотел дать показания в их пользу. Мы его ждали в посольстве, но почему-то он не приехал. Тогда мы разыскали пансионат, где он жил, но его там уже не было.

— Его кто-то спугнул?

— Мы разыскали его любовницу. Певичку. Она исполняла его песенки. Эта шлюха три дня морочила нас, пока ее не прижали. Она-то призналась: Берту помогло КГБ.

— Откуда она это узнала?

— Иначе с чего бы он сорвался? Факт, что они имели информацию. Наши действия потом проверяло начальство. Никаких промахов у нас не было.

— Итак, КГБ вас обошел. И Костаса ваши ребята упустили, и эту...

Морисон яростно застучал палкой.

— Коммунисты! На них работали коммунисты. Их, как блох, полно повсюду. Думаете, в нашем посольстве не было? КГБ подкармливал наших коммунистов. Тысячи осведомителей! Их агенты свободно шляются у нас где им вздумается.

— Вы знаете, Морисон, что Джо Берт приехал в Штаты?

— Вот видите! Хоть бы хны! Я читал в газетах, что этот наглец восстановил американское гражданство. Какого черта ему тут надо! Уверен, что ему опять помог КГБ. Русские посредством этой старой тряпки демонстрируют свои свободы — так, что ли?

— Наверняка. Но, может, Берта просто потянуло на родину?

— Не верю я ему.

— Прошло столько лет, холодная война кончилась, а вы не хотите ничего простить.

— Знаете, все не так просто. Я не злопамятный человек. Сочинял бы он свои песенки — да ради бога, я бы мог с ним встретиться и угостить пивом. Вот вы говорите — простить. Я себе не могу простить. Мне рассказали, сколько он там со своим дружкой изготовил всякой военной техники. Ведь они работали против нас. Из-за них мы миллиарды тратили на оборону. А все оттого, что вовремя не поймали этого гаденыша. Во сколько они оба за эти годы обошлись нам? Когда я подумаю, что это из-за нас... Да, на старости лет он мне показал хороший кукиш.

Далее шла как бы художественная концовка: Мак Морисон, тяжело опираясь на палку, удаляется по пустынной солечной аллее, расстроенный, потерпевший неожиданное поражение.

— Что вы скажете на это, Джо?

Джо задумчиво смотрит на Уолтера.

— Бог ты мой, они ее разыскали.

— Кого?

— Терезу.

— Ах да, эту... Она помогла вам бежать?

Взгляд Джо остается отрешенным. Уолтер с сочувствием спрашивает:

— Вы любили ее?

— Да...

— Это была счастливая любовь?

Уолтер спрашивает осторожно, совсем иным, домашним тоном.

— Нам было хорошо. Она прекрасно исполняла... у нее был тот голос, который мне нужен, я сочинял для нее.

Позади них на экране телевизора появляется черно-белая фотография Терезы.

— Это она?

Джо оборачивается.

— Откуда она у вас?

— Из вашего досье... Прелестная женщина, я понимаю вас, Джо. И что у вас с ней было дальше?

— Ничего. Мы с ней больше не увиделись.

— Как же так? Почему?

— Я должен был бежать. Я не хотел ее вовлекать.

— Откуда она узнала про КГБ?

— Наверняка придумала, чтобы отвязаться, а они уцепились. Это их устаривало.

— Но если не было никакого КГБ, что же вам помешало вернуться к Терезе?

Джо пожимает плечами.

— Вы не жалели о своем поступке?

Джо молчит.

— Счастливая любовь! — с чувством произносит Уолтер. — Бросить ее... Ради чего? Побегать под защиту кремлевских стен. Бесстрашный рыцарь! Ах да, я забыл: коммунист должен жертвовать личными чувствами во имя великой общей цели. Я не клеветшу?.. И вот вы бросаете любимую женщину, отказываетесь от всякой борьбы за нее, зато получаете убежище.

Джо обиженно вскидывается:

— Какая борьба? С кем? С электрическим стулом?

— Вы и не пытались узнать, что стало с Терезой?

— Я не мог. Я дал подписку.

— Уже в Москве?

— Да, но это было не сразу.

— Кем же вы объявились там — композитором?

— Нет, мне предложили работу по специальности.

— То есть?

— Радары, приборы наведения.

— Для кого?

— Для авиации.

— «Аэрофлот»?

— Нет, военная авиация.

— Ну и как — получилось? Не стесняйтесь. Нам ведь не нужны технические подробности. И пожалуйста, Джо, оставьте вашу привычку говорить «мы» — это чисто советское. Переходите на американское «я».

— Позвольте мне говорить так, как я привык. Мы делали управляемые снаряды. Делали успешно. Потом перешли исключительно на микроэлектронику, на компьютеры.

— Разумеется, для военных нужд. Морисон прав.

— Ваш Морисон может заткнуться. Несчастливая Америка, если ее охраняют такие лопухи.

Казалось, Уолтер вспылит, но он расхохотался, и это получилось у него вполне искренне.

— Советское нахальство — лучшее в мире! Итак, вы стали работать против Америки, своей родины, которая обучала вас в университете, доверила секреты наших фирм.

— Я работал на социализм.

— Бросьте, Джо, это же отговорка. Шла холодная война, главным врагом Кремль объявил нас, американцев.

— Холодную войну вели обе стороны.

— Но ваше участие в ней было горячее, я хочу вам показать одного свидетеля.

Уолтер подает знак, и на экране студийного телевизора появляется бронзово-загорелый, лет шестидесяти, бритоголовый крепыш, на вид здоровяк, но камера отдалается, и видно, что он сидит в каталке, ноги укрыты пледом. Каталку толкает Уолтер.

— Пару слов о себе, Фрэнк.

— Я, Фрэнк Прайт, был летчиком во Вьетнаме. Теперь это не звучит, но так было, мы честно воевали, как и положено американским солдатам. На вылете меня подбили. Управляемой ракетой. Я выбросился на парашюте. Попал в плен к вьетнамцам. Шесть лет провел в плену. Там обезножел. Военная пенсия. Но Вьетнам есть Вьетнам, хвалиться нечем. Такая мне досталась жизнь.

— Вы слыхали о приезде в Штаты Джо Берта?

— Ему восстановили американское гражданство. Слышал. Может, я чего-то не понимаю. Он ведь создавал ракеты, которыми Москва снабжала вьетнамцев. В сущности, это он помог сбить меня. Из-за него я потерял шесть лет жизни, здоровье и все остальное. Он предатель. Теперь ему собираются дать

пенсию. Нет, что-то не в порядке в нашей стране, если убийца американских летчиков получает такие же права, как и мы. Послушайте, Уолтер, вы что-нибудь понимаете в этой жизни? Меня учили, что предательство — это позор, что нести солдатскую службу под звездным флагом — это почет. Теперь, выходит, все сравнялось?

Экран медленно гаснет. Уолтер молчит.

— Война во Вьетнаме — грязная война, — неуверенно произносит Джо.

— Вы знали, куда идут ваши изделия?

— Нас увлекали технические проблемы.

— Погодите, Джо, вам регулярно сообщали об эффективности оружия в ходе боевых действий, о недостатках, не так ли? Так что вы наверняка представляли, сколько вы сбили наших самолетов. Вы имели за это награды?

— Не мы затеяли эту войну.

Уолтер разглядывает его, как ископаемое чудовище, этакое безобразное, некогда опасное насекомое.

— Прошло столько лет, а вы, Джо, ничего не пересмотрели, ничему не научились, ни в чем не...

Происходит непредусмотренное. Джо вскакивает, наставляет на Уолтера палец точно пистолет.

— Вы сегодня посадили бы Розенбергов на электрический стул? Посадили бы? Отвечайте — да или нет?

— Конечно, нет, — спокойно отвечает Уолтер.

— Потому что законы и взгляды ваши сегодня другие. Какого же черта вы судите меня по законам того времени! Вы не имеете права! Это подлог, бесчестный подлог. Америка была символом империализма. Американская молодежь оплевывала вьетнамскую агрессию.

— Но они не стреляли в своих. Они оставались патриотами, — парирует Уолтер.

— Не произносите при мне это слово — патриот! Что это такое? — Джо почти кричит. — Хотите знать, что такое ваш хваленый патриотизм? Хотите?

— Давайте выкладываете.

— Это убежище подлецов, последнее, к чему они прибегают. Так сто лет назад сказал Лев Толстой.

— Цитаты вам не помогут, Джо. Вы защищаетесь, как будто вы обвиняемый. Вас никто не судит. Судить вы можете только сами себя. И не по нашим законам, а по законам Божьим. Они существуют вечно. И до вьетнамской войны и после. Мое дело помочь вам рассказать о себе, показать беспристрастно, как следовали вы по своему необычному пути. Я вижу, Джо, как вы утомились, не стесняйтесь, вы не привыкли работать перед камерами. Там, в Москве, вы были так засекречены, что никто никогда не видел вас ни в газете, ни на экране. Я не хочу, чтобы потом ваши друзья коммунисты говорили, что я загнал старого джентльмена. Мне интересно видеть вас противником опасным. А может, и не противником...

Уолтер замолчал, испытующе глядя на Джо. На этом эффектно закончилась первая часть передачи, после чего Уолтер пригласил Джо в комнату отдыха, куда принесли кофе с сэндвичами. Джо молча в три глотка осушил свою чашку.

— Вы поступаете нечестно! Я заявляю протест! — сказал он. — Мы с вами, Уолтер, так не договаривались, как вы меня выставляете. Разве это реклама? Вы наносите мне ущерб.

С каждым словом он распался все больше. Как-никак он добровольно вернулся в отечество, которое когда-то обошлось с ним несправедливо, преследовало его ни за что ни про что, он-то ведь все простил... Запоздалые аргументы приходили ему, и было ужасно, что он во время передачи не использовал их. Кто мог подумать, что Уолтер так коварно все вывернет.

— Успокойтесь, Джо, вы можете все исправить в следующей части через четыре дня, — говорил Уолтер. — Главное мы сделали — вызвали интерес к вам. От вас теперь зависит создать выгодное впечатление. Мне кажется, это лучше всего сделать, если вы предстанете как жертва коммунистических иллю-

зий. Расскажите, что они из себя представляли: Хрушев, Брежнев, Андропов, вся эта клика, их генералы, министры.

Выглядеть жертвой Джо не собирался, роль несчастливца не подходила ему, он требовал свою долю почета и похвал. Что знал Уолтер о его жизни, исполненной успехов, озарений, замечательных конструкций, с какой стати он должен перечеркивать ее?

— Поймите, Джо, вы блудный сын, который вернулся домой, — мягко растолковывал Уолтер. — Я был в Эрмитаже. Помните картину Рембрандта «Возвращение блудного сына»? По-моему, лучшая вещь Эрмитажа. Вы помните, как он стоит на коленях перед своим старым, слепым отцом? Вам надо тоже преклонить колени и покаяться.

— С какой стати? В чем каяться? С чего вы взяли, что блудный сын каялся? К вашему сведению, Уолтер, отец встретил его с радостью, велел заколоть теленка или овцу, не помню уж, во всяком случае пир устроил — а вы мне что устраиваете? Америка не следует библейской притче.

Уолтер рассмеялся. Можно считать, что они договорились. А через два дня группа сенаторов, двадцать девять человек, выступила с заявлением, требуя лишить Джо Берта американского гражданства. Джо позвонил Уолтеру. Тот считал, что сенаторы подбавили интереса к следующей передаче, для лишения гражданства законных оснований нет, все будет о'кэй.

— Вы столько лет были Иосифом Борисовичем Бруком, вам заменили биографию, ваши жена и сын не знали, кто вы на самом деле. Кем же вы сейчас себя ощущаете?

— Пожалуй, я больше Брук, Иосиф Брук.

— Из Иоганнесбурга, а не из Нью-Йорка?

— Это была вынужденная мера, меня хотели обезопасить.

— Вас не расспрашивали ваши сотрудники, не пытались уличить?

— В закрытом учреждении не принято расспрашивать.

— Ужасная система. У вас есть родные в Штатах?

— Два брата и сестра.

— И племянники. Что же, вы ни разу не дали им знать о себе?

— Не полагалось. Да и им это могло причинить неприятности.

— Вы ни разу не ездили за границу?

— Конечно нет.

— Не встречались с американцами?

— Ни с какими иностранцами.

— А когда в Москве проходил международный симпозиум по микроэлектронике?

— Мы не могли принять в нем участие.

— Ради чего вы обрекли себя на такую уродливую жизнь? Ведь вы же не были шпионом или резидентом...

— Таковы правила секретности. Конечно, она нам мешала. Но, к вашему сведению, в шестидесятые годы мы захватили лидерство. Мы обогнали американские фирмы. Наша машина имела лучшие показатели в мире.

— Какую должность вы занимали?

— Главный инженер лаборатории. Потом главный инженер центра микроэлектроники.

— Это высокая должность?

— В нашей лаборатории работало около двух тысяч человек.

— Ого!

— А в центре — больше десяти тысяч. Он определял развитие ЭВМ в стране.

— Вы еврей?

— Да.

— Почему вас назначили на такую должность?

— Меня рекомендовал Костас. А его сделали руководителем потому, что он был гениальный инженер.

— Вы сталкивались с антисемитизмом?

- Нет.
- Нигде?

На экране высветились быстрые страдальческие морщинки у Джо на лбу, они набежали и исчезли.

- Нигде.
- Правда ли, что вам покровительствовал Хрущев?
- В какой-то мере да.
- Может, потому вас не трогали?
- Я думаю, что нас защищали наши результаты.

— Благодаря двум американцам была создана советская кибернетика. Правильно я говорю?

Было видно, как Джо покраснел.

— Чушь! Знаете что, Уолтер, то же самое можно сказать и об американцах.

— Не понимаю.

— А то, что американское атомное и ядерное оружие было создано венграми, немцами, англичанами и прочими эмигрантами из Европы.

— Вы защищаете русских, но уклонились от ответа. Итак, вы достигли высокого положения в России, вошли в элиту военно-промышленного комплекса. Зачем вы приехали в Штаты?

— Это моя родина. Меня здесь несправедливо обвинили в шпионаже, меня хотели уничтожить, я хочу восстановить справедливость. Здесь мои друзья, мои родные.

— Как они вас встретили?

— По-разному.

— Вы, наверное, ожидали другой встречи, более сердечной?

Джо как-то неуверенно соглашается.

— Я их ни в чем не виню, — поспешно предупреждает он.

— Позвольте показать интервью с вашим старшим братом.

Мистер Берг-старший появляется на экране в пышном обрамлении седых волос, седой бороды, уверенный в себе, благополучный, примиренный со всей этой суетной жизнью.

— Я никогда не разделял взглядов Джо, думаю, что, если б не казнь Розенбергов, он бы вернулся домой, завел свое дело, у него хорошая голова, которой не повредило образование. Жаль, что с ним приключилась такая беда. Но я не судья своему брату. Я давно уже не знаю, кто прав в этом мире. Мое дело только сочувствовать тем, кто в беде.

Следом на экране появляется младший брат, похожий на Джо, — такое же узкое лицо, залысина, он кажется старше обоих братьев, у него глубокие морщины, угрюмый вид неудачника.

— Когда Джо позвонил мне, я не поверил своим ушам, я подумал, что он звонит с того света. Я спросил его, где он мне выбил зуб. Он долго вспоминал, но вспомнил. Тогда я его признал и сказал: убирайся, знать тебя не хочу.

— За что же вы его так?

— После того как он сбежал, к нам повадились агенты ФБР. Допытывались, нет ли от него вестей, куда он мог скрыться. Несколько лет не давали покоя. Как вы думаете, это приятно? Перед соседями? Я уверен, что моя торговля пострадала из-за этого. Со мною боялись иметь дело.

— Но никаких обвинений вам не предъявляли.

— Что с того? А репутация? Я выглядел ненадежным партнером, которого могут арестовать. Мы переехали в другой район. Покойная жена молила Бога, чтобы скорее прибрал этого лабуха. Он помешал мне большего достичь, я детям не мог помочь вовремя, они мне этого не простили. Теперь Джо появился со своими братскими чувствами. Вспомнил. Да провались он. Пусть его спросят на Страшном суде: где твой младший брат, что ты с ним сделал? Я бы хотел, чтоб его Бог наказал.

Экран гаснет.

— Вините в этом ФБР, при чем тут я! — выкрикивает Джо.

— Хотите еще? Ваших внучатых племянников.

— И что они?

— Они смеются над вами.

— Они бы не смеялись, если б я приехал с несколькими миллионами.

Кажется, Джо обиделся всерьез и не мог этого скрыть.

— Сколько у вас в банке? Примерно.

— Мы не думали о деньгах.

— Вы опять употребляете множественное число. Кстати говоря, вы, лично вы потребовали большой гонорар за эту передачу.

— Еще бы, вы мне приготовили столько неприятностей. В России относятся к деньгам иначе, чем здесь. Мы там куда свободнее. Здесь только и разговору что про деньги.

— Я думаю, к вашей сестре это не относится. Давайте послушаем ее.

— Стоит ли? Будет то же самое.

— Не совсем.

Видно было, что Джо схватил Уолтера за руку, оператор успел крупным планом дать этот жест.

— Не надо, прошу вас. — Он начисто забыл о камере, о зрителях.

— Извините, Джо, я знаю, что вам будет неприятно, но хочется пробить вашу коммунистическую броню. Вы пребываете в излишнем моральном комфорте... Включите запись!..

Крашенные черные волосы и косметика делали ее молодежавой, она была из тех женщин, привлекательность которых остается с ними до конца. Общим с Джо были только толстые добрые губы и размашистая жестикуляция. Она рассказывает, что любила Джо больше всех других родных. Он всегда защищал ее, в этой большой бестолковой семье они поклялись всегда стоять друг за друга. Она научилась делать шляпки, неплохо зарабатывала, давала ему деньги на учебу.

— ФБР знало, что мы дружили, ко мне приставали больше других. Я тоже не понимала, почему он не дал мне знать. Он говорит, что не мог? Но он даже не вспоминал обо мне! Я это знаю. Мой первый муж ушел от меня, мы ссорились из-за того, что я защищала Джо, и с братьями я поссорилась. Я все ждала хоть какой-то весточки от него. Иногда я себе говорила: хорошо, что он избежал тюрьмы. Вы знаете Виви, его невесту? Я убеждала ее подождать, она любила его. Я виновата перед ней, не надо было его ждать.

— Вы узнали его?

— Он стал лысый. Нет, это не мой Джо, он стал совсем чужой.

— Вы отвыкли.

— Нет, у него внутри ничего не осталось.

— Но он же приехал к вам.

— Зачем? Я давно оплакала его и похоронила. Чего он ждал? Дети, внуки объявили мне, что не хотят его знать, дядя-коммунист, дядя, которого хотят лишить гражданства, — им от этого радости не будет. Он говорил, что стал известным специалистом. У него всегда была хорошая голова, но мой сын, инженер, никогда не слыхал о нем. Мне стыдно, что у меня не осталось к Джо даже жалости. Это нехорошо, что я не обрадовалась ему.

В глазах ее слезы, она смахивает их снова и снова.

— Они заставили ее, — сказал Джо. — Не может быть, чтобы Ида такого наговорила. Ее заставили.

— Посмотрите на себя со стороны, Джо. Это там, в России, вы лауреат, автор того-то и того-то. А кто вы здесь? Для вашей родни? Источник новых неприятностей. Гордиться вами они не могут. Нечем. Я запросил городскую библиотеку. Вы не упоминаетесь ни в одном словаре. Даже в советских энциклопедиях нет ни вас, ни вашего друга Костаса. Вы говорите, он отец микроэлектроники. Казалось бы, его имя должно войти в пантеон.

— Он ученый мирового класса.

— Охотно верю. Вы, наверное, тоже. Много ли в России ученых мирового класса? Думаю, что немного.

— Когда-нибудь они отдадут должное Костасу, — пробормотал Джо, после монолога сестры он спит, потерял интерес к передаче. Уолтер победил, но теперь ему никак не удается оживить Джо.

— Сделай вы то же самое для Америки, вы были бы здесь героем, вы были бы обеспечены.

— Вся жизнь я стремился создать более справедливую систему. Разумную, — вяло говорит Джо. — Мы думали, что компьютеры помогут этому.

— Оказалось, что дело в системе, а не в электронике, — говорит Уолтер. — Ваши умные компьютеры не могли спасти социализм.

— Знаете, Уолтер, как говорят в России: еще не вечер!

— Вы задумывались когда-нибудь над притчей о блудном сыне? Куда он возвращается?

— Домой... К отцу.

— А может, к себе? — В голосе Уолтера сомнение, и Джо молчит в раздумье.

— Может, к себе, — осторожно соглашается он. — Вернулся к себе, а меня нет, не могу найти. Ида права: я никому тут не нужен.

— Если б это было так, мы бы не устраивали ваше выступление. — Уолтер хлопывает его по руке. — Мы не хотим вас отвергать. Как сказано было: раскаявшийся грешник дороже праведника. Вы вернулись, вы ищете себя — это уже много. Ваша судьба исключительна, не мудрено, что некоторые люди не могут простить вам, не осуждают их; не старайтесь доказать, что они не правы, на этом пути вы не найдете мира, постарайтесь понять и их чувства...

Он слегка пародировал тон проповедника, но Джо этого не замечал, он был слишком удручен.

— Все началось с маккартизма! Если б не охота на коммунистов...

Уолтер поморщился.

— Это было пакостное дело, но зато мы провели дезинфекцию страны. Вы и ваши друзья были фанатики. Америка убедилась в этом во время суда над Розенбергами.

— Они невиновны! — Ясно было, что тут Джо не уступит.

— Мы с вами не можем разрешить этот спор.

— Не было случая, чтобы суд Соединенных Штатов признал свою ошибку.

— Русские могли бы нам помочь, почему бы им не выложить карты на стол? Пусть они опубликуют материалы дела Розенбергов. Виновны ли они. И насчет других, например Роджера Холла или руководителя М-15. Но русские только болтают о дружественных отношениях. КГБ печет свои пироги из той же грязи. Правда, теперь они готовы продавать прошлогодние секреты. Те самые, за выдачу которых когда-то расстреливали.

— Как говорил Костас, не будем ловить блох, если мы не понимаем идеи. Мы жили и работали, считая себя счастливыми. Удача сопутствовала нам. Мы создавали, мы строили умные машины. Было хорошо. Отсюда, с другой стороны Земли, все это выглядит иначе, постыдно. Вы хотите, чтобы я сказал, что истина у вас? Потому что вы богаче? Я этого не скажу. Я не знаю, где она. — И тут он выругался по-русски, длинно и тщательно.

Уолтер рассмеялся:

— Вот и хорошо. Если вы не знаете, это уже замечательно. Чтобы коммунист не знал, кто прав, — такого не бывало.

Потом Уолтер попросил рассказать о Хрущеве, об Устинове, которого Джо назвал главным милитаристом, потом об Андропове.

— Послушайте, Джо, — вдруг спросил его Уолтер, — а вы понимаете, что происходит?

Джо захолопал глазами.

— Вы понимаете, что вы на Страшном суде?

— Глупости, — сказал Джо.

— Я мог бы добавить к перечню ваших грехов имена тысяч афганцев, уничтоженных вашей техникой. На кого вы работали, Джо Берт? На сатану? Рейган назвал вашу страну империей зла. Ваш вклад в это зло немалый. Бог наделил вас талантом. Кому вы отдали свой божественный дар? Они, эти дяди, слиняли, а вы остались, и вам придется отвечать за всех.

— С какой стати?

— Как вы себе представляете Страшный суд?

— Я атеист. И потом, Страшный суд, насколько я понимаю, это суд Божий. А вы-то какое право имеете судить меня?

Уолтер был доволен, красноносый толстячок с тряским животиком, его веселые казались неуместным, но это-то и производило впечатление, он любил использовать этот прием, о веселых вещах говорил мрачно, о страшных — весело, подмигивая; в передаче с Джо ему удалось своими смешками помешать Джо перейти к серьезной защите. Джо Берт явно не замечал, какая удручающая панорама его жизни развернулась. Горе, которое он причинял людям, его грехи, его преступления, его предательство, отступничество... Где были те, кому он принес счастье? Где они?

Когда он вернулся домой, в Петербург, и стал просматривать видеозапись, толстые добрые губы его дрожали от обиды и досады. Впервые в жизни он видел себя на экране телевизора. Его поразило, что он, оказывается, уже старик: разболтанные жесты, крикливость, развязность, особенно стыдные по сравнению с благожелательно-учтивым ведущим, впечатление невыгодное — растерянность, беспомощные, ненаходчивые ответы. В сущности, он проиграл, не сумел отстоять свою жизнь.

XXXIX

Субботним утром неожиданно-негаданно нагрянули американские гости. Джо был еще в пижаме, мокрый, после душа. Сначала вдвинулось в квартиру брюхо Уолтера, за ним влетела женщина, Джо не сразу ее узнал. С той, прежней Милей она соединялась как бы толчками. Господи, сначала он ужаснулся — как постарела, затем увидел, что эта новая Миля прекрасно выглядит и ей очень идет широкое длинное пальто с красным шарфом. На третьего американца, в ярком пиджаке, он обратил внимание лишь после того, как Миля представила его: Фрэнк Кидд, мой муж. Они прямо из Нью-Йорка, специально к нему, Джо, исключительно ради него, дело в том, что... Далее последовал захлебывающийся от восторга рассказ, как она и Фрэнк смотрели телепередачу и у Фрэнка возникла мысль сделать из истории Джо документальный роман. Они тотчас связались с Уолтером и прихватили его с собой.

За чаем Миля и Уолтер по очереди ознакомили Джо с заслугами Фрэнка Кидда: автор тридцати книг (шесть вышли в бестселлеры), двадцати сценариев, лауреат таких-то национальных и международных премий. Кроме того, у Кидда «опережающее чутье читательского интереса», и если уж он решил взяться за эту тему, значит, можно не сомневаться в успехе.

Мистер Кидд внимательно выслушивал похвалы, иногда жмурился, как кот, которого чешут за ухом. Сквозь прищур, однако, холодно следил за Джо, примериваясь, стоит ли иметь с ним дело. Было ему лет шестьдесят, матово-смуглое лицо, фарфорово-белые зубы — все было прочно, качественно. От его сутулой плечистой фигуры — фигуры человека, привыкшего к сидячей работе, — исходило ощущение мужской основательности, которая, очевидно, и привлекла Милю.

Джо и он придирчиво разглядывали друг друга, и Джо догадался: мистеру Кидду известно про его отношения с Милей.

С тем же вездливим интересом Кидд осматривал квартиру, обошел кухню, спальню, кабинетик, не спросив заглянул в стенной шкаф, где висел нехитрый гардероб Джо, постоял у книжных полок, заставленных пластинками, справочниками, банками с вареньем и зеленым горошком. Дольше всего задержался в большой комнате, где были рояль и мощный стереопроектор. Стены, отделанные крашеной фанерой, тшились придать помещению вид музыкального салона, но Кидду все это напоминало деревенский зал для танцлек начала века. Кидд выкладывал свое мнение не стесняясь и удивился, узнав, что у Джо нет ни загородной виллы, ни квартиры в Москве. Не преувеличивал ли Уолтер значимость этого человека? Не о рядовом ли инженере он, Фрэнк Кидд, собирается писать роман?

— Роман? Обо мне? — Только сейчас Джо уяснил цель визита, его недоумение выглядело несколько глуповато.

Уолтер и Миля тут же бросились растояковывать ему исключительность его жизненной истории. Телепередача была толчком. Кидд подтвердил: передача возмутила его — ну как можно такой потрясающий материал засрать политикой и не увидеть главного? А вот когда Миля сказала, что знает этого мистера Берга, он, Кидд, понял, какие возможности тут скрываются.

Уолтер благодушно оправдывался законами жанра: журналистика требует одного, роман — другого.

— При чем тут законы жанра? — разгорячился Кидд. — Вы профукали суть. Вам лишь бы коммунистов облаять. А вы, Джо Берг, вы-то хоть представляете, в чем суть вашей истории? Нет? Тогда слушайте меня. Два молодых американца, с ними роскошная девка, после бурных приключений попадают в Советский Союз и вскоре благодаря особым обстоятельствам оказываются ключевыми фигурами военно-промышленного комплекса. И все это в разгар холодной войны — такое не придумать ни одному фантасту. Головокружительную карьеру они делают так тихо и скрытно, что ни одна разведка не расчихала. Знаете почему? Потому что невероятно: американцы создали оружие для врагов Америки! — Он торжествующе оглядел всех, принимая безмолвные аплодисменты. — Теперь, конечно, когда вы бросили свой материал на проезжую дорогу, любой может подобрать его. Слава богу, что никто, кроме меня, еще не увидел этого сокровища. Думаете, мне нужно ваше согласие? Ничуть. Изменяю фамилии — и дело в шляпе. Для чего же тогда приехал? Потому что надоело сочинять. Я чувствую: у людей изжога от романов. Проза воняет ложью. Сегодня поразить может лишь подлинность. Она не имеет конкурентов. Без выстрелов. Без суперменов. Подлинные факты, даты, адреса обеспечат этой истории настоящий успех. Нужно, чтобы в основе была правда.

Уолтер раскладывал перед Джо уже изданные шедевры — толстенные, завлекательно-яркие, в золоченых обложках. В этой же серии, поясняла Миля, выйдет и роман о Джо, только вместо полуголых красавиц и пистолетов на обложке будет его длинная физиономия — молодого, симпатичного, как на старой фотографии, распечатанной для агентов ФБР. Стопки таких книг появлялись в книжных магазинах Бразилии, Австралии, Канады...

Мистер Кидд остановил ее — еще не все решено, не будем забегать вперед, он ведь прибыл в Петербург, чтобы приглядеться, принюхаться, прикинуть, годится ли Джо Берг в герои. Не теряя времени попусту, мистер Кидд, человек дела, выпроводил Милю с Уолтером — пусть погуляют по городу, — а сам стал записывать на магнитофон воспоминания Джо. Ему нужны были детали: на какой машине ездил Хрущев, что за кабинет был у Устинова, что ели, что пили, как звали помощника министра... «Точность в деталях — свобода в остальном», — приговаривал он.

Время от времени Кидд прикладывался к виски и, наклоняясь к магнитофону, комментировал: «Голос у Джо крикливый, мгновенно набирает высоту... Из окна видны красные железные крыши... У московской водки зеленая наклейка...»

Потом Джо вывалил из старого чемодана свой небогатый архив. Собственно, это был не архив, скорее ворох бумаг, старых вещичек: значки, похвальные грамоты, концертные программы, записные книжки, морской кортик с дарственной надписью, письма, обломок пропеллера, фотографии, детский рисунок, свиток со стихами...

Кидд, сидя на полу, перебирал бумаги. Вытащил открытку с изображением мечети, попросил перевести текст. Старательным ученическим почерком по-русски Андреа писал из Средней Азии про какого-то эмира Исмаила, жившего в IX веке, которого народ так любил, что после смерти как святой он правил еще сорок лет.

Среди фотографий было много женских. Красотки чувственно улыбались из своей счастливой поры. Кидд обладал странной способностью сразу находить то, что ему было нужно. В руках его оказалась фотокарточка Мили, совсем юной. На обороте была надпись в стихах, которую Джо отказался переводить.

- Я покупаю у вас все, — сказал Кидд.
 - Берите даром.
 - Лучше оформить покупку, хотя бы за символическую цену.
 - Да ради бога.
 - И эту фотографию.
- Джо покачал головой, выставил жесткую улыбку.
- Не продается.

Кидд нахмурился. Так дело не пойдет. Хозяин положения он, Фрэнк Кидд. Они постояли друг против друга. Телевизионный Джо в Нью-Йорке был Кидду понятней — виноватый, растерянный старик, поначалу он еще пыжился, все же бывший советский туз, а потом скис. Здешний Джо Берт его раздражал, в нем не было ни благодарности, ни восторга. Держит себя так, будто это он, Кидд, зависит от него.

Когда вернулись Миля и Уолтер, они еще работали; Кидд записал штук пять кассет, и это при том, что он беспощадно обрывал рассуждения Джо о созданных им технологиях. Как всякого технаря, Джо то и дело сносило на перипетии борьбы за совершенство электронных умников. Философия искусственного интеллекта, тайны микроэлектроники — ничего этого Кидд не собирался помещать в роман. Ему нужны были поступки, сюжет должен развиваться динамично, не давая воли ни правому, ни левому полушарию своих героев, им некогда думать, тем более болтать.

Нельзя сказать, чтобы Джо был хорошим рассказчиком, но Кидд умел спрашивать, одно цеплялось за другое, тянулась и тянулась тонкая нить жизни, и не было ей конца.

Назавтра они опять работали до обеда. Кидд не любил ресторанов, Миля накупила продуктов и приготовила домашний русский обед с борщом, селедкой, картошкой, судаком, арбузом.

— Все же хотелось бы знать, что вы со мной будете делать.

— Фрэнк, — сказала Миля, — Джо имеет право.

Кидд попробовал отделаться общими фразами, но, начав, не смог остановиться, видно, ему и самому было интересно впервые изложить эту историю, импровизируя, радуясь находкам, следя за слушателями, ловя их внимание... Завязка — в Париже. Берт — молодой, многообещающий композитор, автор модных шлягеров, их исполнительница — Тереза. И вдруг судилище над Розенбергами. Его друзей казнят, и он, пылкий коммунист, клянется отомстить Америке за несправедливую расправу. Америка, его родина, обернулась убийцей, воплощением капиталистического зла. Вскоре к Джо присоединились его друзья Костас и Эн, которые бежали от маккартизма.

Кидд смещал даты, менял последовательность событий, придумывал мотивы, по которым Эн решилась последовать за Андреа, секс и политика удачно сплетались у него с характерами. Многие факты он преподносил убедительно, угадывая то, о чем Джо умалчивал. Драки, погони, поединки с агентами ФБР — против этого Джо не возражал, но ему все меньше нравилась его роль — роль мстителя. Чем дальше, тем жестче Джо Берт выглядел коммунистическим карателем, партийным графом Монте-Кристо.

По Кидду получалось, что к русским они отправились для того, чтобы мстить, и русские выразили им свое доверие как мстителям.

Правда, вскоре у Андреа появилась и другая линия. Когда им доверили секретную работу, в нем проснулся честолюбец. По Кидду, у Андреа был комплекс малорослого человека, который хотел возвыситься, получить признание. В чужой, враждебной к американцам стране он поднимается к вершинам технической власти. Вместе с Джо они сумели преодолеть недоверие русских к кибернетике. Получив хорошие результаты, обеспечили себе поддержку военных, а затем и самого Хрущева. Благодаря своим связям с женщинами Джо проник и в круги атомщиков, однако в отличие от своего друга не стремится к власти, для этого он слишком жизнелюбив, охотно уступает первенство Андреа, у них отношения смычка и скрипки. Смычок — Андреа, он воплощает идеи, поданные Джо, он чувствует себя гением. Единственное, чего не хватает

ему, — признания в Штатах, чтобы там знали, кто наточил меч, карающий их. Сам Джо уверен, что строит социализм, они обогнали Америку по компьютерам, так будет и в остальном. Антисемитизм, бедность, воровство, показуха — ничто не смущает его. Он истово верующий коммунист.

Таким видел его Кидд, и это поразило Джо. Те же имена, те же факты — и получалась неизвестная Джо версия его собственной жизни, простенькая, черно-белая, и все люди в ней либо плохие, либо хорошие.

Что касается Эн, то, по версии Кидда, в советской жизни она сумела почувствовать несправие людей, покорно терпящих свое унижение; проснулась в ней и тоска по Америке. На этом ее и подловил КГБ, толкнув в постель к одному американскому дипломату. Потом к следующему. Ее взяли на крючок. Но она повела свою игру, твердо решив вернуться, и в конце концов стала любовницей начальника архива КГБ, чтобы получить доступ к материалам о Розенбергах.

На этом месте Джо засопел, забулькал, Миля приложила палец к губам, умоляя не прерывать Кидда, который описывал потрясение, пережитое его героями после того, как они узнали о виновности Розенбергов; партийная цельность Джо надломилась; стоило хоть раз усомниться — и гипноз его социалистического идеала разрушился. Режим между тем по-прежнему нуждается в таланте Берта, уже прозревшего, но притворяющегося слепцом, ведь система уничтожала зрячих и вообще всех, кто не укладывался в ее рамки. Именно в этом причина смерти Костаса. Костас гибнет, но все-таки успевает освободить Эн. Она уезжает и там, на Западе, открывает тайну трех беглецов. Ее тоже устраниют, однако сделанное ею заявление меняет судьбу Берта: его изгоняют из ВПК, и он, уже в горбачевские времена, появляется в Нью-Йорке. Родные отвергают его. Друзья отворачиваются. Отверженный, презираемый (в глазах американцев Джо — предатель, коммунист), Джо понимает: единственное, что у него осталось, это его биография. И он продает ее. В конце романа, точнее сериала, Берт-Брук едет по русской дороге на белом «кадиллаке». После своего страшного драндулета он наслаждается легким ходом мощной машины, которая осторожно перебирается через лужи, ухабы, колдобины. Кидд — как знаток для знатока — со вкусом описывал достоинства американского автомобиля.

— А как вы узнали, что я автофанат?

— Все русские мужчины мечтают о хорошей машине.

Это была правда. Умиравшая железная кляча двигалась лишь молитвами Джо; изнемогая время от времени, она останавливалась, дрожа от слабости и желания рассыпаться.

— Наши машины — лучшие машины для наших условий, — сказал Джо. Помолчав, он спросил: — И это все?

Кидд налил себе виски, взгляд его потеплел, очеловечился. Биография героя была завершена, бабочка вылезла из кокона, вот-вот расправит крылья и взлетит.

Джо сидел сгорбившись — сморщенная оболочка, использованная, опустевшая, и было странно услышать такое решительное «нет!». Нет, Розенбергов он Кидду не уступит. Все что угодно, но не это. Они не были шпионами. Документальных улик нет. Выдумка Кидда про архивные материалы — вздор! Своим участием Джо не хочет подтверждать клевету.

Кидд не уступал, ему нужно, чтобы идея мести потерпела крушение. Он не понимал, какого черта Джо упрямится. Розенберги все равно останутся в истории советскими шпионами. С этим свыклись, и никто не будет ворошить это старье.

— Я с этого не сдвинусь, — упрямо стоял на своем Джо.

Уолтер осторожно поддержал его — не стоит лезть в дело Розенбергов, вокруг которого до сих пор идут споры.

Образ Эн тоже не устраивал Джо — нельзя превращать ее в шлюху. Если у нее что-то бывало, то совсем по-другому, она была свободным человеком, и КГБ тут ни при чем.

— КГБ ни при чем? — Кидд усмехнулся, и они все трое переглянулись.

- Джо, ты разве не знаешь, что стало с Эн? — спросила Миля.
- Она уехала из Нью-Йорка в Германию со своим художником.
- А потом... Она покончила с собой. Ее затравили.
- Откуда это известно?

Уолтер объяснил: вскоре после телепередачи к нему явился один русский, отрекомендовался бывшим сотрудником МИДа, каким-то образом он остался в Штатах, и выложил кое-что про Костаса, Берта и Эн, в частности о ее романе с художником. Уж он-то знает, как она получила визу на выезд. Весьма пикантные подробности. По просьбе Кидда Уолтер записал показания бывшего мидовца на магнитофон, за что тот потребовал, кстати, триста долларов.

— Дорогой Джо, вы не можете всего знать о своих друзьях, — успокаивал Уолтер. — Да и о самом себе вы многого не знаете. Кстати, этот тип утверждает, что за приличную сумму готов раздобыть нам копию вашего досье. Но Фрэнк не любит связывать себя фактами. Он писатель, а не историк. Какая вам разница, снимала Эн свои трусики для троих мужиков или для пятерых. Она делала это охотно — вот что важно Фрэнку.

— Вы недооцениваете Советскую страну, — говорил Кидд. — Здесь возможно все. Это идеальное поле для любых авантюр.

— Что конкретно тебя не устраивает? — удивилась Миля. — Самоубийство Эн подозрительно, об этом уже писали немецкие газеты. А тебе разве не приходило в голову, что и мой дядя как-то слишком вовремя умер? Как раз перед тем как ты должен был получить от него бумаги. Инфаркт Андреа тоже устраивал чересчур многих.

— Заткнись! — вдруг рявкнул Кидд. — Вы оба с Уолтером заткнитесь! Мне не нужно, чтобы Берг знал то, чего он не мог знать. Не портите мне его.

— Фрэнк, не сердись, — сказала Миля. — То, что ты придумал, по-моему, великолепно.

— Ничего похожего на ту туфту, которую выпекают о большевиках, — подтвердил Уолтер. — Даже в таком сыром виде это серьезная вещь.

И он предложил выпить за здоровье Джо, который еще не понял, что ожидает его, когда его биография разойдется по всему миру, когда она станет легендой.

— Биографические книги имеют успех, — доказывала Миля.

Джо потирал шею, морщился, вздыхал, поглядывая на свое блистательное будущее.

— Тебя что-то мучает?

Он смотрел на Милю как глухой. Миля перешла на русский.

— Скажи что, и я его уговорю. Можно обусловить.

Но вряд ли он слышал ее.

— Видишь ли, я все еще благодарен России. Я не считаю ее лучшей страной. Но если бы...

Раздался звонок в дверь.

Их было трое — Алеша Прохоров, Виктор Мошков и Марк Шмидт. Хорошо поддатые, они приехали с прощального обеда. Давал его Марк по случаю отъезда в Германию с семьей, навсегда.

Джо представил американцам своих сотрудников. Перейдя на английский, они дружно приветствовали знаменитого писателя, утверждая, что читали какой-то его роман, какой — не помнят, но потрясающее произведение, из тех, что неразличимо слились с Шелдоном, Ле Карре, Кларком и прочими классиками триллера.

Марк захватил с собой бутылку водки и большую речь о Джо, своем наставнике, учителе, создателе Золотой Эры, неистощимом источнике идей. Заключил он ее, исполнив по-русски «Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья...» в знак любви к родине, пусть и безответной. Алеша сообщил, что его жена тоже не прочь уехать, дескать, спешит, пока есть спрос, а он не согласен, его поставили руководить лабораторией, и он не имеет права покинуть корабль.

Виктор по-хозяйски разыскал в шкафу банку соленых огурцов, утверждая, что лучшей закуски для водки наука не нашла, достал какие-то консервы, название которых никто не мог перевести.

Пил Виктор с таким аппетитом, с таким прищелкиванием, кряканьем, подмигиванием, что соблазнил и американцев.

Мистер Кидд ошутимо захмелел, хлопал русских по плечу и спрашивал, не считали ли они, что Джо Берт шпион. И догадывались ли, что Джо приехал не из Южной Африки, а из Нью-Йорка, что оба их шефа — американцы и совсем не те, за кого себя выдавали.

— Прямой он мужик у вас, — обратился Виктор к Миле по-русски. — Никого не стесняется.

Разъяснил Кидду, что шпион шпиону рознь: советского, дескать, называют разведчиком, а капиталистического — шпионом, но и те и другие ни в чем толком разобраться не могут, воруют что ни попадя. Иосифу же Борисовичу незачем было воровать, он сам мог все придумать и сделать своими руками. Ну а начальство, оно всех иностранцев считало шпионами — такая была установка. Его безразличие к проблеме шпионства расстроило Кидда. А тут еще и Алеша спросил: неужели Кидд и впрямь задумал шпионский роман? Ради этого не стоило приезжать. Шпионских романов тьма.

— Наши же учителя — совсем другое месторождение.

— Что вы имеете в виду? — не понял Кидд.

Алеша подмигнул ему:

— Сами знаете, с какой стороны хлеб маслом мажут.

Но Кидд по-бульдожьки помотал головой, не отпуская его.

— Нет, вы уж сформулируйте...

— Как я могу вас учить... Вы в этом генерал, а нам в армии старшина доказал, что с нами интересно разговаривать, когда мы молчим.

— А все же как вы их видите?

Алеша встал, поднял стакан с водкой, держась за него как за столб. Он рассказал, как двое молодых мечтателей приехали строить социалистическую систему в Советской стране. Они свято верили в ее идеалы, и просто невероятно, сколько они сумели сделать. Андреа Картоз был Моцарт микроэлектроники, а Иосиф Борисович — ее Гермес («Нет, он Орфей!» — запротестовал Марк). Они — дуэлянты, бросившие вызов и Америке и России, их генералам, секретным службам, правителям. И если они американцы, то они Великие Американцы! Да, участвовали в холодной войне, но их талант не позволил стать этой войне горячее. Они восстановили достоинство и права оболганной кибернетики, сократили сроки нашего отечественного позора. Они сражались с нашими долдонами, рискуя всем. Они миссионеры. Америка может гордиться ими.

— В вашем небогатом пантеоне их имена будут сиять. У вас не много американцев, которые помогали другим народам. Кто у вас там, в пантеоне, — генералы, президенты, миллиардеры?..

Захмелев от водки и пуще от своей речи, Алеша со слезами на глазах благодарил мистера Кидда за намерение открыть американцам глаза.

Виктор прошелся насчет американской науки. До сих пор ее двигали русские эмигранты, а тут американские эмигранты творили русскую кибернетику.

Уолтер принялся было защищать американские позиции, но ему предъявляли имена русских, работавших в Штатах: Зворыкин, Бахметьев, Пригожин, Питирим Сорокин, Подлесский, Гамов.

— Позвольте, позвольте, — кричал Уолтер, — при чем тут русские, они все американцы русского происхождения, все американцы имеют какое-то происхождение!

— Глупейший спор, — определила Миля. — Кто такой Иосиф Борисович? Американец русского происхождения. Он же — еврей американского происхождения. А здесь, в России, русский американского происхождения, точнее русско-американский еврей, имеющий американское происхождение, которое в свою очередь имело российское происхождение...

— Сцена из жизни отдела кадров, — определил Марк. — Вычисляем, у кого сколько процентов. А сперматозоид-то был один-единешенек, беспас-

портный. Наши ни за что не согласятся считать каких-то америкашек праотцами отечественной кибернетики.

Виктор разъярил мистера Кидду: из Джо у него должен получиться не супермен, не шпион, а герой интеллекта, воплощение торжества таланта над властью, партийными указюками, стукачами, чинушами. В лаборатории Картоса боготворили, а Джо просто любили.

— Но он же коммунист, — удивился Кидд.

— Последний советский коммунист, оставшийся идейным коммунистом!

Уолтер захохотал:

— И тот — американец!

Кидд поднял руку, требуя внимания.

— Ваши великие — это не наши великие. Американец, который работал против Америки, — какой же это герой? Да, Америка оттолкнула своих сынов. Сделала их врагами, мстителями. Но почему? Вот вопрос! Я хочу рассказать о страшной энергии заблуждения. Не мое дело находить выход, мое дело — загнать читателя в тупик, чтобы он почесал в затылке и сказал: «Ну и сукин сын этот Кидд! Неужто он прав?»

Когда он кончил, Уолтер и Миля заплотировали. Алеша же настаивал на своем: Джо великий человек, уже потому великий, что вернулся в Россию.

По мнению же Уолтера, никакой доблести в том, что Джо вернулся, не было, ибо не остался он в Штатах только потому, что ни родные, ни друзья его не приняли.

— Идиоты, — пьяно оборвал его Кидд. — Они снова отталкивают человека.

Неизвестно, слышал ли Джо их перебранку. Он отключился. Воспоминания отделяли его ото всех.

Уолтер жаловался, что Джо не радуется будущей книге, капризничает, не ценит такого счастливого случая. Да и остальные наседали, уверяя: надо увековечить память Андрея Георгиевича, надо заявить миру об их лаборатории, об их существовании — разве можно отказаться от такой рекламы?

— Вы не имеете права отказываться, — убеждал Марк.

— Такой роман для Марка — лучшая рекомендация в Германии, — пояснил Виктор.

— Поздно делать научную карьеру, лучшая часть моей жизни кончилась. Ах, Иосиф Борисович, не лишайте нас бессмертия, вы наш единственный шанс остаться в истории.

— А может, у него уважительная причина? — сказал Алеша.

— Даже по уважительной причине смешно отказываться от долларов, — хмыкнул Виктор.

Уолтер кричал, что вместо благодарности, вместо делового разговора идет какая-то муть, неизвестно, чего хочет этот вздорный старик.

Говорить в таком тоне об учителе было здесь не принято. Уолтера осадили. Виктор с подчеркнутой почтительностью обратился к Джо — вероятно, у него имеется свой вариант интерпретации, свой интерфейс, свой инфракон, подобно всякому интроверту...

— А как же, — сказал Джо, — имеется. Мне ни импортный вариант, ни экспортный не подходит. Один слишком мал, другой велик.

— А вас никто не просит примерять сюжет на себя, — заметил Уолтер и ловко прошелся насчет костюма, который висел на Джо. Человек сам себя не видит, он видит только других. Почему Джо полагает, что ему виднее? Может, из Америки виднее? Оттуда многое в русской жизни виднее. Он польстил ученикам мистера Берта, дескать, только они и могут воздействовать на упряма, и не следует думать, будто мистера Кидду можно навязать истолкование.

— Свободу мистера Кидду! — провозгласил Виктор.

И ученики тут же заверили, что берутся уговорить учителя.

— Ваша книга вставит большой фитиль нашим богдыханам.

— Вы не любите их? — полюбопытствовал Кидд. — У вас хороший народ.

— Люди у нас хорошие, а народишко попорченный.

Гости галдели, опять позабыв про Джо. Впрочем, и он позабыл о них. Этот Берт умел каким-то образом исчезать из виду, погружаясь в свое. До сих пор это свое принадлежало лично ему, теперь в его прошлом хозяйничали другие. Ребята, как оказалось, знали лучше, чем сам Джо, и что он делал, и каким он был, и Кидд знал и про него и про Андреа — знал то, чего не знал Джо Берт.

Никто не заметил, как Миля увела его на кухню. Джо сел там верхом на табуретку, лицом к окну, за которым шел дождь, с мокрого клена слетали последние листья, их красные ладошки помахивали ему.

У Кидда действовали какие-то гомункулы, не похожие ни на Андреа, ни на Эн, и он, Джо, неузнаваем. Где-то в стороне осталась их действительная жизнь со всеми ее страхами, глупостями, праздниками. Обидно: откуда-то прилетел чужой человек и за два дня во всем разобрался, все обозначил, расставил, каждому дал роль, и выстроилась острая, занимательная история.

— Итак, супруги Кидд покупают мою жизнь, — сказал он. — Выгодная сделка, а?

Миля помолчала, потом подхватила его тон:

— Выгодная для тебя. Мы-то покупаем сырье. Россия, как всегда, продает только сырье.

— Наконец-то я пристроил свою биографию. Отделался от нее.

— Не беспокойся, она попала в хорошие руки. Ты всегда сможешь внести поправки.

Если б он знал, что следует поправить.

— Представляю, какого из меня сделают цветастого попугая. Твой муженек придумает мне текст, и я буду повторять его.

Миля подошла, повернула его к себе, положила руки на плечи.

— А ты хочешь, чтобы Фрэнк рассказал все как есть? Зачем? Уолтер это попробовал...

Он никогда не оглядывался на свое прошлое, не представлял, как оно выглядит со стороны. А теперь все они, чужие, читали письма его жизни, и лишь один он не мог расшифровать ее тайный смысл. Куда вела его фортуна, зачем появлялась она в крайние минуты, предостерегала, не позволяла сбиться с дороги, уберегла в Париже, спасла в Хельсинки, потом в Праге? Был же какой-то умысел в ее заботах? Может, ему что-то надлежало выполнить. Выполнил ли он? Господи, неужели ему не дано узнать об этом? Он никогда не видел ее лица, она возникала из ниоткуда, выдавая себя шелестом туники, и исчезала.

Руки у Мили были жилистые, руки увядшей женщины. Он снял их с плеч, погладил, вспомнив, как Виктор шепнул ему: «Вкусная бабенка, вполне...» Он не испытывал к ней ничего, кроме жалости, и от этого жалел и себя.

Низкий хрипловатый ее голос читал:

Зачем душа в тот край стремится,
Где были дни, каких уж нет?
Пустынный край не населится,
Не узрит он минувших лет.

Глаза ее наполнились слезами. Она с трудом сдерживала их.

— Хорошо, что мы увиделись.

— Я очень изменилась?

— Ты была девчонкой, а стала красивой женщиной.

Она благодарно ткнулась ему в плечо.

— Вот увидишь, все получится. Спасибо, что ты согласился. Я так рада. Все же какая-то польза и от моей жизни.

Она вытерла слезы, взяла кофейник, пошла к гостям. Фигура ее вытянулась, заструилась, не хватало только туники.

АВАЛИАНИ — ГЕРШУНИ

Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стергут — и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастья и гроба...

Эти два пушкинских ангела, пройдя сквозь какие-то невозможные, неведомые людям превращения, оставили, кажется, свой след на страницах этой публикации. Палиндромы-перевертни. Слепая речь, бегущая навстречу речи зрячей. Темный или светлый бред самого языка?

Бывают странные сюжеты. Редакторы отдела поэзии до сего времени не только не были поклонниками этого безнадежного, как им казалось, занятия — искать в переворачивании слов какой-то смысл, — они даже бездумно отмахивались от него: так, забава какая-то. Но когда на стол МБ спланировало откуда-то с неба несколько листочков с фантазиями Михаила Горелика, очарованного сказочностью открывшегося ему пейзажа, — ах, где он его только увидел! — ей ничего не оставалось как ахнуть.

Горелик писал о каком-то Авалиани, страстотерпце, рыцаре языка, добытчике диковинных словесных кристаллов. Кто мог бы подумать, что Авалиани существует на самом деле! В один действительно прекрасный день дверь отворилась и вместе с облаком московской метели в вихре сверкающих снежных звездочек появился некто — царственный и печальный. Он сообщил ошарашенным МБ и ОЧ, что он не только литературный персонаж весьма уважаемого им Горелика, а настоящий Авалиани.

Мученик и возлюбленный этого странного жанра, кротко привязанный к самому процессу писания, написания букв (о, Гоголь! о, чистейший, бессмертный его герой!), потомок грузинских князей, снежных сванских высот, Дмитрий Авалиани оказался еще и просто ни на кого не похожим, никому не ведомым поэтом, чьи стихи редакторы отдела поэзии намереваются опубликовать в одном из будущих номеров журнала. Но все это открылось потом.

ОЧ был, естественно, более осторожен. Всмотревшись в имя своей собаки, он с негодованием обнаружил, что и оно охвачено все той же тайной.

Потом, много позже, беседуя о разных вещах, в отделе поэзии стали поговаривать о непостижности этого безличного жанра, подобно вещи в себе, тянущегося в недрах как бы еще мертвого языка. ОЧ даже привиделось нечто о «еврейском» письме — справа налево, несущемся навстречу привычному европейскому письму, а МБ — о таинственной обратимости времени. Да-да, бывшее, может быть, и вправду сбудется опять!

У тени или мафии фамилии нету — вычитали МБ и ОЧ у подаренного им вот так, задаром, Авалиани — и изумились тому, чтоб провецал им сам язык. Он подтверждал вполне бесстрастно, но твердо, что имя и сущность — это одно, а те, кто, в сущности, сущности не имеет, пусть о себе ничего и не воображают: у тени или мафии фамилии нету! От безмятежной, бессмысленной забавы повеяло, кажется, священным ужасом: да ведь это Голем, глиняный истукан, гомункул, говорящий человеческим голосом, Голем с буквой во рту!..

И тогда явился Гершуни. В громах и молниях голубого летнего дня, в облаке тополиного пуха или какой-то другой цветущей поземки... Рой бабочек легкомысленно выпорхнул из его рукава — Гершуни извинился и стал доставать оттуда пословицы. Известные и малоизвестные русские пословицы, которые — без единого гвоздя соединяясь друг с другом — вдруг стали провозглашать нечто совсем уж неожиданное. И застучали, посыпались с верлибры (незабвенная «глокая куздра»!): веселые тексты, начиненные невыразимыми словесными корнями... И уже потом, потом заискрились перевертни и выкатилась на свет, вывернувшись каким-то огненным колесом невероятная палиндромная поэма «Тать»... В ней жгут усадьбы, грабят, топчут, свищут,

мстят, огнемечут... В ней разливается потоп всемирный. Говори, миров огнеметатель! И мирогонитель говорит: тьма обретает голос.

Что это? Колдовской наговор самого языка? Пляшущие на конце иглы бесы хаоса, выпущенные подземным лингвистическим чутьем на мгновенную свободу, но и запертые, запертые внутри строки? Так пусть же они там и останутся!

Слово окликает слово, чувство — ответное чувство, где-то в поднебесной Сванетии стронулась с места хрустальная льдинка. В тонкой карнавальнoй ауре эссе Горелика духи культуры откликаются на домашние таинства словесной игры: Розанов, Шестов, Тертуллиан, Лесков. И вот уже Гоголь, его музыка в магическом извержении поэмы Гершуни, и вот уже — струна! — и отступает, растворяется, даже в безличной стихии языка, — отступает, растворяется Тать, тьма, рок, ужас, зло... И кажетсЯ, сам воздух, сами камни вопиют, жаждут, молят:

Меня истина манит сияньем...

Теперь придется признаться: все, о чем здесь рассказано, — совершенная правда. Остаются лишь бесчисленные подробности.

Когда в легендарные времена легендарный грузинский царь Иракий воззвал перед решающей битвой к своим воинам, конечно же, нашлись волонтеры, рискнувшие тайно взять головокружительную высоту — с тем чтобы проникнуть в крепость, занятую турками. Они-то и получили это влажное, граненое, счастливое имя — Авалиани. То есть первые.

Род Гершуни тоже обнаруживается в истории: возникает из тьмы революционного террора острый профиль эсера Григория Гершуни — покусителя, ниспровергателя, беглого каторжанина, положившего начало семейной традиции состоять в политической оппозиции властям.

Дмитрий Авалиани, спустившийся с высоты ослепительных горных снегов и несущий пожизненно всю печальную тяжесть этих оставленных вершин, и Владимир Гершуни, чудом — как и все, кто вернулся, — восставший из мрачных пропастей земли, умудрились встретиться здесь, на воздушных путях поэзии. И оба с крыльями и с пламенным мечом. Но мертвый язык и безличное, необходимое слово становятся в их устах личным, живым и свободным.

М. БОРЩЕВСКАЯ.

МИХАИЛ ГОРЕЛИК



ВВЕДЕНИЕ В АВАЛИАНИНЫ КАМНИ

Известный только узкому кругу собратьев московский поэт Дмитрий Авалиани малопечатаем и не особо этим обстоятельством удручен. Он слишком поглощен слаганием (узрением? созерцанием?) стихов, чтобы стать любимцем публики. Как гном-рудознатец в подземных пещерах, не потревоженных шумом политической суеты и уличного движения, он добывает диковинные кристаллы-палиндромы, во глубине руд вопрошает, и палиндромы отвечают ему истинную языковую правду.

Кто не баловался филологическим шукарством под звездой Азора? Гори пирог! — выкрикнул мой сын, и эхо его восклицания летало, мелодично пощокивая при легком ударе о кухонные стены, на глазах теряло в объеме, бледнело, пока наконец не исчезло вовсе, вызвав легкое смятение в духовке. Впрочем, и это уже совсем не шукарство — что же говорить тогда об Авалиани, вдохновленном непостижным уму виденьем симметрии мира?!

Авалиани слагает из палиндромов стихи и поэмы с завораживающим, неповторимым звучанием, которое только и возможно благодаря их уникальным акустическим свойствам, — я покажу (увы, изъяв из целого) лишь бусинки его ожерелий, лишь отдельные камни: посмотрите, как преломляется в них свет, как они тверды, и прозрачны, и звучны!

Взор его обращен к вечному, к метафизике (часто религиозной), и в то же время в нем вспыхивает вдруг единственность преходящего момента, упоение существованием:

Мир — зрим?
или
Мир — грим?

Вал снов — звон слав.

Я и ты — боги. И иго бытия.

О, тело! О, лето!

Роз вид жалок — укола жди, взор.

Ад я лишил яда!

А вот, взгляните, романсное:

О, кони! До Яра! За город!
Дорога. Заря. Одиноко.

А вот, взгляните, пословица — тут, ежели не научен, про палиндром и не подумаешь (впрочем, это фирменный знак Авалианиных миниатюр):

Дорого небо, да надобен огород!

Надобен — стихи-то не кормят! Но сам Авалиани, не озабоченный огородом в озабоченной огородом стране, живет, яко птица полевая и лилия небесная.

Выверенные и расчисленные структуры его палиндромов не остаются, что как бы априори угрожает им, чисто интеллектуальными конструкциями, но преобразуются в улыбку, печаль, благородный пафос и лирику.

Напротив, отвлеченный интеллектуализм — враг его музы — постоянно побуждает негодование Авалиани. Неожиданный наследник Шестова, он не устает клеймить своего (личного) врага, в сарказме и в печали множит его имена: «норма», «анатом», «мерило», «довод», «Ганс».

Ум — ад Адаму.

Ум роняю — не ценю я норму.

Муза размотана — довод-анатом за разум.

Ганс обругал абсурд: рус-балагур бос, наг.

Здесь Лесков неожиданно братается с Тертуллианом, а евангельское блаженство при легком изменении освещения естественным образом переходит в блаженство Ивана-дурака. Да еще за эту ниточку вытягивается непремѣнный на все случаи русской жизни Розанов с задушевной его идеей употребить достославный немецкий ум для аптечно-рудниковой российской надобности — взамен же научить «Гансов» слагать сказки, музыканить, а может, даже и молиться.

Голость, босость и в небрежении пребывающий «надобный» огород — плата за балагурство и музыкантство. С другой стороны, числящийся за чепуху и абсурд балагурство при пустом брюхе «Ганс», не имеющий никакого решительно представления о святости, в каторгу что-то не торопится. Но Авалиани настаивает на чепухе, то есть на том, что есть чепуха в глазах «Ганса», но в глазах самого Авалиани дороже всех надобных огородов.

Ах, у печали мерило, но лире мила чепуха!

Господи, какое дыхание! Золотой листок русской классики!

Обращенность к вечному, напряженное вслушивание в язык, в его тайну, которую он должен же высказать в магическом кристалле палиндрома, дает в Авалианином стихе особую прелесть тому, что здесь и сейчас. Страсти улицы — отстраненные и остраненные — диковинно преобразуются в его минералах.

Историософские споры:

Сор повис у роз — о Руси вопрос.

Лубок:

Я рад, ус огладив: я видал Государя.
Мир ему. Шабаш умерим.

Улыбка над модной религиозной неумеренностью, над восторженным прекло-
нением пред вознесенным на облака харизматическим лидером, над упоенным же-
ланием избавиться от собственной свободы:

В облаке поп — опека лбов, —

по созвучью неумолимо наводящее в памяти лоб толоконный.
Вариация той же темы:

А дебилов томит — им от воли беда!

И далее вот в одном четверостишии Авалиани завязывает крах империи, сек-
суальную революцию, кризис веры, кризис традиционных церквей, политическое
мельтешение и экологический кризис:

С кесарем — конец; оценок мера — секс.
С семенем ток — к отмене месс.
Дух велик масс, а с самки лев — худ.
Туп актив болот, смогом стол обвит — капут!

Удрученный Авалиани живописует сцену капута:

Скоблили сонно дам. Мадонн осилил бокс.

Но, с другой стороны, если и осилил, то уж, во всяком случае, вовсе не на той
территории, на которой владевает Авалиани. Много лет назад мой покойный
тесть, восхищенный виртуозностью поэта, отсалютовал ему:

Гор один аил Авалиани дорог.

Наследнику грузинских князей московскому поэту Авалиани действительно
дорог один аил. Совершенно не случайно, что этот аил в горах, а горы — в Авали-
ани. В этом «одном аиле» мадонн никогда не осилит бокс, в нем царствует небо, а
не огород и блаженная чепуха (полное нерационализируемого смысла слово), не-
мотствуют мерила и нормы, а болота и смог созерцаются как не нарушающая гар-
монии часть далеко лежащего внизу пейзажа!

ДМИТРИЙ АВАЛИАНИ

ЯРОК, СКОР — Я ИДУ БУРЕВЕРОМ

Рад я себе но били меня
я не мил ибо небес я дар

Иль ты, булат, — суд нам
о кто я?
От команд устал
убить ли?

Ищу пути от слова идущие
в Еве ищу
диавол стоит у пуши

А рдение роз во всем,
и цимес во взоре, и недра...

Венер хотят, охренев

Лев с ума даму свел

Яро мститель летит с моря

Гоним яйцом, эмоциями ног

Яиц келеен вид
но коз и баб из окон
дивнее лекция
О локоп
он около

Ах я Ренуар
фиолетово тело
и фрау-неряха

Жар и мир,
бедолага Шагал,
о дебри, мираж

Ворожа, мелет ворон и мелет
вакса ли ночи?
Бред или лидер?
Бич он и ласка
в теле миноров
в теле мажоров

Бах увязал
в себе нити небес,
влазя в ухаб.

Ах амен —
не Римана мир
не Маха

Логик и дик и гол

А логика — тъма уз,
а заумь таки гола

Тот или тот
нам атаман —
шелк или клеш,
АББА,
наган?

Лавок сотни — не сеновал:
шутка, факт, ушла —
Есенин тосковал

У тени или мафии
фамилии нету

Ах рано мода нам ума
надо монарха

Я ересь тучи лет ел
и новым ум умыв
они летели чуть серея

Я ем учено, не чумея

Ем, увы, в уме

Дыр зван из нови
вонзи — навзрыд

Зов ангелов: о Русь!
Сурово лег навоз.

Так Азии потух утопии закат

Драил ли, мял,
усек ли: мы — тли?
Мил ты милке,
суля миллиард

Наугад же даны нам
утром юмор, туманы,
надежда — Гуан

Да сияет азарт в азиатах!
И хата, и завтра затея и сад

Воде — душе, топям одури,
лесу небес
в себе несущи лиру
дом я потешу дедов

Да, нет — идите в торг и ад
а игр ответ — идите над

Дар Гете — в свете град

Тише, разум,
Муза решит

Море могуче — в тон ему шумен ответу Гомером
Море, веру буди — ярк, скор, я иду буревером

ВЛАДИМИР ГЕРШУНИ



СУПЕРЭПУС

Сочинитель перевертней независимо от собственного желания не ведет за собой слово, а сам идет за словом, как за сказочным клубком... Работая в этом жанре, автор почти никогда не знает, куда катится клубок. Зацепившись за какое-либо слово, он и за минуту не предвидит, каким оно рассыплется спектром, — здесь играет некая радуга-калейдоскоп, в ней то и дело перемешиваются все цвета...

...В период триумфального шествия нашей политпсихиатрии (1969 — 1974 годы) автор убедился, что для здорового человека, надолго помещенного в желтый дом, составление перевертней — лучший способ спастись от сумасшествия. Эти упражнения, интеллектуальные, почти как шахматы, и азартные, почти как карты, до отказа заполняют досуг, стерилизуют сознание от всего, что могло бы ему повредить, перестраивают структуру мышления таким образом, чтобы оно было постоянно и прочно избавлено от изнуряющей его губительной заикленности на ближнесушных проблемах, которая для зэка спецпсихтюрьмы может стать причиной духовной, моральной, а то и психической катастрофы. В отличие от обычных тюрем в желтой тюрьме человек не только заживо погребен, но погребены и его мысль, его дух — в той обстановке беспросветного, идеального бесправия, которую не пробивают даже активная поддержка и защита извне. Там постепенно исчезает желание и способность к чтению, адского напряжения ума требует писание даже коротких писем. Деформируется восприятие реального, и сюрреалистическое, кафкианское делается доступным и близким — но не так, как для ребенка волшебная сказка, мобилизующая хоть небольшие усилия воображения, а так, как во время бреда галлюцинаторные образы, в реальности которых больной не сомневается... В этой атмосфере Босх и Дали убедительнее Репина, Бодлер читается так же легко, как Михалков... Мировосприятие, порождаемое желтой тюрьмой, обрывает на модернизм.

Я все это рассказал, чтобы объяснить, в какой творческой атмосфере (это может разумеется и в кавычках, и без кавычек) проходили мои занятия перевертнями...

ТАТЬ

Отрывки из поэмы

.....
 Нам атаман,
 как
 иерей,
 мир указал. А закурим —
 мир озарим и разорим!
 Миру курим
 мы дым!
 Ужас — как сажу
 метем!
 Яро горя,
 беда с усадеб
 тень холопий полохнет...

Миру душу дурим!
 Мишуру рушим!
 Отчины — ничто!
 Мир обуян — гори! Пир огня — убор им!

Мори пиром!
 Уничтожь отчину! —
 Вознесен зов,
 зов к силе. Пели сквозь
 топот
 и рев двери,
 ярость соря!

О, до
 жути пир хмелем хрипит уж,
 и смеемси,
 аки на пиру до одури паника,
 и харь пот, рев. И носились они, вертопрахи,
 и князь тарашил, ища рать, зенки:
 «Ущерб обрещу!»
 Яра харя,
 как
 у худого духу,
 отупел сослепу-то!
 А рать стара.
 Лелеет ее Лель,
 Лель одолел.
 (Или опоили?)
 Но стереть сон
 можем мигом!
 Но сметем сон —
 да в ад!

.....
 Ад — жажда!
 Ад — еда!
 Туда пира цари падут —
 ада ртов отрада!
 Их и
 давили, в ад
 маня, ров дворянам
 вырыв,
 умереть в терему
 велев
 им. А чем велев? Мечами!
 Им, аду пира, дари пудами
 и не цени
 вора даров!
 Мир обуян — гори! Пир огня убор им
 несет, мир им тесен!
 Отчины — ничто!

.....
 Не вилы — ливень
 сено понес
 и мял емшан со сна шмелями
 и маки с усиками.
 Се, воя, с ливня пьян, вился овес,
 оторопело поле порото,
 оно
 мокло волком
 и ныло. Мечут в туче молыньи,
 моргая, а гром
 мир оглашал: «Горим!»

Я славен! — гневался. —
 Я Илия!
 Яро в туче лечу, творя
 потоп
 ада пен, горимир огнепада —
 иду, гроз вперив свиреп взор!» Гуди,
 летатель
 гор! Ветра, жарьте в рог!
 Лети, но гори, мирогонитель,
 и, опьянев, звеня, пой!
 Небу бубен
 и радугу дари!
 Иди!
 «И иду!» — Буди, и
 дебри, мир бед,
 как
 тень гор, дрогнет!

.....
 Иди
 и потопа
 лета темень! Говори, миров огнеметатель!
 Рок, сила! Шал и скор,
 носясь, он
 море в узилища тащил изувером —
 потоп
 он носил, а тополя лопотали сонно
 и ливень гневили.
 ...Но светел, улетев, сон
 овил тополя вяло, потливо,
 и лавы бурь убывали.
 И еле с елей
 течет,
 и лапы ссыпали
 уже долгих игл одежду.
 Ясень умер, дрему неся
 и лень, и синели
 тучи, чуть
 моросся сором.

.....
 Лари бояр я обирал —
 и на день мне дани!
 И зову юного, гоню: «Увози».
 Но вон
 еще,
 уведя, деву
 тащат.
 Ахти! Журка та кружит, ха!
 Косы, венец — в цене высок.
 И ребята: «Батя, бери,
 от мира дарим-то!
 И бей ее, и...
 и поркой окропи!»
 И, обругана гурьбой,
 алела.
 Оху... ее ухо —
 мат и тут и там.
 Уж я вяжу
 ее,

а не лезу — зелена.
 Ей немило зол именование —
 там ее мать...
 Тать,
 ее
 не убий, буен!
 Но он —
 аки наш Аника!
 Ее
 тень отстонет...

.....
 Но, взлетев, светел звон!
 Ух, рев вверху!
 Мечту во злобе на небо ль зовут? Чем
 нов звон
 тот?
 Уж я ль гляжу,
 и там — ого! — Богомати...
 О, видение! И ей-ей не диво.
 Сиро в тине лени творись!
 Ох и тупел сослепу тихо —
 и тины нити
 опутали... Вся сила! Виси, валися, — свила тупо.
 Али мне лень мила?
 Али пел сопьяну, глазел, слеза-лгунья послепила?
 Как
 у вод неводу, худо. В ендову
 сую ус,
 сую, опьянен... Я пою, ус
 в висок скосив.
 Он рот умилял, и муторно.
 Я бес, я у чар в яме! Нем я, врачую себя,
 и черт речи
 меня лишил, я нем.
 Я, следя, лгу ему в уме. Угляделся.
 Видел, суть уследив...
 И себе на небеси —
 нема, как и лика камень,
 а чутка, как туча.
 Ясен зов Ее вознесся:
 «Я и надзор, и мама мироздания,
 беду судеб
 вижу, ран боль обнаружив.
 ...И о плаче, печаль, пой,
 и воззови,
 и мир прими!»

 Ее
 дивен мне вид!
 У дива на виду
 я утеснен, сетуя,
 и лоб томим от боли,
 от чуда-ладу: что
 Успенье псу?
 Молися силом!
 И омыты мои
 очиньки, лик... Ничо,
 вымолил, омыв

ее
 укором тенет мороку.
 Зло переполз...
 Я славил боль, обливался
 ей, нем, ан знамение
 яро в тиши творя...
 Меня истина манит сияньем!

Лети, сон, тенет носитель!
 Лети, чар рачитель!

А тута
 вьявь:
 — Лезь, мамзель!
 — Залазы!
 — И повопи!
 — Цыц! —
 Убрав ее в арбу
 и обдав свадьбой,
 катили так
 и летели,
 как
 ада чада,
 а дар конокрада
 летел,
 ровно и он вор.
 Удад, сулил усладу...
 Села, лес,
 и луг, и Жигули,
 и город у дороги —
 о, мимо, мимо!
 Тю! О пирах ухари поют
 и воде медовой!
 Их усы сухи.

.....
 Веру доищи, одурев,
 и мало — колоколами,
 и рано в звонари...
 Ала в хуле делу хвала!
 А народу хула в хвалу. Худо-рана
 течет —
 вымокал у ката кулак, омыв
 дел сих уд и дух, и след.
 Народ чохом охоч до ран,
 он сир присно,
 и крут, как турки,
 и круче чурки,
 и серее ереси.
 Неодолим он, но мило доен,
 нечесан, а сечен,
 надзору роздан,
 надолго оглодан,
 натупо опутан,
 утоп в поту
 и ох... под оплеухой!

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Б. ЕКИМОВ

*

В ДОРОГЕ

В районной гостинице, вручив мне ключи от номера, дежурная сказала: «На этаже темно». Слова ее я легкомысленно пропустил мимо ушей и понял их, лишь поднявшись на второй этаж. В коридоре — хоть глаз коли, нет ни единой лампочки. Ткнулся я было во тьму. Но как найдешь заветную дверь?.. Счел за благо отступить и вернуться на первый этаж, к дежурной. «Я ж говорила вам, темно», — повторила она. Кое-как разыскали мы коробок с двумя-тремя спичками. Снова поднявшись на второй этаж, зажег я неверный огонек и от двери к двери пошел разыскивать двадцатый номер, свой приют. Одна спичка погасла. Опять я очутился в крошечной тьме. Чиркнул, не зажглось. Потом повезло — спичка загорелась. И вновь я шел, подымая робкий огонь. Тьма нехотя расступалась. Но вздохнул я шумно, и снова — тьма. Последняя спичка. Но вот он — желанный номер. Замочную щель для ключа искал я ошупью. И в номере шарил по стенам в поисках выключателя. Отыскал в прихожей, щелкнул, но света как не было, так и нет. Продолжил поиски в самом номере, куда пробивался с улицы неверный фонарный отсвет. И наконец сыскал, включил. Вспыхнула лампочка под потолком, освещая обыденное гостиничное: кровать, стол, пара стульев. Какой-никакой, а приют, спасенье от той непогоды, что за окном, где ветрено, сыро, по-зимнему зябко.

* * *

Прошлым летом встретил я двух знакомых руководителей хозяйств, ехали они на одной машине.

— Бензин экономите? — посмеялся я.

— Тоже дело нелишнее, — ответили мне. — Четыреста километров в один конец, а интерес — общий.

— Какой же?

— За опытом ездили.

— Привезли?

— Такого нам не надо. Не дай Бог...

Разговорились. История обычная. В областном агропроме, на одном из совещаний, поставили в пример хозяйство, бывший колхоз, который удачно преобразовался в ассоциацию фермеров. Пример этот нынче дорог. Большинство колхозных руководителей, особенно из тех, что помудрей, ясно понимают, что нынешняя система организации труда на селе отжила. Государственный корабль, повернув круто, направился в доселе чужие воды под названием «рынок». Тут не спасешься, открешиваясь: «Чур меня!» Налицо очевидное: некуда мясо сбывать, овощи, а если и сбудешь, то себе в убыток и денег не дождешься. Чем платить людям? Чем кормить? Чем хозяйство держать? Вопросов столько, что семь мудрецов не ответят. Да и где эти мудрецы? Прежде за опытом колхозным ездили к Штепо в «Волго-Дон». Нынче — пора иная. Вот и рыщут...

Знакомцы мои коротко рассказывали, что рекомендованный в агропроме колхоз реорганизацию провел просто: разделились на семь коллективов. Шесть из них получили по 600—700 гектаров земли и животноводство в придачу. Седьмой, где оказались «свои да наши», во главе с бывшим председателем взял вдвое больше земли, хорошую технику и ни одной убыточной буренки. Прошел год. Буренки разорили своих хозяев — сплошные убытки. Председательский «зерновой» коопера-

тив цветет и здравствует. Начались свары, потравы, поджоги, полетели во все стороны жалобы. Сотня комиссий перебивала здесь. Но разбирательства проходили скоро: «Голосовали за раздел?» — «Голосовали». — «Выходит, на самих себя и жалуйтесь».

Вот тебе и обещанный «пример для подражания».

На хуторе 1-я Березовка, в колхозе имени Ленина, эксперимент начали с приходом нового председателя. Немалый чин областного агропрома, всю жизнь сельским хозяйством руководивший, выйдя на пенсию, он вернулся на родину, в 1-ю Березовку, и начал реорганизацию. Совсем не корить я хочу ныне покойного. Желал он землякам, конечно, добра. И казалось ему: колхозы свое отжили, надо создать союз фермерских кооперативов. Людей убедить было просто: «Уйдем из колхоза, реорганизуемся, не будем пять лет платить налогов, кредиты будем брать под четыре процента, а не под восемьдесят три».

Преимущества нового ясны были как белый день. И вместо колхоза имени Ленина появились «Нива», «Колос», «Надежда»... Теоретически все было верно: каждый занимается своим делом. Свиноферма свиней растит. «Надежда» доит коров. А корма для «Надежды» заготовит «Нива», которой отдали поливной участок. «Колос» займется зерном. Но гладко все было лишь на бумаге. «Нива», как нынче говорят, по дворам корма растащила, не оставив «Надежде» да свиноферме никаких надежд. Своими силами животноводы не смогли обойтись, потому что не было техники. Пришлось корма закупать на стороне. А деньги откуда взять?

В первый же год работы по-новому от 7 тысяч свиней осталось 700. Вдвое уменьшилось поголовье крупного рогатого скота. Пошел разброд, взаимные обвинения, свары. Люди оставались без работы, а те, кто ее не потеряли, получали копейки. «Наши «спецы» химичат. Себе в карман кладут», — смекали догадливые.

А эти самые «спецы» — нынешние руководители — не знали, как концы с концами свести: как уберечь от гибели остаток коров, как землю вспахать да засеять, как людям объяснить, что нынешним горьким днем жизнь не кончается.

С Василием Степановичем Инякиным, Василием Ивановичем Панченко прошлым летом встречался я не раз.

— Жмем только на патриотизм, — говорил Василий Степанович. — Надо скотину спасать.

— А понимают? — спрашивал я.

— Кто как... Часть понимает. Всю жизнь при скотине. Жалеют ее. Но не все.

— Куда все подевалось?.. — разводил руками Панченко. — Ведь в колхозе всегда лишняя была техника, механизаторов не хватало. Ее продавали по цене металлолома. «МТЗ» стояли, про сеялки, косилки и говорить нечего. А как разделились, оказалось, что ничего нет и все нужно снова покупать.

Осенью, получив деньги за зерно, купили тракторы, по ценам великим. Но ведь без них не обойдешься. Понемногу пытаются восстанавливать поголовье скота. О какой-то сносной зарплате и речи нет. Такова цена реорганизации.

В одной из областных контор при мне укоряли В. И. Панченко:

— Неправильно вы все делали, — внушали ему. — Нужно было заводить счета отдельные. Каждое подразделение должно рублем отвечать... Обговорить штрафные санкции... Объяснить людям. Поехать поучиться, например, в Кузницы Иловлинского района. Там сделали по-умному. Не то, что вы.

В. И. Панченко, понури голову, лишь вздыхал, зная, что начальству перечить — пустое. Перемолчал и я, хотя бывал в Кузнецях и видел, как «по-умному» там делились. «Умный дележ» довел до того, что милицию вызывали, чтобы выгнать «чужие» комбайны с «моего» поля. Выгнали, урожай погубили, часть его так и оставили под снегом. Но вот для областного начальства это был передовой опыт, «умный дележ».

* * *

Хутор Попереченский, оправдывая свое имя, одним из первых в районе и области пошел поперек привычной жизни, напрочь развалив совхоз «Аксацкий». Такие «поперечники» есть теперь почти в каждом районе. Оправдываются слова одного из руководителей областного агропрома: «Надо в каждом районе распустить по одному колхозу и поглядеть, что получится». В Попереченском развал начал главный агроном В. С. Николаев. Это становится правилом — уход главного агронома с группой хороших механизаторов. Агрономы — люди грамотные. Они видят,

что зерноводство дает прибыль, а животноводство ее съедает. Все очень просто: балласт — долой. В феврале 1992 года сорок пять механизаторов во главе с Николаевым вышли из совхоза, организовав товарищество «Степь». Получили они 4500 гектаров земли, технику, взяли кредиты, на которые еще тракторов да комбайнов купили. Хорошо поработали, погода помогла, и вот он — высокий урожай, а значит, деньги, не сравнимые с теми, что зарабатывали в совхозе, у которого в довеске дойный гурт: овцы, гуляк, социальные нужды. Зима 1992—1993 года стала концом совхоза «Аксацкий». Люди поняли, что можно жить по-другому. Начался развал ли, раздел. «Рассвет», «Кристалл», «Искра», «Маяк» — названия новых товариществ были хорошие, с надеждой на лучшее впереди. Хотя и тогда, в марте 1993 года, ясного было мало.

— Только создали крестьянские хозяйства, пришлось объединяться в товарищества, потому что для них — налоговые льготы. Создали товарищества, в пору снова разъединяться, потому что товарищество — это, оказывается, мини-колхоз и льготы вовсе не для него.

— В нашем ТОО тридцать девять семей. Теперь тридцать девять счетов в банке открывать? И тридцать девять кредитов брать? И тридцать девять отчетов? Тридцать девять балансов? А на кого оформлять единственный комбайн? А если не делиться, то налог на прибыль тридцать три процента сразу нас задушит.

— С молоком возиться невыгодно. Крупный рогатый скот, доставшийся при дележе, сдали на мясо.

— Голова кругом идет. Кто мы? Нищие с дырявым карманом. Зарплаты никакой не получаем, и не видать нам ее до ноября.

Это — разговоры мартовские 1993 года. Теперь — январь 1994-го. Год без совхоза. Как прожил его хутор Попереченский и как живет?

Лето выдалось к новым и старым хозяевам доброе. На Бога не будем грешить: дал дождей и тепла.

Машину, на которой мы ехали по хутору с главой сельской администрации, остановил человек:

— Хлебушка лишнего нет, Григорьевич?

— Нет, — ответил Иван Григорьевич. Для села все это привычно: очередь у магазина, заветная хлебовозка. Для хутора Попереченского такие картины лишь в памяти. Часом позднее Калашников принесет и закроет в шкаф неполный мешок с хлебными буханками. Они предназначены для молодых учителей из общежития.

— Своей печем, по домам, мука у всех есть, — объяснили мне. Рядом, через дорогу, пекарня со всем оборудованием. Она стоит. Есть и машина-хлебовозка, прежде она возила хлеб из соседнего хутора. Теперь «на приколе». Шофер просил повысить зарплату. Из каких средств? Сельский голова — Иван Григорьевич — собрал глав крестьянских хозяйств: «Давайте доплачивать шоферу. Сбросьтесь — и будем с хлебом». Отказались сбрасываться: «Нам не надо. Мы муку завезли».

Новые времена, новые хозяева, новые порядки. Лишь хутор остался тот же — Попереченский, бывший совхоз «Аксацкий», молодое хозяйство, которому от роду было шесть лет.

Образовался «Аксацкий» в 1986 году, выделившись из совхоза «Выпасной». Тогда на хуторе было 800 жителей и один телефон. Через шесть лет число жителей и работников выросло вдвое. Совхоз «Аксацкий» имел 21 тысячу гектаров пашни, 400 коров, 27 тысяч овец. Молока сдавали до 800 тонн, мяса до 600 тонн, шерсти 800 центнеров, хлеба (в 1991 году) 15 920 тонн.

Как всякое молодое хозяйство, «Аксацкий» с помощью государства энергично развивался. Было построено очень много. Производственные помещения: гараж на 50 автомобилей с машинным двором, машинно-тракторная мастерская с теплой стоянкой на 25 тракторов, стройчасть с пилорамой, складами, газовый склад с хозяйством, крытый ток, два зерносклада, восемь кошар с жильем для чабанов (там проводили областные семинары, показывая, как нужно обустроить овцеводческие «точки»), нефтебаза, птичник и даже перерабатывающий комплекс с полным циклом — от забоя овцы до производства колбасы, мясокостной муки, выделки овец и пошива шубных изделий. Это для работы. А для людей, для жизни было построено 50 квартир, два больших магазина (500 кв. м полезной площади), пекарня с кулинарией — там делали и мороженое, столовая по улучшенному проекту на 360 кв. м. Дом быта (250 кв. м) с парикмахерской, швейным цехом, ремонтом телевизоров и прочей техники. Школьный интернат. Медицинский профилакторий с детским, зубным кабинетом, лечебными ваннами, душами, физиотерапией. По-

строили, закупили оборудование, но не успели ввести в строй. Подвели под крышу детский комбинат на сто сорок детей. Старый, на пятьдесят, стал тесен. Заложили новую баню с бассейном, сауной, кафе. Поставили АТС на 100 абонентов. Детей в школу с хуторов и чабанских точек возили на автобусе.

Все, что было, не сразу и припомнишь. Тир, например. И более важное: рушилка для гречки и проса, давилня, чтобы свое масло иметь. Сепаратор, чтобы принимать от людей молоко и сразу его перегонять.

Понимаю, что скучновато этот список читать: детсад да баня... рушилка. Но все это — хуторская жизнь, цену которой можно понять, лишь потеряв нажитое. Все это было. Нынче, в январе 1994-го, станем считать, что нашли, что потеряли в Попереченском за год, прожитый по-новому.

Животноводство бывшего совхоза практически ликвидировано. Коров раздали по дворам, пустили «под нож». Из 27 тысяч овец наберется ли теперь тысяча-другая? Большая часть их передохла, пока шел дележ. Остатки — «под нож». Что говорить об овцах, если из восьми новых капитальных кошар, которыми на всю область гордились, шесть уже уничтожены. Все равно пропадать, растянут. Говорят, что и железобетонные балки уже в ход пошли. Увозят.

В. С. Николаев, председатель первого в хуторе товарищества под названием «Степь», сказал ясно: «Животноводство экономически не выгодно. Поэтому его и нет. Вся наша область и Ростовская овцу потеряли. Если шерсть не берут, зачем овца?»

Владимир Сергеевич, повторяюсь, бывший главный агроном. Дело в его товариществе идет неплохо. В 1993 году 1700 гектаров «озимки» дали в среднем по 37,5 центнера. Подсчитали, что у каждого работника годовой заработок около 7 миллионов рублей. Правда, получили пока от государства лишь половину. Но купили почти два десятка новых «Жигулей». Об этом знает весь район. И если нынешней зимой распадется еще один котельниковский колхоз, то один из главных доводов будет: «Двадцать «Жигулей» люди купили!»

Владимир Сергеевич молод, по виду энергичен, хвалят его как агронома. Своим нынешним положением он доволен.

— Производительность труда, дисциплина несравнимо выше, чем в совхозе, — говорит он. — Из сорока пяти человек у нас двое управленцев: бухгалтер и я. На мне банк, элеватор, запчасти, горючее и электричество. Имею диплом, допуск. За тем, кто как работает, я не слежу, никого не подгоняю. У нас рабочий день стоит тридцать тысяч рублей. Люди сами понимают и друг за другом глядят. Трех мы выгнали за пьянку. От желающих к нам прийти отбоя нет. Но мы никого не берем, только детей членов нашего товарищества. Народ у нас и так лишний. Мало земли. Можно бы десять—двенадцать человек убрать. Но куда им деваться? Пусть работают. Есть у нас пенсионеры. На доход с земли они права не имеют. Но мы им выделили нынче по шесть—восемь тонн зерна, по двести пятьдесят тюков сена, соломы — по потребности, муки привезли, гречки. Они довольны. То, что совхоз разделился, хорошо. Но государство должно понимать: это первый шаг. Поделили. Кто-то работает, у других — земля в бурьяне. Нужен высокий налог на землю. Тогда будет невыгодно зря держать ее. Неумелые и лодыри землю продадут нам, настоящим работникам. Мы ее купим. У нас земли сейчас мало. И конечно, нужны честные отношения. Мы продали государству зерно в августе, сейчас — январь. Где наши деньги? За полгода от каждой тысячи осталось сто пятьдесят рублей, остальные съела инфляция. И сколько еще съест? Мы ремонт не можем вести, нет запчастей. Нам сепараторы нужны для очистки семян. Где наши деньги? А если по-честному, то работать можно. И легче стало. Люди зимой отдыхают. Нагрузки не очень большие. Получается труд в удовольствие.

Еще один собеседник: Иван Владимирович Коротков, бывший главный инженер совхоза, ныне председатель товарищества «Искра». Говорят, что окончательно развалил совхоз именно он. Не все хотели уходить. На том, последнем, собрании Иван Владимирович выступил резко и четко: «Расходиться!» Прежде ушел главный агроном, теперь — главный инженер, люди молодые, грамотные. Не зря уходят... Позиция И. В. Короткова оказалась решающей. Собрание большинством проголосовало за раздел совхоза.

Прошел год. В «Искре» у Короткова 20 работников, 1500 гектаров пашни. При разделе получили тракторы и комбайны, на которых работают. Свою долю крупного рогатого скота сдали на мясокомбинат. Овец досталось две отары. Большинство из них пало. «Животноводство не выгодно», — тот же вывод, что и у Николаева

Во-первых, оно убыточно, во-вторых, вяжет руки. Когда я говорил с молодыми механизаторами из «Искры», они сказали: «Работать сейчас проще. Раньше всю зиму на скотину работаешь. корма, навоз. Теперь ее нет. Стало гораздо легче».

«Производственная дисциплина теперь намного выше, — говорит Коротков. — На севе ли, на пахоте, на ремонте — И заработок был бы сносный, если бы государство не обмануло. Мы ведь, как люди честные, девятьсот тонн хлеба сдали. А денег нет».

О том, что люди стали работать ответственнее, говорят все. Заместитель председателя районного сельхозкомитета В. Т Алпатов вспоминает, что прежде в совхоз «Аксайский» ежегодно возили помощников из райцентра на пахоту, сев и уборку. Нынче людей не прибавилось, а со всеми работами справились сами.

С землей справились. Правда, не все. Недаром ждет Николаев серьезного налога на землю. С зерновыми сладили, тем более природа ли, Бог помогли получить редкостный урожай.

Животноводство свели к нулю. Но потеряли не только коров да овец, но, думается, и перспективу. Ведь здешние места — полупустыня. Славились они всегда дешевой бараниной, шерстью. О серьезном зерноводстве можно не говорить, если засухи бывают по три года подряд.

* * *

Еще зимой прошлого года, когда раздел только начался, появились в жизни хутора приметы тревожные. О них говорили

— Хлеб доставляется с перебоями

— Учеников из других хуторов в школу не возят. Школьный интернат не работает, детей кормить нечем.

— Дети у нас сейчас школу не посещают, не на чем возить. Роженицу недавно не могли в роддом отправить.

— Принять социальную сферу от бывшего совхоза мы вряд ли сможем. Фермеры же говорят: мы налоги платим в госбюджет — вот пусть государство и раскошеляется.

Это говорили уже в первые дни после «кончины» совхоза. Правда, звучали и успокаивающие нотки:

— Даст Бог, все наладится

«Образуется...», «наладится...», «даст Бог...» — такие вот были «весомые» доводы.

Давайте посмотрим, что же дал Бог.

Хутор Попереченский. Январь 1994 года.

Во-первых, «хлеб наш насущный даждь нам...». О нем я уже сказал. Его пекут по домам, каждый себе. Хотя пекарня — в центре хутора. И машина-хлебовозка есть. Но не могут новые хозяева сговориться, кто и сколько водителю будет платить. Да и соседнее хозяйство, откуда хлеб возили, резонно попросило оплачивать часть расходов по выпечке. «Лучше возить из райцентра, — говорят на хуторе. — Хоть пятьдесят километров, но ничего не требуют». Будут не будут возить, будут не будут печь? Это пока лишь вопросы. А сегодня добывает хуторской голова печеный хлеб молодым учительницам из общежития. У них ведь ни муки нет, ни русской печки. Но не хлебом единым живет человек, вчера и ныне. И всегдешние свои обычаи, образ жизни не может изменить разом. Ко всему нужно привыкать.

К детям, не все из которых могут нынче учиться в школе. Для хутора Попереченского это новый и горький факт. Раньше совхозный автобус привозил в интернат ребятишек с третьего отделения, с чабанских точек. Кормили их, содержали на совхозные средства. Нет совхоза, а значит, нет интерната. При дележе имущества просила школа отдать ей автобус. Не отдали. «Наш нажиток, а школа государственная...» Пустили автобус «на пай» и растащили. Одна коробка осталась. Детей возить в школу не на чем. Кто-то своих возит на мотоцикле, на тракторе. А кто-то махнул рукой: «Обойдутся...» Обходятся. Дома сидят.

К слову, товарищество «Степь» купило себе автобус. «Когда свадьбы гулять, нужен... Новобранцев в военкомат отвезти, надо ведь проводить их... Родители, родные...» Все члены «Степи» живут в Попереченском. Их дети до школы пешком дойдут. Другие? Другие пусть думают сами. Колхоз кончился. Да, совхоз ли, колхоз кончился. И первыми это почуяли дети. Районные олимпиады, спортивные соревнования за пределами хутора, экскурсии — все в прошлом. Не на чем ехать. Пло-

хо в школе с освещением, оно часто выходит из строя. «Независимые» электрики требуют плату вперед. Ремонт, отопление.. Раньше помогал совхоз. Теперь надежда на сельскую администрацию, у которой денег нет. Ездят, просят в районе, и там пока не отказывают. Но каждый день кланяться горько. И еще хорошо, что лишь в Попереченском да в Пимено-Чернях развалились колхозы. Двум «сиротам» районные власти не откажут. А завтра их сколько будет, этих «сирот»? Выдержит районный бюджет? Вряд ли...

А ведь в Попереченском — школа старая, потолок еще год-два — и рухнет. Собирались новую ставить, готовили проект. Теперь это мечты. Да и будет ли средняя школа в Попереченском? Выживет ли? Прежде жилье было совхозным. Получали его и учителя. Кто-то уезжал, освобождая квартиру. Нынче все жилье раздали в собственность. Нового строить, конечно, не будут. Уже сейчас молодые учительницы не знают, куда голову прислонить. Жили при сельсовете. Потом им отвели бывший Дом быта. А принадлежит он на правах собственности одному из товариществ. Сегодня учителей пустили, завтра выгонят. Да и не больно завидно это «приспособленное» жилье. А впереди никаких надежд. Да и сегодня думай о хлебе, о баллонном газе. Привезут ли, не привезут...

Из шестнадцати учителей, по словам директора, четверо ищут работу в других местах. Школе нужны будут два преподавателя языка и литературы, один математик. Про иностранный язык здесь и не вспоминают. Районо заявки на учителей от школы не примет, так как нет жилья. А значит, нормальная работа школы в ближайшем будущем уже под большим вопросом.

Что еще потеряно ли, теряется? Парикмахерская, швейная мастерская, пункт ремонта телевизоров и прочей техники — все закрылось. Столовая — теперь тоже частная собственность — на замке. Из двух магазинов работает один. Но оживления в нем не видно. Помещение большое, холодное, полупустое.

Закрылась старая баня. Некому ее содержать. Фундамент новой понемногу зарастает. Старый детский сад закрылся. Строительство нового, уже под крышу подведенного, остановлено. Клуб тоже закрыт.

Новое здание хуторской медицины находится в центре хутора. Построить его успели, даже оборудование закупили в совхозные времена. До конца дело не довели. Пришла пора нынешняя. Вот и ходим мы с хуторским головой Иваном Григорьевичем по пустым кабинетам. Здесь должны быть лечебные ванны, циркулярный душ и Шарко, физиотерапия... Уже протекает крыша. Хозяина нет. А без хозяина любой двор — сирота.

Вот тут мы и подбираемся к основному вопросу: кончается ли жизнь на хуторе с развалом колхоза? Должна ли кончиться, потихоньку замирая без хлеба, без школы, без бани, без медицины?.. Ведь мы так долго и мучительно соображали: почему гибнет российское село? Почему люди уходят, оставляя землю отцов? Почему вчерашняя пашня обращается в дикое поле? Искали мы долго, пока наконец поняли простую истину: сельский человек хочет жить по-человечески. Иметь удобное жилье, медицину, бытовую службу, школу, отдых. Поняв, плохо ли, хорошо, начали созидать. Хутор Попереченский тому пример. Теперь за год все рухнуло. Конец света? Колхоз ушел. Кто остался? Администрация. Хуторская да районная. Это им новые хозяева писали заявления: «...прошу решить вопросы: о предоставлении в собственность земельного участка... о предоставлении в аренду сроком на... пашни богарной... пашни орошаемой...»

Значит, они хозяева?

Спрашиваю об этом главу Попереченской сельской администрации:

— Вы хозяин хутора и округи?

— Какой я хозяин, — вздыхает Иван Григорьевич. — Прокурор меня строго предупредил: гляди не издавай никаких приказов. Приказывать не имеешь права, а лишь просить. Вот он и просит.

Школе нужны новые котлы отопления и топливо. 2,5 миллиона да 7 миллионов. Едет в райцентр. «Помогите...» Помогают. В хуторе 4 артезианские скважины. Из них все пьют. Конечно, случаются поломки. Где денег брать? То по дворам собирал. Потом созвал руководителей крестьянских хозяйств, просит: «Возьмите каждый по скважине, обеспечьте работу. Сами же пьете...» Одни взяли, а другие отказались. Резон весомый: «Мы платим налоги, пускай государство...» Сегодня отказались одни, завтра, на них глядя, откажутся другие. Так в любом деле. Проси и упрасивай. Все — люди свои. Но у каждого теперь главная дума о личном.

Прав Николаев, председатель «Степи»

— То, с чем обращается к нам глава хуторской администрации, мы посилено делаем. Но плохо то, что, как и прежний председатель Совета, он — нищий. Он просит. Он ходит с протянутой рукой. Разве это власть? У него должны быть деньги, которые мы должны платить в виде налогов. На землю налог, на воду, на коммунальное хозяйство. Мы должны платить, а он на эти средства обеспечивать нормальную жизнь хуторян. А теперь.. Дали мы школе двести тысяч. Выложили около трех миллионов на оборудование зубного кабинета. А другие?

Рано ли, поздно на этот вопрос придется отвечать. Одни дали. А другие не дали. И не дадут «Степь» всю «медицину» не потянет. Да еще хорошо нынче год удачный, с доходом. А завтра — неурожай. У «Степи» карман опустеет. Не придется ли хуторянам зубы лечить лишь в урожайные годы?

Что ни говори, как ни загадывай по-доброму наперед, а хутор Попереченский потерял очень многое. И дело даже не в рушилке для гречки и проса, не в сепараторе, не в прессе для масла, которых после дележа не сыщут: «Там же были... Брезентом накрыты» — «Были, да сплыли...» Дело не в почте, которая теперь приходит на хутор в неделю раз, и если газету выписываешь, получаешь сразу пачку. Коли есть что получать. Средняя школа на 1994 год выписала по бедности лишь «Комсомолку» да «Учительскую». Все это вроде жизненные мелочи: закрыты баня и клуб. Пустая двухэтажная контора, в которой стекла бьют. И молоковозы теперь из Попереченского не спешат в райцентр. Потеряли работу женщины. Хорошо это или плохо?. Кому как. Если муж работает, проживут. А если нет мужа? Чем жить?

От хутора Попереченского осталось одно несладкое воспоминание, от которого не уйти. Думается мне теперь о тех детях — на хуторе ли Бударка или на 2-м отделении в «Рассвете»... О тех ребятишках, которые после развала совхоза не учатся в школе. Непривычно это для нас. Умом понятно: такие пришли времена. Но горечь на сердце. И от этого никуда не уйти.

* * *

Колхоз «Путь к коммунизму» того же Котельниковского района был распущен по воле общего собрания, как и «Аксацкий», год назад, в начале 1993 года. Так же, как в Попереченском, годом ранее вышел из колхоза главный агроном с группой механизаторов, занявшись зерноводством. Сравнивая жизнь и заработки новых хозяев и свою, через год разошелся и весь колхоз.

19 тысяч гектаров пашни. 3,5 тысячи крупного рогатого скота, 850 дойных коров. До 18 тысяч овец было в колхозе, до 3 тысяч свиней. Сдавал государству «Путь к коммунизму» до 2 тысяч тонн молока в год, до 800 тонн мяса, 400 тонн шерсти, хлеба почти 14 тысяч тонн.

Нынче, через год после колхоза, овцеводство практически ликвидировано. От крупного рогатого скота осталась лишь ферма в Нижних Чернях. Там люди не разошлись, образовав свой хуторской колхоз.

И все остальное — судьба школы, детского сада, торгового центра, бытовых служб — такое же, как в Попереченском. Правда, детский сад после двухмесячного закрытия работает вновь, держась на энергии В. С. Пименовой, его заведующей.

* * *

Вечер февральского дня. За окном — желтый закат. Наконец-то и к нам пришла зима. Но без снега. На воле — холодно, ветрено. В догорающем дне есть что-то печальное — в сумерках его, в первых огнях домов, в наступающей ночи. День прошел. Еще один день нашей жизни.

Из последней поездки вернулся я неделю назад. И чуть раньше, в начале января, в конце декабря, тоже была дорога. А что помнится?.. Сладкого мало.

В последний раз, в одном из бывших колхозов, сказано было с горечью:

— Чего без толку говорить? Ездите, смотрите... Помог бы кто.

А месяцем раньше в районном агропроме и вовсе на меня в атаку пошли:

— Это вы виноваты! Вместо того чтобы своим делом заниматься, вы колхозы разваливали, писали, подстрекали! Вот теперь радуйтесь!

Что ответить.. Потом, когда улеглась горечь, подумалось с усмешкой: «Оказываются, как мы, литераторы, сильны. Страну перевернули...»

Нет, это жизнь повернула! А на земле, на селе поворачивает в русло естественное. Не мог же спутанный, скованный крестьянин вечно сидеть на привязи. Без права стронуться с места, без права переменить судьбу, без права работать по своему разумению и силе.

Потому что никакой самый плохой хозяин, недоумок, не станет держать корову, которая в день дает стакан молока — 0,2 литра, как и сегодня пишется в строке отчета. Он не станет держать 147 свиноматок, из которых только 13 принесли приплод. А среднесуточные привесы в 19 граммов? Это ведь не вымысел, не страшный сон, а наше сельскохозяйственное производство дня вчерашнего и нынешнего.

Но как больно, как страшно порой свершаются перемены. Как тяжело даже просто видеть, глядеть, когда не человеческий разум, а страсти вершат судьбу.

Милая молодая женщина Валентина Владимировна Анопко, глава Пимено-Чернянской сельской администрации, с болью говорит:

— Начали делиться. Все ташат. Пришли утром в сельсовет, стекол нет. Стекла вынули! Тянут все, вплоть до штaketника. Не успели закрыть детский сад, профилакторий, ковровые дорожки утанули. Я соберу всех, кричу: «Мужики! Что вы делаете?! Свое растаскиваете! У себя, у детей своих ташите!» Спасибо, в Пимено-Чернях детсад отстояли, и там, в тепле и уюте, растут ребяткишки. Двух сторожей наняли. И не зря. Ведь в местах иных вдрызг разбиты вчера еще уютные клубы, грабят детские сады. В холодных стенах остаются лишь раздавленные, тяжелыми сапогами ни в чем не повинные куклы.

* * *

Сейчас вот сижу пишу. Февральский вечер. Желтый, режущий закат. Это к холоду. Душа просит тепла. И вспоминаю школу. В Пимено-Чернях, в «Рассвете», в Попереченском. Детишки. Милые лица сельских учителей. Они из доброй страны, из детства.

— Спасибо, что приехали, послушали нас, — говорили мне в «Рассвете», где с ноября не топится школа, а занятия идут в интернате, там теперь и классы, и спальные комнаты.

Учительская в Пимено-Чернях. И разговоры будто несладкие: о земле, о бывшем колхозе, о новых заботах, тревогах. Но душа спокойна, потому что рядом не отчаянье и злость, но материнская мудрость.

Спасибо вам, сельские учителя. Спасибо. Простите нас за то, что, как и прежде, со вздохом говорите вы о вечных дровах да угле, которые будто положены, о том... Нет, сельский учитель не профессия, а судьба. Достойные ее принимают. Награда им — детские души, глаза, открытые настежь. Это — высшее... А земное?

Поговорим о земном. С уходом колхоза сельская школа и сельская медицина теряют своего главного попечителя. Рядом другого нет. Колхоз помогал строить школу, давал жильё учителям, медикам. И в ежедневных своих заботах полагались на колхоз. Один председатель был щедрее, другой прижимистее, но напрочь отрицать людские заботы не смел никто. Этого не позволяли ни власть, ни добрые люди.

Бывший колхоз в хуторе Небыков построил школу. Но стоит она на замке. Все колхозное жильё выкуплено. Нового строить некому. Куда приедут учителя? Новые хозяева им жильё не построят. Прежде небыковская детвора училась в Пимено-Чернях, где находились правление колхоза, средняя школа, интернат с бесплатным питанием. Колхоз рухнул. Пимено-Чернянская школа наметнула небыковским фермерам, что нужно помогать топливом школе. Намек был понят. Фермеры перевели своих детей на учебу в Чилеково. Пусть и неблизкий путь. Но там совхоз живой, школу содержит, кормит школьников. И как говорит тамошний директор совхоза: «Не буду же я у небыковского Васи ли, Пети тарелку шей отбирать. Он-то в чем виноват». Статьи, возят из Небыкова детей в чилековскую школу две могучие машины. Хотя справилась бы одна. Но это дети «наши», а это «ваши». Колхоз кончился.

И потому в Пимено-Чернях некоторые детишки с новогодней елки пошли не с подарками, а со слезами. Деньги на подарки из района припоздали, да и что купишь на 1500 рублей.

Собирали с родителей по 5 тысяч. Не всякая семья могла себе это позволить. Ведь на селе теперь и безработные есть, и получающие по 5 да 10 тысяч рублей в месяц. И ожидающие этой зарплаты с сентября 1993 года.

В другом районе, другом хуторе, где колхоз понемногу расходуется, но еще жив правление выделило деньги на подарки только своим колхозным. Тоже обиды.

Мы все теперь в классе делимся, кто в каком кооперативе. А с чужими не дружим.

— Мама, а мы к какому фермеру принадлежим?

Трещина ли, разлом на селе проходят по детским душам.

В Попереченском да Пимено-Чернях, в «Волжанке» совхоз да колхозы развалила жизнь. И теперь в самом худшем и горьком кого упрекать?

По-иному было в «Рассвете» Ленинского района.

«Мы решили сделать „Рассвет“, — говорит председатель Ленинского комитета по сельскому хозяйству Г. А. Фомин, — своего рода испытательным полигоном, по опыту которого могли бы сориентироваться остальные хозяйства. А настоятельная необходимость в этом есть. За три последних года район по аграрному производству упал до уровня 1972 года, а по уровню поголовья в общественном животноводстве до уровня 1962 года. Ясно, что тут сказалась неэффективность всей командно-административной системы. Но и тем более было бы непросительным до крайности усугубить это положение при неумелом, необдуманном проведении реформы. Делить колхозно-совхозную собственность, по нашему глубокому убеждению, надо так, чтобы непременно приумножить ее. Вот с этой-то задачей, будем надеяться, как раз и справились в „Рассвете“»

Слова Фомина я беру из статьи областной газеты годичной давности. Статья озаглавлена: «Разделить, но так, чтобы приумножить». С оптимистической концовкой: «...Опыт «Рассвета» действительно станет ориентиром для других хозяйств области».

В колхозе «Рассвет» и вправду расформирование проводили не как Бог пошлет, а организованно. Почти четыре месяца в хозяйстве работали ученые из Всесоюзного научно-исследовательского института экономики труда и управления сельским хозяйством в содружестве со специалистами из областного и районного центра. Реорганизация велась под руководством бывшего председателя колхоза В. П. Мамаева, ставшего главой одного из крестьянских хозяйств, а также председателем ассоциации на землях бывшего колхоза. Сейчас выпущено методическое пособие «Опыт расформирования сельскохозяйственных предприятий» на примере «Рассвета», под эгидой Министерства сельского хозяйства, российской сельхозакадемии и вышеупомянутого института. Авторский коллектив во главе с академиком.

Никого не хочу укорять. Все мы умные задним числом. Кулаками махать после драки умеем. Но у семи вовсе не глупых нянек дите оказалось с большим изъяном. «Разделить, но так, чтобы приумножить», не получилось. И «сохранить размеры и специализацию животноводческих ферм» тоже не вышло.

До раздела в колхозе было 2639 голов крупного рогатого скота, осталась нынче лишь одна тысяча, дойных коров уменьшилось втрое. Из 16 тысяч овец осталось 6 тысяч. Бывшие коровники да кошары опустели, в них гуляет теперь только ветер. И если по всему району за 1993 год поголовье скота сократилось вдвое, то в бывшем «Рассвете» чуть не втрое.

Нужна ли была реформация? Бывший председатель колхоза В. П. Мамаев, ныне глава своего хозяйства, считает, что нужна. Вызвана она была несколькими причинами. Во-первых, после Указа президента колхоз, а значит, каждый из его членов начал терять землю, ее по 200 да 300 гектаров раздавали пришлым.

Во-вторых, колхоз был поставлен в невыгодное положение по сравнению с фермерами по налогам и кредитам. А в-третьих, по-старому хозяйствовать было уже невозможно из-за общего развала в стране, который повлек падение дисциплины, производительности, а значит, и результатов.

— Дороги назад нет, — закончил разговор Василий Петрович. — Кто хочет работать и умеет, тот будет жить. А лодыри... — махнул он рукой.

Все понятно.

За селеньем, налево, разбитая дорога ведет к фермам, к жилью возле них. Две улицы чуть отстают от коровников. Живут в них те, кто у скотины работает.

Животноводческие фермы, открытые базы стоят друг подле друга шеренгой. Восемь просторных ферм. Большая часть уже пустует.

В товариществе «Луч», которым руководит Н. И. Потехин, бывший заведующий колхозным МТФ, работают животноводы: доярки, скотники. У них почти 200 дойных коров, много молодняка Н. И. Молтянинова, Г. К. Назарова, Ф. А. Новожилова не один десяток лет проработали здесь доярками.

— Тридцать лет назад приехала сюда, — вспоминает одна из них. — Ничего не было, чистое поле. Работали, строили, столько скотины развели, а разорили все в один год.

— Но вы же сами решили разойтись, — возразил я. — Колхоз ликвидировали по вашей воле.

— Нас никто не спрашивал! За нас все решили. Расходитесь, и все!

Разговор был о жизни, о незаживающей боли. Подошли другие скотники, доярки. Говорили одно:

— Не спрашивали нас!

— Из Москвы приехали люди, из города, одно твердят: «Расходитесь!»

— У вас же собрания были. Три собрания. Первое — в августе девяносто второго года. Второе...

Меня прерывают

— Велят: расходитесь! Из Москвы приказ!

— Кто не хочет, останется один на кургане! Так мне председатель сказал! А еще, помню, спросила: на каком кургане — на кладбище, что ли?

— Так и говорил: я с вами работать не буду.

— Разогнали!

— Какой был колхоз хороший... Долгов не было.

Стали говорить о нынешнем, но и здесь было мало сладкого:

— Мы коров пока не режем. Еще год будем держаться. Хоть наше молоко выгодней здесь вылить, чем в райцентр везти, такой бензин дорогой, запчасти, но мы все же возим.

— Держимся. Не может же всегда так быть... Ведь молоко и мясо все равно будет нужно. А если всех порезать? Рядом поглядите. За две недели — под метлу. Полный гурт был скотины.

— Какую продали. А какая подохла, у «добрых» хозяев.

— Мы держимся. Всю жизнь — при скотине.

— Зарплата? Какая зарплата. Стыдно и говорить. На хлеб получаем. А живем своим.

— Все доходы мы на технику истратили, купили тракторы. Без них как работать?

Главы хозяйства Н. И. Потехина на месте не было: уехал он по делам. Но на ферме шла обычная зимняя работа — коров кормили, телят, подвозили солому, сено — все как и в прежние времена.

Позднее В. А. Жмаков, глава хозяйства «Надежда», агроном, механизатор, сказал мне:

— Торопились расходиться... Тридцать товариществ. Где набрать столько руководителей. Не у всех получается руководить людьми.

Это я понял, когда был у Потехина, рядом с которым соседствует товарищество «Юность». У них, кроме земли, дойный гурт. Пошел было я к ним, но меня остановили: «Не надо. Там...» Понятно мне стало, тем более от фермы несся шум и крик.

Торопились... Торопило ли время. Кого-то подгонял соседский пример. Боялись опоздать. Рядом, уже год назад, взяло землю и вышло из колхоза товарищество «Урожай» во главе с А. Г. Меркуловым.

На мой взгляд, опоздать боялись наиболее энергичные, грамотные, которые видели, куда в сельском хозяйстве дело идет. Недаром сказал В. П. Мамаев: «Возврата к прошлому нет». Хотя в разговорах с прежними колхозниками мысль о возврате к прошлому нередка.

— У нас овцы остались потому, что припугнули: снова колхоз начнется, спросят: куда овцы подевали? И не примут. — услышал я в одном месте.

В другом сказали похожее:

— Соседи порезали коров, проели-пропили, говорят: все равно снова в колхоз. Нет уж. Мы-то своих сохранили. А вы меж собой и объединяйтесь.

Наверное, возврата и впрямь уже нет. Хотя по многим и многим раздел ударил больно. Появились в «Рассвете» и первые безработные. Н. Прокофьева, бывшая телятница, мать двоих малых детей, оказалась без дела. По привычке пошла к на-

чалству. Кто теперь в поселке начальник? Глава администрации А. Е. Подмосковный. Он бы рад помочь, да не может. Обратился в одно товарищество, в другое. Никому работники не нужны. Своих куда девать, ведь поголовье в три раза снижено. Отправилась безработная в районный центр занятости, за пятьдесят километров. Оттуда, конечно же, позвонили Подмосковному: «Помогите...» Сказка про белого бычка. Где найти работу? Это не город. Белая степь кругом на многие десятки верст.

А. Е. Подмосковному и самому впору кричать: «Помогите!» Ведь разом легли на его плечи неизвестные прежде заботы. В теоретической разработке по расформированию колхоза «Рассвет» записано четко: «Развитие социальной инфраструктуры в интересах членов крестьянских хозяйств, членов их семей, пенсионеров». Все это оказалось пустым звуком. Разойдясь из колхоза, все заботы о социальной сфере переложили на плечи поселковой администрации.

Детский сад, школа, клуб, баня, водопровод, дороги — все, чем, кроме работы, живы люди в поселке. А денег у главы администрации нет. Не работает клуб, в не топленном помещении библиотека, закрылась баня. Здешняя школа с ноября не топится. Теперь все ученики и учителя сбились в интернат. Там и классы, и спальни. Был бы колхоз, он бы помог. А теперь... «Мы всеми брошены», — говорит директор школы. Чахнет медпункт. Кто его вылечит?

Большинству учителей ни дров, ни угля не привезли. Нет денег в бюджете Детей возить в школу некому. Словом, беды те самые, что в хуторах Попереченском, Пимено-Черных, Небыково — их немного пока. А завтра — как знать?

В соседнем поселке в 1991 году вышел из колхоза агроном А. Аржанов с пятью механизаторами. Осенью 1993 года, получив хороший урожай, они пригнали в поселок шесть новеньких «Волг». Вот она, лучшая агитация! Нынче тридцать ли, сорок работников уйдут из колхоза. Как сказал один из них: «Я всю жизнь трудился за велосипед, а они за год — на „Волгах“». И всем ли невдомек, что Аржанов с товарищами получили земли по 300 гектаров, такое было щедрое время. Нынешние выходы получают по 20. Нет земли. Об этом не больно думают: как будут кормиться на клочке полупустыни, где урожай в 10 центнеров — уже удача. Или разбаловали нас последние три года, которые — словно редкий подарок? Забыли, как по три года подряд выжигала засуха? Как семь лет подряд солому изо всех краев возили? Видно, забыли, если на землях испокон скотоводческих устремились все в зерноводство.

Шесть «Волг», двадцать «Жигулей», новеньких, сияющих лаком, спят. И нет места раздумьям. Тем более о хуторской школе, о бане, о клубе, о буханке хлеба и, наконец, о тех людях, которые потеряют даже последнее, что имеют, — работу.

Повторяю за разом раз: пришли новые времена. И к старому дорога обрзана. Но к новому надо идти не со старой песней: «Все разрушим до основанья, а потом...»

Потом будем гадать, где хлеба испечь, где помыться? Где детишек учить? Недаром один из сельских глав администрации сказал мне, словно удивляясь:

— Никогда не думал, что в нашем хуторе столько болеют. Прежде, в хорошем хозяйстве, все делалось будто само собой, налаженное за долгие годы, нажитое не только своим трудом и деньгами, но и с помощью всей страны. Из районной газеты я вычитал, что совхоз «Аксакий» за шесть лет своего существования получил от государства 4 миллиона 418 тысяч рублей (еще весомых, образца 1986 года), возвратил 258 тысяч. И если это верно, то кому по праву принадлежит все в хуторе построенное, а нынче поделенное? Вплоть до автобуса, который пожалели школьникам дать.

Повторюсь: порою не разум ведет людей, глухие страсти. «Полагаемся на здравый смысл нашего народа», — выписываю строку из «Манифеста» 19 февраля 1861 года. И там же: «...получая для себя более твердое основание собственности и большую свободу располагать своим хозяйством, они (крестьяне. — Б. Е.) становятся обязанными, пред обществом и пред самими собою, благотворность нового закона дополнить верным, благонамеренным и прилежным употреблением в дело дарованных им прав. Самый благотворный закон не может людей сделать благополучными, если они не потрудятся сами устроить свое благополучие под покровительством Закона».

У нас нынче тоже февраль, правда год иной, век иной...

Предварительные итоги XX века

РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА



БОРЬБА С ЛОГОСОМ

Современная философия на журнальных страницах

Не скрою, нашумевшая книга В. Ф. Эрн «Борьба за Логос» (1911) сыграла свою роль при выборе заголовка статьи, взятого не без расчета вызвать у читателя соответствующую аллюзию, а тем самым выявить и разницу духовных ситуаций начала и конца века. «Борьба за Логос» — это воинственная оптимистическая программа, которая выдвинута бойцом, полным сил и уверенности в победе, более того, уверенным, что за него само время («время славянофильствует»!) Наша реляция о «борьбе с Логосом» — это робкая попытка подкрасться к редутам противника и взглянуть на диспозицию его неизмеримо превосходящих сил.

Подумайте, какие были времена! В борьбе за высшие смыслы, за верховный Логос можно было позволить себе третировать более низкие, лишенные прямого божественного отблеска модусы разумного, а именно — данное человеку рациональное начало, способность к теоретизированию. Правда, Эрн воюет против «формального рассудка, оторванного¹ от полноты и бесконечного многообразия жизни», то есть против *ratio*, чересчур возомнившего о себе, уверенного в своей самодостаточности и исчерпывающей проницательности; но все равно общие акценты у нашего автора таковы, что сразу понятно — не ценит он вообще «малый разум», не дорожит способностью человека к логическому мышлению. Думает, что она всегда будет в избытке.

Сегодня дело обстоит таким образом, что уже самый затрапезный рассудок, банальный, казалось бы, здравый смысл нуждается в защите и реабилитации, восстановлении в правах не меньше, чем Высший Разум (существенно потерпевший за два века его ниспровержения рассвобождающимся человеком). Но дело в том, что и Разум Верховный и человеческий рассудок — все это одна компания, семейство близких друг к другу лиц. Недаром словарное понятие «Логос» укрывает под своей крышей несчетное количество родственников, помимо «разума» и «рассудка», — «мысль», «идею» «закон», «логику», «науку», «отчет», «слово», «Изложение», «язык» и т. п. И все эти многочисленные домочадцы (включая такое частное понятие, как «разговор»), носящие свои, казалось бы, независимые имена, не могут обходиться без явного или тайного присутствия уникального и чисто философского понятия — Логос, прежде всего означающего разумный смысл, которым пронизано и упорядочено все бытие. С Логосом рождалось любомудрие, с Логосом оно умирает; так же, как вместе с ним, в конце концов, умирает, распадаясь, и вся семья. «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Ибо там, где его нет в познаваемом бытии и познающем мышлении, не может идти речь ни о каком познании и «осмыслении»: о логике, науке и даже «разговоре» (так называемый закон тождества бытия и мышления). И если, напротив, только предположить, что мир устроен по иным законам, чем познающий его разум, или вообще лишен смысла как абсурдный и хаотичный, или что таков, наоборот, человеческий ум — то окажется, что нечего, нечем и не для чего познавать и философствовать.

¹ Здесь и далее разрядка в цитатах моя — Р Г

В упомянутой выше книге В. Ф. Эрн дает такую дефиницию: «Логос есть конечное и глубочайшее единство *постигающего* и *постигаемого*, единство познающего и того объективного *смысла*, который познается. Истина этого первоначального единства была открыта великой эллинской философией и с незабвенной силой возведена на новую ступень сознания в глубоком умозрении и глубочайшем внутреннем опыте христианства. Развивая отдельные стороны логистического миропонимания, я сознательно определяю, таким образом, свою философию как философию *христианскую*. Отсюда понятно, почему за логизм приходится *бороться*. Вышие ценности, величайшие святыни возбуждают самую ожесточенную борьбу. Дух самоутверждающейся гордыни, дух времени и большинства всегда восстает против таинственной истины *воплощения Слова*».

А теперь посмотрим, какая же борьба идет к концу нашего столетия.

Большинству читающих людей не могут не попасться на глаза размножившиеся в последние годы издания с философским уклоном: философско-литературные, философско-литературно-культурные, религиозно-философские журналы, и это помимо старых, не сходящих со сцены «Вопросов философии» и привычных литературно-общественных периодических изданий наподобие того, которое Вы, читатель, держите сейчас в руках.

А значит, читающие люди не могут не разделить со мной некоторых впечатлений от того, что на этой сцене появляется; по крайней мере, разговор будет идти не о «терра инкогнита» а о тех явлениях в мысли, которые оставляют резкий след на физиономии мира, как и все новейшие культурные самовыражения нашего века.

Затратный принцип в философии

Открываем довольно ходовой тематически «наш» журнал «Логос» (1991, № 2) и читаем «Парижские доклады» (1929) неоклассика XX века Э. Гуссерля, основателя самого respectable философского направления новейших времен — феноменологии. Они посвящены вкладу Р. Декарта в феноменологическую доктрину докладчика, но и недоработкам великого француза, открывателя самого неопровержимого для философии отправного пункта «*Cogito ergo sum*». Гуссерль кратко излагает ход мысли картезианских «Размышлений» («Медитаций») о том, что философ как стремящийся к «универсальности знания», к знанию, за которое «он мог бы быть абсолютно ответственным» от начала до конца, должен прежде всего «найти абсолютно надежное начало и метод дальнейшего размышления». Гуссерль признает вслед за всей философской традицией, что, с точки зрения построения философии, убедительной для самого разума, Декарт нашел «надежное начало» в «абсолютно усматриваемых основаниях»: «Мыслью, следовательно, существую». Что в самом деле может быть убедительней для рефлексии, чем принадлежность к мыслящему Я, которая служит и подтверждением существования этого Я?

Но дальнейшими выводами Декарта Гуссерль не удовлетворен. После такого удачного начала Картезий свернул на схоластическую тропу, ибо усматривал в мыслящем Я конечную субстанцию. «...Декарт ошибся, — заявляет Гуссерль, — и получилось так, что он, подошедший к величайшему из всех открытий и уже некоторым образом сделавший его, <...> не постиг смысла трансцендентальной субъективности и, таким образом, не перешагнул порог подлинной трансцендентальной философии». Гуссерль взялся поправить дело, «свободно развертывая» то, что у Декарта «находилось лишь в зачаточном состоянии», раскрывая «непреходящие ценности» его «Медитаций». Феноменолог надеется «разбудить» эти «Медитации», снова придать им «импульсы» их «первоначальной жизненности».

Однако, следя за ходом «разворачивания» и «раскрытия» идеи Декарта, мы убеждаемся, что «перешагнувший порог» критик видоизменяет саму поставленную Картезием задачу. Декарт решал великий вопрос философии об отношении между сознанием и бытием, о «выходе» к внешнему миру, о преодолении разрыва между «мыслящей субстанцией» и «протяженной»; и отправным пунктом для этого движения должен был служить известный тезис о «*cogito*». Однако Гуссерль не одобряет Декарта именно в этом главном его стремлении, которое феноменолог формулирует в «Парижских докладах» так: «в чисто внутренней сфере <...> раскрыть объективно внешнее». Немецкий философ не собирается никуда из отправного пункта двигаться, он хочет приспособить его для того, чтобы там обосноваться. И отсюда посредством понятия «интенциональности», то есть природной созна-

нию направленности на «предмет» — как некоего щупальца, выброшенного в неизвестность, — рассматривать в качестве этих «предметов» содержание сознания. Так парадоксально надо понимать и знаменитый гуссерлевский лозунг «К самим предметам!». В сущности, в феноменологической мысли Гуссерля происходит обратное тому, чего добивался Декарт: в ходе «разворачивания» картезианской формулы объективное превращается в субъективное, хотя фигурирует под именем объективности.

Таким образом, мост, который перебрасывал Декарт между берегами сознания и бытия, был поднят, философская мысль вернулась на берег субъективного. В этом, очевидно, и состояло главное «очищение», «критическое преобразование», совершенное «радикальным философом», как называет себя Гуссерль. Не только Декарта, но и Канта очищает он от зерен их метафизики; отрицание Гуссерлем «вещей-в-себе» делает его своего рода неокантианцем.

Гуссерль неоднократно менял направление своих рассуждений, предлагая разные интерпретации картезианской идеи, и это тоже свидетельствует, что никакого обещанного неукоснительного вывода из корректируемой картезианской позиции, а тем самым и обещанного открытия не состоялось. Принципиальное нововведение — «интенциональность» — желаемых результатов не принесло; напротив, через «переживания» — таким видел Гуссерль содержание сознания в «интенциональном акте» — в феноменологию ворвался столь отталкивающий этого философа психологизм. Так что дело Декарта оказалось не столько «раскрыто» сколько запутано.

А между тем именно оно остается для нас полным «первоначальной жизненности», как и для тех, кто был современником Декарта.

Что же сделал Гуссерль? Он возвел на картезианском камне (так и оставшемся во главе угла) грандиозную надстройку необязательных предположений. Он предлагал новые варианты для упражнения рефлексии, для тренажа ума, одновременно невольно обнаруживая, где располагаются очередные философские тупики.

Одно плохо: по ходу предположений было изобретено слишком много прихотливых терминов, не несущих «импульсов» «жизненности» вообще (интенциональный тематический и нетематический горизонт, феноменологическая редукция, эпохэ, т. е. воздержание от суждений, эйдетический, конститутивный и трансцендентальный анализы, ноэма, ноэзис и т. п.), усвоение которых больше отнимает, чем дает, требует некупаемых умственно-волевых затрат. Приобщение к этой терминологии подобно придуманию к придуманному языку, на котором никогда не будешь говорить (если только не сделаешь своей специальностью его изучение), потому что смыслы, для передачи которых он придуман, гораздо сподручней, без излишней помпезности, сообщить, пользуясь прежним языком — как повседневным, так и языком традиционной философии.

Итак, сравнивая старого классика с новым, можно убедиться в смене «интенций». Первый задавался первоосновными философскими вопросами и остается необходимым и «питательным» (слово А. Блока); второй развивает, так сказать, возможные мотивы, давая ход своему мощному творческому воображению, удивляя и отчасти интригуя, но и требуя от нас, боюсь, напрасных жертв.

«Струна звенит в тумане...»

Однако двинемся дальше, листая тот же журнал и попутно приближаясь к нашему времени. Вот статья-доклад «Хайдеггер и греки» (1989) Х.-Г. Гадамера, известного философа следующего поколения и, главное, следующего направления — новой философской герменевтики, к которому принадлежит громкое имя М. Хайдеггера.

Ссылаясь на сравнительно ранние рукописи этого последнего, посвященные мыслителям античности, Гадамер заявляет о совершенном Хайдеггером «радикальном повороте» на традиционном философском пути, о его программе «нового мышления». И с этим нельзя будет не согласиться. Однако посмотрим, в чем состоит эта новизна (на фоне которой маститый Макс Вебер — «сухий младенец»).

Прочитируем что-нибудь для живых впечатлений: «В 1921 г Хайдеггер приступил к интенсивному обновлению своих знаний об Аристотеле. В то время он стал по-новому прочитывать главные аристотелевские труды. Он начал прежде всего с «Риторики», темой которой (в известных пассажах 2-й книги) является рас-

положенность, ведь оратор должен возбуждать аффекты — такова старая заповедь греческой риторической теории. <...>На основе расположенности происходит самопрояснение сущего. Несомненно, здесь лишь один из способов самопрояснения сущего, который реализуется в теоретическом познании. Вслед за господином Хельдом (это еще один толкователь мэтра. — Р. Г.) можно утверждать, что нашей западноевропейской судьбой стала связность (Kontingenz), которую нельзя исключить из человеческих историй и умений». Поверьте, я выбрала для примера скорее самый ясный, чем самый неопределенный текст.

Между тем у Аристотеля всего лишь замечается, что «благорасположение» говорящего вызывает доверие к нему у слушающего. Новое — с размышительными апелляциями к «сущему», «связности» и судьбе — прочтение трактата по риторике, по видимому, заключается в том, что все слова, а вместе с ними и мысли потеряли свои очертания, как будто опущенные в раствор кислоты или, наоборот, вознесенные в заоблачные высоты, где и растворились в воздухе, — но определенно «возбудили аффект».

Эти «новые прочтения», как видим, так просто, голыми руками не возьмешь, они требуют от нас коренной перестройки мышления с его привычкой к старым рассудочным средствам. Здесь нам задается что-то вроде буддийского коана, алогичного вопроса (например, знаменитого: «Как звучит хлопок одной ладони?»), разумье над которым должно привести к полному крушению веры в разум и попыток угадать ответ учителя-гуру. И нарочитая уклончивость герменевтического текста, и его третирующее рассудка, и радикализм установки в отношении к традиции, предмету и аудитории невольно приводят на ум другое, уже отечественное и более раннее, явление (Россия — родина слонов!) — творчество П. А. Флоренского. Попытка анализа этого, возможно, первого выражения авангардизма в философии, данная мною в «Очерках русской утопической мысли XX в.» (М. 1992), может послужить дополнительным пояснением к разбираемому здесь случаю.

Но возьмем для верности еще какой-нибудь отрывок из уже цитированного текста, ну хотя бы где речь идет о сравнительно знакомом сюжете — о «факте». Как в данном случае будет обращаться герменевтика с предшествующей мыслью? Первоначально в немецком идеализме и у Гуссерля, — пишет Гадамер, — «слово «факт» и «фактичность» были антонимом ко всем *verités de raison*, истинам разума и обозначали (как и то, что свобода есть факт разума) нечто не объяснимое словами и просто принимаемое без рассуждений»; «Собственная суть герменевтики фактичности — как ни странно это звучит — состоит в том, что уже в факте существования должно быть заложено понимание, что само существование должно быть герменевтическим...» Здесь оспаривается традиционное, и даже повседневное, понимание факта как данности, зато сообщается, что суть герменевтики — в герменевтичности. (Хотя мы вообще не обязаны интересоваться внутренними проблемами «герменевтичности», нас надо еще ими заинтересовать.) А что, действительно, можно извлечь, напрягая воображение, из этого пассажа? Если подразадается, что вычленивание из потока событий любого факта уже предполагает работу сознания, то это само собой понятно, да и было давно обговорено. Но, видно, здесь имеется в виду нечто более заковыристое — что реальное существование есть каким-то образом уже и самопонимание. А вот каким именно образом? Остается туманная декларация. И в этом же духе читаем дальше: «Хайдеггеровский манускрипт, — ведет речь Гадамер об одной из интерпретаций Аристотеля, — с самого начала и определен тем оттенком (*sic!*), который заключен в слове «фактичность». Историчность человеческого существования проявляет себя в нынешности, теперешности (*die Jeweiligkeit*), и перед этим имеющим место в данное время человеческим существованием постоянно стоит задача взглянуть в себя самого в своей «фактичности». Сняв флер с этих абстракций, приведя их к понятиям с обозримым содержанием, получим банальность.

Метода построения этого радикального и одновременно ускользающего текста такова: взять известное слово и, вызвав недоверие к его обычному пониманию, намекнуть, что у него есть другой, подлинный смысл. Затем по возможности, если это конкретное понятие, путем гипостазирования его предикатов, то есть путем превращения свойств и качеств вещи, обозначаемой данным понятием, в независимые субстанции, вытеснить его понятиями абстрактными. Такая операция лежит в основе средневекового реализма, учившего об объективном бытии общих понятий, однако здесь она радикализуется. Средневековые реалисты мыслили эти универсалии сущностями надэмпирического мира, и это не противоречит опыту и ра-

зуму. Современные же «новые онтологи» оперируют ими как явлениями посюсторонними, бытующими среди нас и наряду с вещами. Однако самостоятельно, онтологически по эту сторону видимого бытия не существует таких феноменов, как «лишенность», «фактичность», «связность», «открытость», «закрытость», «нынешность» и т. п., — они существуют только субъективно, в сознании и как метафоры образного языка в поэтическом воображении. В действительности существует кто-то, лишенный чего-то или кого-то; есть открытое окно, ларец, душа; связанная или несвязанная речь. Простите за вынужденный трюизм.

Двойственность и неуловимость сообщаемого как раз и возникает из противоречия между содержанием и статусом гипостазированных предикатов: притворяясь выражением концентрированного смысла, они производят весомое впечатление (лишенность! — это кажется неотвратимым, как рок!), и в то же время у них нет почвы, чтобы быть реальностью. Они вызывают в нас тем самым сшибку нервных процессов: это субъективные образования, отвлечения от существующих вещей разгуливающие по текстам на манер гоголевского Носа.

В писаниях герменевтиков обычно, как Афродита из пены, появляется некая новая суверенная категория, некое «в-себе-бытие», и затем начинается ее «исследование» и «осмысление». Это разгадывание *post factum* возникающих в тексте терминов странно. По человеческой логике — вроде бы наоборот: сначала нужда в понятии, а в отклик на нее — слово. Но, как говорится, в XX веке все не так.

Буквальным розыгрышем выглядят разъяснения, причем собственного ключевого слова, у Ж. Деррида, основоположника следующего этапа языковой герменевтики — «деконструкционизма». Раскроем его «Письмо японскому другу» («Вопросы философии», 1992, № 4).

Из столицы всех мод французский философ отправляет любознательному жителю Страны восходящего солнца руководство, как надо понимать эту новацию. Инструктор не спешит выкладывать карты на стол. На подступах к своим «схематичным и предварительным соображениям» по этому предмету Деррида поначалу делает упор на различных междометиях и наречиях, потом долго цитирует словарь Литтре, но ни на чем не останавливается, а выражает подозрение, что «вся загадка» его главного концепта «заключается» в окончании «-ся» у слова «деконструироваться». В конце концов основоположник признается, что не может «сформулировать какой-то простой ответ на этот вопрос» (а сложный, боится, не поймет его друг), хотя все его усилия направлены на то, «чтобы разобраться с этим необъятным вопросом», и в итоге ссылается на «идею сбора (!) судьбы бытия», которая, естественно, «никогда не может дать место для какой-то уверенности». Хотите убедиться — прочитайте. Всего несколько страничек. Да, чтобы подбодрить далекого адресата на другом конце света, мэтр залихватски кончает свою притчу стихотворным восточным коаном:

«Чем деконструкция не является? — да всем!
Что такое деконструкция? — да ничто!»

Деррида ходит вокруг своего «деконструкционизма», как вокруг громадного заупакованного предмета, внесенного в его квартиру в отсутствие хозяина. Или будто это злосчастное слово и впрямь спустили из высших инстанций, позвонив по вертушке из самого Дома бытия, и теперь семидесяти толковникам его не растолковать. В общем, как в детском стишке: «Это бяка-закоряка кусачая, я сама из головы ее выдумала, я ее боюсь». Деконструкционисты, правда, от своей «бяки» в восторге. Но о них речь впереди.

Вернемся к герменевтикам, впервые устами Хайдеггера обнародовавшим, что язык — это «дом Бытия». У них как бы само собой получается, что понимание — это не главное в деле философа; главное — быть медиумом бытийных энергий, передаваемых через язык, ведь не человек говорит языком, а язык говорит человеком, не «я полагаю», а «мысль полагает». В этой позиции, однако, обнажаются сразу обе ахиллесовы пятя: 1. Не ясно, кто тот оракул, который правомочен представлять от анонимной «мысли», 2. Само это «полагающее» мышление может полагаться только одушевленным существом — человеком, Богом, Мировой душой, в конце концов, но вроде бы в хайдеггеровской онтологии не предполагается и ее. От Мировой души, возможно, пострадало бы все его учение о бытии, но зато была бы спасена логика. От отсутствия субъекта в онтологии страдает не только логика, но и Логос. Медиум античности, оракул, узнавал волю богов,

герменевтик же имеет дело с безличным, а следовательно, без-вольным, бес-сознательным, бес-смысленным бытием, даже если написать его с большой буквы.

Сдвиг и переворот, производимые Хайдеггером, сказались на роли разума как инструмента философии: теперь он занят уже не «оправданием», то есть объяснением, мира и человека с точки зрения смысла и строя, а тем, чтобы допрашивать бытие, предстоящее в лице языка. Как бы ни рассматривать феноменологию Гуссерля, считая, к примеру, его предприятие избыточным, его разработки следуют философским принципам рассуждения. Хайдеггер эти принципы меняет.

Он вряд ли разделил бы следующее главное для философа убеждение. В недавно опубликованной работе С. Булгакова (в двухтомнике из серии «Приложений к „Вопросам философии“») я познакомилась с такой формулировкой этого убеждения: «Самое основное стремление разума <...> — к логически связному и непрерывному истолкованию мира»; и еще: философствование — это «рефлектирующая, осмысливающая работа разума». Хайдеггеровская «фундаментальная онтология» пренебрегает услугами дискурсивно-логического рассуждения. Человеческий ум теряет свой статус активного деятеля, он должен приспособиться к положению пассивного посредника и лишь до некоторой степени толмача. Хайдеггер прямо настаивает на некоем нерассудочном, антирассудочном мышлении, которое «начинается с того момента, когда мы обнаруживаем, что у мышления нет более упрямого противника, чем рассудок, тот самый рассудок, который прославляли веками». А нужен ли вообще разум, может быть, нужнее другие органы? «Новая онтология» апеллировала к зрению, чтобы взглядываться «чистым взглядыванием», всматриваться «чистым всматриванием», затем органом понимания стало главным образом, если не исключительно, ухо — чтобы «прислушиваться к бытию» и слышать «неслышимое». Специалисты это о-очень популярно разъяснили: дескать, Хайдеггер «самосбойность зрения ставит под вопрос, помещая демонтаж визуальной парадигматики метафизического сознания в центр задачи деструкции метафизики». Впрочем, если верить нашему отечественному исследователю и приверженцу немецкого философа В. Подороге, тоже выступающему в «Логосе», то в ходе идущей в XX веке перестройки «структур сознания», когда «это и зрение... и не зрение» и слух «не слух», можно надеяться в перспективе найти для нужд хайдеггеровской философии и новый, более «адекватный тип чувственности».

Итак, встреча с истиной, то есть с чем-то исходящим из недр бытия, исчерпывается пассивным «выслушиванием слова» без разумного его уяснения. Но и само бытие, как оно представлено у Хайдеггера, портретист культур Шпенглер имел бы основание приписать к египетской культуре с ее молчаливой монументальностью, противопоставленной всему мысленному и словесному, ибо оно не-разумно. Таким образом, разум нам не гарантирован в объекте и не требуется в субъекте. Да и само субъект-объектное отношение познаваемого и познающего здесь отменяется; мыслящий — не переживающий, медитирующий или грезящий, а именно мыслящий о чем-то, познающий что-то — должен изначально находиться внутри мыслимого. Да как же это? Такое уместно вообразить в отношении не к миру, а к Богу, который, не будучи внешним объектом, постигается изнутри, через стяжание благодати. В данном же случае мы имеем неоязыческую пародию на богопознание, где место Сверхличности занято безличным Бытием.

Перед нами философия, в которой под видом избавления от субъективизма и психологизма и обретения твердой онтологической почвы дерзкой субъективной волей введено свое бытие, непреклонное, не поддающееся на зовы извне, а только подающее свои «зовы», массивное и нераздельное, темное, как сама судьба. Зачем же отвергнут реальный универсум, созданный высшим Творцом, и поставлен на его место свой?

Я вижу одну исходную разницу между этими созданиями: в наличии или отсутствии просвещающего разумного начала как принципа мироустройства; следовательно, главный импульс сотворения «новой онтологии» можно понять как противоборство Логосу.

В сочиненном, лишенном Логоса, мире нарушаются существующие в нашем мире соотношения между неразумным, доразумным, разумным и сверхразумным. Так складно не придумаешь, как есть в реальности, тут уж, действительно, повторишь вслед за Лейбницем: «Наш мир есть лучший из возможных миров», лучший в своем замысле и в своих основаниях. Власть рационального начала в этом мире, конечно, не беспредельна. Однако чтобы узнать, где она кончается, надо пройти с разумом весь его путь до конца. Но в философии XX века наблюдаются странные

абerrации и претензии: изрекать неизрекаемое и умалчивать о выразимом — и тем бросать вызов законам логики. Философия эта не хочет знать то, что знает элементарный рассудок, но намекает на стяжание несказанного, которое доступно лишь «умудренному неведению», опыту веры. И тот нерационализуемый «остаток», перед которым честно потрудившийся разум должен склонить голову, в радикально «повернутом» мышлении становится как раз объектом рассудочных домогательств. На своем поле разум не трудился и не знает, где его, а где чужое. (Это очень в духе передовых течений нынешнего художества, которое не справляется с ремесленными задачами, но претендует задавать образцы творческих достижений.)

Придуманная онтология с ее реверсией к неоязыческому Бытию, с ее передислокацией вещей и смыслов требует «жертвоприношения разума» и вообще совершает насилие над сознанием человека, которое не узнаёт в творимой внелогосной картине мира действительных очертаний существующего. Но разрыв с Логосом — это разрыв с любомудрием. Приверженцы «новой онтологии» тоже согласны, что ее тексты «радикально меняют наше представление о философии», хотя для них это отнюдь не предмет огорчений. В недавней новомирской рецензии на «Избранные произведения» М. Хайдеггера содержится превентивный упрек консервативным ригористам, которые могут не засчитать «автобиографическую лирическую прозу» мыслителя за философскую работу: «Разве не живет мысль, — укоризненно вопрошает рецензент возможных ретроградов, — на пространствах живой речи, вовсе не обязательно размеченных условными обозначениями жанров, видов и дисциплин?» Согласимся абсолютно и безоговорочно, потому что мысль — не прерогатива одной философии; но и эта последняя не есть собрание мыслей, у нее есть специфическое задание (призвание) и соответствующие ему средства, измена которым есть измена философии. Размышляли везде, однако любомудрие родилось там, где любознательные предки проявили склонность к «незаинтересованному созерцанию» и пронизательно прозрели наличие разумного начала в мире, оттого и смогли проявить разумное начало в себе, задавшись вопросом о первопринципах универсума, о том, что есть «единое во многом» и каково в связи с этим место во вселенной задающего эти вопросы разумного существа. Философия родилась там, где на эти вопросы искали ответов, убедительных для самого разума. Верность старым (вечным) задачам и средствам составляет неотменимый ее признак, дисциплинарный устав этой дисциплины.

Отмежевывание самого Хайдеггера от всей традиционной мысли известно и соответствует действительному положению вещей: он подчеркнуто, через головы классиков, протягивает руку архаикам, досократикам, древним начинателям любомудрия. Однако притязание на это последнее родство необоснованно. Сколь бы ни было монументально-натуралистично учение милетцев, оно держится на идее разумного осмысления бытия; как раз с основателя Милетской школы, Фалеса, и началась философская дисциплина, так как положенная им в основу вещественной вселенной вода была не эмпирическим веществом, а первовеществом, неким сущностным началом, которое позволило предпринять осмысление мира как единства, пронизанного и упорядоченного разумом, демииургическим Нусом, и потому разумно познаваемого.

Неотменимость условия, которому философия должна соответствовать, поддерживается сегодня готовностью одиночек отстаивать ее *conditio sine qua non* наперекор мощному веянию времени, сметающему очертания всех вещей и их перемешивающих (один из сквозных сенгментов многих сегодняшних обсуждений и «круглых столов» — варварское ликование по поводу «перемешивания» дисциплин, способов познания, жанров). Среди аутсайдеров текущего и рыцарей незыблемого — немецкий философ Витторио Хёсли, отважный защитник в наши времена «абсолютного рационализма». Чтобы быть философом, напоминает он коллегам и читателям в своем интервью «Вопросам философии» (1990, № 11) элементарную, но непопулярную заповедь, надо верить в разум и в то, что разум «работает» в мире до всяких доказательств, и «если разум в объекте отсутствует, то понимание объекта исключено». Как раз это отсутствие беспокоит Хёсли в философских убеждениях Хайдеггера. «Хайдеггер, как никто другой, видел угрозы и тупики в философии субъективности, но его иррационализм еще опаснее». Есть и практические последствия у принципа внеразумного бытия: «Если вместе с принципом субъективности мы разрушаем сам разум, то подрываем основы человеческого существования <...> История <...> существует без разума, вне разума, в истории нет логики, а потому и ответственность в политике невозможна».

Итак, подумайте, готовы ли вы мыслить «наперекор самоочевидным сущностям», как призывают герменевтики. Способны ли отказаться от рутинных ваших, несовершенных, но бесхитростных размышлений сначала над «самоочевидным», а уж потом — как у кого получится; отказаться от живых ваших впечатлений, от многих слышных вам голосов «сущего» и целиком только «прислушиваться к (одному) голосу самого языка», как призывают нас Хайдеггер и его ученики? К тому же вы должны знать — ибо, так свидетельствуют знатоки: «Слышимое Хайдеггером исполняется на одной струне небесного органа, имеет один-единственный тон и тембр — это голос Бытия. За полифонией сухих, составляющих Бытие, поэтому и философу слышно моно-тонное бубнение самого Бытия, причем оно бесконечно ценнее всего многоголосья» (М. Маяцкий). Если вы не готовы и не способны на это, читатель, тогда «пройдите мимо и простите им их счастье» (воспользуемся оборотом князя Мышкина).

Однако сколько бы грустных и смешных примет времени ни несли в себе философская мифология Хайдеггера, размах его мировоззренческого предприятия, возвышенность его языкового ведовства, его интеллектуального чревоущательства — все это в наши бескрылые времена достойно философского удивления и филологического восхищения. А последнее уже успело отточить у нас замечательные литературные и поэтические дарования.

В мире ненужного

Следующий за ним, за Хайдеггером, хотя и исшел от него, но не достоин связать ремень его обуви. Мы уже встречались с этим наследником, речь идет о деконструкционизме, который сейчас на виду и даже — на российском телеэкране. Да, эта мышшь родилась у той горы; вернее, целый выводок грызунов: постструктурализм — деконструкционизм — постмодернизм родился у подножья этой горы и стал подрывать все, что осталось от бытия, включая и саму гору.

От предшествующего фундаментального онтолога была унаследована сосредоточенность на языке, используемом во внеязыковых, мировоззренческих целях. Но если Хайдеггер облюбовал слово как единицу хранения бытийных фондов, то эти наследники берутся, так сказать, за сгущения слов, обозначаемых на языке оригинала как *discourse* — понятие, неперебиваемое с французского на чужой, то есть наш, язык и являющееся предметом дискуссий даже на своей родине. Ясно, что ничего хорошего такое слово не предвещает. Вспоминаю, как в прежние годы московский диссидент и математик Н. Вильямс о вечно прославляемом «социалистическом лагере» говорил, что словом «лагерь» хорошо вещь не называют.

Однако если невозможно перевести понятие «дискурс», то попытаться описать его как-то надо: дискурс — это часть текста, фраза или несколько фраз, а в общем — протяженное высказывание. В отличие от онтологически укорененного языка, который сам был источником всех смыслов, у Ж. Деррида источники философствования перемещаются в сторону речи, то есть из бытийной в область межчеловеческую, или, как теперь любят говорить, интересубъективную, поскольку все «дискурсы» как-никак случаются между людьми. Так, если метафизический «язык» выражает себя через слово, то сочетает слова уже не язык, а человек, субъект высказывания, по-научному. Вроде бы так, однако подобные простые соображения в этой школе значат не много. Деррида, как и его единомышленники, изгоняет автора из дискурса, настаивая на принципиальной анонимности, «ничейности» текста (Р. Барт), как будто бы он является в мир сам собой.

Что же стоит за дискурсом? За словом стоит говорящий. Есть слова, за которыми стоит сверхсубъект; за Логосом стоит Бог. Но ситуация, в которой предлагают ничью речь, явно уродлива. Потому-то для перевода ключевого слова нигде не находится осмысленного эквивалента. В самом терминологическом нововведении заключено излишнее мудрствование, не отвечающее никакой действительной потребности. В существенной философской мысли всегда ощущается связь ее терминологии с основополагающими философскими вопросами; даже в отвлеченной теории познания можно углядеть, как отрабатываются механизмы обоснования достоверности наших познавательных способностей: мы умствуем о том, имеем ли мы право умствовать. Но когда главным расхожим термином оказывается бессубъективный дискурс, то кажется, что мы попали в царство бабы-яги, вынюхивающей, где «человечьим духом пахнет», и занятой его истреблением.

Эта крайняя степень обесчеловечения «дискурса» парадоксальным способом совмещается в деконструкционизме с декларативной гуманистической мотивировкой: освободить человеческое сознание от совершающегося над ним насилия.

Но от чьего же? Нет, такого мы еще не слышали! Деконструкционизм открыто объявил, что враг человечества, а тем самым и его враг, — «логоцентризм», под которым деконструкционисты — как поясняет хороший знаток этого дела — «понимают... ту озабоченность истиной, рациональностью, логикой и «словом», которая знаменательна для философской традиции Запада». Это вам не lamentации иррационалистов-экзистенциалистов типа Льва Шестова с их состраданием к человеческому индивиду, погребенному под холодными наслоениями «всеобщих и необходимых истин». Ибо в нашем случае истребляется и все индивидуальное. Скорее это крайняя форма контркультурной варваризации сознания. В образе многовековой европейской культуры оказались слитыми для этих ниспровергателей буржуазное и тоталитарное сознание: господствующая культура — это репрессивная культура господ. В проекции на политико-идеологическую плоскость деконструкция дискурса у Ж. Деррида представляет собой аналог левокоммунистической идеологии; вдохновленная тем же, по сути, лозунгом «весь мир насилия мы разрушим», идет борьба против «речи» и ментальности господ положения, в то время как «онтология языка» Хайдеггера с ее темной почвенностью действует в духе идеологии правой.

Подобно большевикам, объявившим после 17-го года о ликвидации буржуазии как класса и искоренявшим «буржуазные элементы», деконструкционисты, заявившие о свержении правящей династии Логоса, проводят «большую чистку», выискивая всех укрывающихся в тексте старорежимных недобитков.

Но если цели этого монастроения ясны, то стратегия Деррида (а также близких к нему Лакана, Делеза, Лиотара) погружает вас в пучину, нет, запутывает вас в тенета словес, требуя изнурительных усилий по овладению хитроумными умственными маневрами, противными логике и здравому смыслу. Тут выработан набор «стратегий», напоминающий «пять (или десять?) главных ударов Мао». Ядро их состоит в том, чтобы уличать «логоцентрические» (то есть, попросту говоря, осмысленные) тексты в подлоге, совершаемом с помощью риторических операций.

Чтобы не быть голословными, коснемся нескольких главных стратегий, используя услуги Дж. Куллера, американца, автора книги «О деконструкции»², а также рецензента его книги — американского литературоведа Дж. Р. Серля, статья которого «Перевернутое слово» опубликована в «Вопросах философии» (1992, № 4).

«Во-первых, — излагаются здесь эти принципы, — деконструкционист выискивает любые бинарные оппозиции, традиционные для интеллектуальной истории Запада, например: *речь/письмо, мужское/женское, правда/вымысел, буквальное/метафорическое, обозначающее/знак, действительность/кажимость*. В таких оппозициях, утверждает деконструкционист, первому (или левому) термину сообщается статус превосходства над правым термином, который рассматривается «как осложнение, отрицание, проявление или крах первого». Такие иерархические оппозиции будто бы составляют самую суть логоцентризма с его всепоглощающим интересом к рациональности, логике и поиску истины».

Итак, деконструкция объявляет своей задачей варварскую борьбу со смысловыми и разумными основами всей нашей цивилизации, приписывая ей идеологическую одержимость; констатации любого фактического контраста вменяется злостное намерение, и в нем-то усматривается суть «логоцентризма».

Еще один этап этой стратегии приводит к «доказательству», что «речь и письмо суть формы „архи-письма”», а «мужчина и женщина суть варианты архи-женщины». Очевидно, мы имеем здесь дело как раз с тем знаменитым логиком из пьесы Ионеско «Носорог», который умел доказать, что у кошки две ноги.

Как рассуждает такой логик, мы наконец пойдем на примере деконструкции принципа причинности, этого вреднейшего логоцентрического предрассудка. Истолковывается известный сюжет из Ницше о человеке, который почувствовал боль и начал искать, не была ли ее причиной какая-нибудь иголка. В результате возникает такой неожиданный ход: раз иголка как причина боли была обнаружена в итоге поисков, начатых из-за ощущения боли, то, будучи причиной этой причины, боль сама превращается из следствия в первоначальную причину. Посредством такого глубокомыслия деконструкционист торжествует победу над лого-

² Culler J. On Deconstruction. Theory and Criticism after Structuralism. Cornell Univ. Press. 1992.

центристом он согласен, что «без понятия причины нельзя обойтись», но зато она лишена теперь «строгости обоснования». Вот как! Не знаю, на какие головы рассчитаны такие фокусы, но уровень и достижения деконструкционистского анализа уже понятны.

Его стратегия срывания всех и всяческих масок невыполнима и негодна. Не выполнима, потому что, охваченный пафосом мисологии — ненависти к Логосу, деконструкционизм собрался «соскрести золото с золотых слитков» (выражение Честертона). Негодна, потому что налицо внутреннее противоречие: это антропология без антропоса, психоанализ без пациента. Деконструкционизм занят анализом текста, авторского высказывания, но он демонтирует самого субъекта высказывания, то есть автора, а вместе с ним и то, что он выразил, а именно — иерархию ценностей и смыслов, логическую последовательность и идейную избирательность. Кому нужна такая работа? Но она не просто не полезна, она противоестественна и представляет собой интеллектуальную перверсию наподобие перверсии сексуальной. Вместе с постмодерном мы переживаем второе крушение гуманизма. Сначала — как неустойчивый, ненадежный, субъективный, «психологический», «неподлинный» — вытеснялся из рефлексии, философской и художественной, человеческий элемент, момент человеческого присутствия; ныне очередь дошла до переделки самих человеческих способностей, самой природы человека, каковая переделка требуется для восприятия «нового слова», «нового мышления». Борьба, ведущаяся сегодня с так называемым «унаследованным способом мыслить», — это борьба с человеческим естеством, с теми неизменными данными, которые ему врождены и, говоря философским языком, составляют основу «трансцендентального субъекта».

Деконструкционизм — это целая школа перековки. В ходу и старый авангардистский прием. Чтобы подчинить сознание другого, его надо огородить, сбить с толку, поставить в тупик, напустить непроглядного тумана. При чтении деконструкционистских дискурсов приходит на ум реминисценция, которая в соответствующих, хотя менее броских, случаях приходила в голову А. Глюксману. В его книге «Властители мысли», изложенной по-русски В. В. Бибихиным³, вспоминается эпизод с раблезианским персонажем Панургом, который «велел написать бумагу, но сделать письмо таким мелким, чтобы никто не мог прочитать написанного».

Деррида идет гораздо дальше. На место известных понятий ставятся хитроумно сочиненные эрзацы, придумывается целое собрание перевертышей, составленное точно по методике оруэлловского новояза («мир — это война»): «Речь есть форма письма, присутствие есть определенный тип отсутствия, маргинальное < > есть центральное, буквальное есть метафорическое, истина есть род вымысла, чтение есть форма неправильного прочтения, понимание есть форма недоразумения, психическое здоровье есть своего рода невроз, а мужчина есть разновидность женщины» «Анатомам, — ехидно замечает Дж. Серль, — без сомнения, будет интересно узнать, что „то, что представляется нам наиболее внутренними местами и пространствами тела — желудок, кишечник, влагалище, — все это, на самом деле, карманы внешнего, вывернутые внутрь” А логикам, без сомнения, интересно будет узнать, что логоцентризм — это на самом деле то же самое, что „фаллоцентризм”». Перед нами, казалось бы, торжество пародии, но — и высказывание, рассчитанное на серьезное, точнее, прямое восприятие. Правда, по поводу отмеченного сходства деконструктивистских оборотов с новоязом требуется добавить один штришок. Новояз у Оруэлла являлся собой высшую форму насилия над человеческим сознанием, этот же язык у Деррида претендует на неслыханное его раскрепощение!

У М. Мамардашвили в вышедших уже посмертно его «Беседах» («Логос», 1991, № 2) есть интересное наблюдение: при встрече с «современным» у человека обязательно возникает ощущение неловкости, замешательства, необходимости «что-то сделать с собой». Человека широкого диапазона и устремленного вперед, Мамардашвили интересовал этот факт как свидетельство движения истории и смены ее времен. Все это так. Но факт слишком красочен и ставит радикальный вопрос о степени соответствия новых умственных установок человеческой природе. По-видимому, этим установкам требуются люди, устроенные по-другому (так же, как они требуются для торжества марксистско-ленинской доктрины). Попутно можно заметить, что трудности, которые встают перед человеческим восприятием при встрече с «современным», совсем не те, что возникают при чтении, к примеру, «Критики чистого разума»: последняя требует усилия, а те — насилия.

³ Глюксман А. Властители мысли М. ИНИОН АН СССР 1979

Встает и второй вопрос — о степени преемственности сменяющих друг друга времен, вопрос, на который, исходя из всего предыдущего, мы получили определенно отрицательный ответ. Мы живем в умственно революционные времена, времена разрывов и отталкиваний, когда восхищаются такой недавно сформулированной максимой: «Видеть, что видели все, думать как не думал никто».

Ныне уже топор лежит при корне. А может быть, камень висит на шее. Приговор таков: старушка классика навязывает принцип иерархии, ищет смысла, требует логики — и тем препятствует «новому умственному зрению» (В. Подорога). Поперек движения тут расположился Логос. Что ж, люди новой умственной формации правы: «современность» и наследство, от которого она отказывается, — антиподы. И надо выбирать *entweder — oder*. Или философией надо называть то, что было известно под этим именем со времен греков, или — то, чем нас стараются просветить сегодня, заимствуя источник света у последней парижской моды.

Между тем, панорама, которая открывается после проведения деконструктивного анализа, описанного выше, — это пейзаж после битвы, это руины и обломки, по которым даже нельзя определить того целого, от коего эти обломки остались. Тут мы вступаем в мир постмодернизма, в продвинутую стадию «рассвобождения» по сравнению с авангардом. Последний, как он ни был дерзок в обращении с миром и традицией, все же оставлял что-то цельное от своих доноров, так что включенные в новый порядок старые идеи и образы можно было узнать. Деконструкционизм работает на постмодернистскую мозаику из уже неопознаваемых клочков и обрывков. Их можно встряхивать, как в калейдоскопе, чтобы получить разную, но, в общем, одну и ту же россыпь.

А лица прошлого,
они, как крепостные,
дворовые, их можно
посылать
туда-сюда,
когда
помиловать,
ну а когда
побить,
по случаю.

Освобождение от репрессивного логоцентризма, порыв к «свободе творчества и коммуникации», как мечтает интернационал деконструктивистов, оказывается страшным однообразием, тоской «упростительного смещения», пугавшего больше всего на свете нашего эстета К. Леонтьева; в конце концов, страшным судом для разума и чувства, свидригайловской баней с пауками. Но зачарованным беззащитным держидасты убеждены, что разрушение «логоцентризма» — благо, оно следует из «потребности в новизне» (Л. Карасев), а без этого, мол, нет философии. «Когда бы грек увидел наши игры...»

Мне скучно, бес. Постмодернизм — это философский памятник скуке. И сужу не по той «скучище неприличнейшей», которую вы зы в а ю т деконструктивистские дискурсы, а по тому, что и с о ч и н я т ь все эти «грамматологии» можно только от величайшей, метафизической скуки и пустоты, способных так извратить интеллект

А теперь зададимся с Дж. Серлем естественным вопросом: если так очевидно, что «король голый», то почему деконструкционизм с его «претенциозным словоизвержением» оказался столь привлекательным? Ограничиваясь литературоведческой средой, американский исследователь находит помимо причин, связанных с предшествующей порчей умов логическим позитивизмом, и такой грубый источник тяготения своего клана к деконструктивистской философии, как убеждение: поскольку весь мир — текст, то «главнейшая творческая миссия перешла теперь от писателя-художника к критику-литературоведу». Задумавшись над противоестественным влечением пусть небольшой, зато задающей тон среди профессиональных интеллектуалов группы, можно смело утверждать, что дело тут прежде всего в комфортабельной интеллектуальной беззаботности. свободе от обязательства мышления, налагаемых Логосом, и в открывающихся в связи с этим возможностях безбрежного фантазирования взамен философского творчества, в избавлении от галерного труда профессиональной мысли. Беспредельная произвольность снимает вопрос о профессионализме (ср.: «То, что ты называешь зрением, я называю... слу-

хом» — из философских бесед, опубликованных в «Логосе», 1991, № 2), а также и о профессиональной репутации. Отчасти, быть может, поэтому век наш и есть век ложных кумиров — по линии мышления особенно.

Не нам ли суждено изжить
Последние судьбы Европы,
Чтобы собой предотвратить
Ее погибельные тропы.

М. Волошин

Чего же нам ждать от нового слова, прибывшего из Парижа, как суп в кастрюльке для Хлестакова? Бояться, что это наваждение охватит сознание нации, по понятным причинам не следует — слишком велик разрыв между одним и другим. Хотя народ наш впечатлителен и склонен чтить непонятное как субститут религиозно-мистического элемента, все же это коловращение слов наперекор здравому смыслу лишено шансов на успех. Менее экстравагантное учение марксизма и то было далеко от народа. С другой стороны, заметим, революцию оно у нас все-таки произвело, и для этого было достаточно, чтобы поверил в единственно верное учение интеллигентский актив. Потому что в конечном счете для страны — а для культуры и в текущем счете — судьбоносным оказывается то, что делается наверху, в интеллектуальном авангарде, подобно тому как состояние и функционирование водопровода зависит от состояния водонапорной башни.

Деконструктивистское мировоззрение не захватит широкие массы, но его факторы будут — и начали уже — подрывать и вытеснять из культуры всякие другие убеждения — классические, общечеловеческие, христианские, традиционные. И они добьются успеха, если, как это происходило до сих пор, не найдется на нашей земле никакого резистанса, сохраняющего благородную верность прошлому.

Адепты новаторского взгляда на вещи — это все люди прогрессивные, активные... И хотя здесь действует не «тридцать пять тысяч курьеров», их темперамент, занятие влиятельных, «нормировочных» мест в культурно-образовательном истеблишменте, а тем самым и легкий доступ к таким же прогрессивным органам печати, сплоченность от сознания непочатого края работы просто не могут не привести к радикальным сдвигам в традиционной российской культуре, и, возможно, таким, которых не сумело добиться казенно внедряемое марксистское вероучение. Ибо, подчеркнем снова, дело тут будет идти не об изменении воззрений, но о дезорганизации, хаотизации самих человеческих восприятий, об отмене способностей к связному, логическому мышлению, различению добра и зла, прекрасного и безобразного.

Новые просветители России понимают, что им придется потрудиться и поборотся. Культурный «разрыв» между нею и тем, что они опрометчиво понимают под Европой, огромен; «европеизация наших мыслительных навыков» — «дело не года и не двух», потому что «многие доминирующие в российской культуре мыслительные привычки глубоко враждебны философии, человеческому достоинству и будущему самой России» (М. К. Рыклин). Просвещение идет со скрипом. «Трудность, с какой прививается у нас деконструкция, не случайна. Дело не в ее сложности, а в чуждости русскому эйдосу. Есть какое-то серьезное препятствие (догадайтесь, какое. — *P. G.*), мешающее нам понять деконструкцию не только умом, но и сердцем...» (Л. Карасев). Однако, поскольку деконструкция — этап «просто необходимый» нашему уму и сердцу, придется все же перевоспитываться, как когда-то входили в Днепр, только теперь — с обратным течением.

Тысячу раз прав В. Ф. Эрн: «высшие ценности», к которым относится присутствующий в мире Логос, действительно вызывают «ожесточенную борьбу». Однако наступают пока исключительно их, этих святынь, противники.

Но если концепция деконструктивистского анализа предназначена все же для элиты, то психология постмодерна уже заметно просачивается в массовую культуру. И вообще там, где недорабатывают пропагандисты школы Деррида, деконструктивную помощь оказывает занявшая неприступный плацдарм в прессе полухудожественная школа злословия (она же — ярмарка тщеславия), разливающая вокруг себя веселое презрение ко всем в мире текстам.

Нет, вы не правы, господа, Россия ускоренным темпом движется по пути постмодернизации.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Д. ШТУРМАН

*

ДЕТИ УТОПИИ

Фрагменты идеологической автобиографии

Из отрочества я. Из той поры
Внезапностей и преувеличений,
Где каждый, может быть, в эскизе — гений
И неизвестны правила игры.
Где любят, всхлипывая... И навек.
И как ни вырастает человек,
Он до себя, того, не дорастает..

Сара Погреб.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«ОБЩИНА ПО МЕСТУ ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ»

Говорят, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Что такое река? Русло и направление потока воды? Тогда войти в нее дважды, и трижды, и еще много-много раз — можно. Вода, в которую окунулся человек однажды в этом русле? Тогда — нельзя. Если, конечно, не заставить проточную воду стать стоячей. И все же, все же.

«Содержащиеся в этом конверте материалы выданы мне по доверенности гражданки Израиля Доры Тиктин (в прошлом — Шток) Комитетом Гос. безопасности в лице зам. председателя Грищенко Е. А. и зав. архивом КГБ Казахстана полковником Локтевым. Мне было разъяснено, что я могу переслать рукописи владелице, реабилитированной в 60-е годы.

А. Жовтис, профессор Каз. Гос. университета им. Абая, член Союза писателей».

Далее следует адрес.

В 1992 году легли на мой стол триста с лишним разноформатных страниц, исписанных и исчерканных мною в 1939 — 1944 годах. Тонкие тетрадки, блокноты, разрозненные листки.

В 1979 — 1990 годах я написала фрагментарные воспоминания об этом времени. очерки («Тетрадь на столе» и «Непредусмотренный постскрипtum» к ней — журнал «Время и мы», № 52, 53 и 55) и небольшую книгу («Моя школа», изд. ОРІ, Лондон). Но теперь вижу, что не вызвала бытия из небытия, а только попыталась рассказать то, что помню о прошлом. Кажется, Ник. Асеев писал, что «слово «вещь» и слово «весть» близки и родственны корнями». Мои слова 1939 — 1944 годов и те же вроде бы (мои же) слова 1979 — 1990 годов — это вести о разных вещах. А сколько умерших и родившихся слов, умерших и родившихся вещей и смыслов?

Теперь на моем столе лежит само прошлое. Оно выплыло из небытия, не траченное ни временем, ни цензором, ни внутренним редактором. Это ведь даже не сочинения далеких лет. Рука, карандаш, ручка были стихийным самозаписывающим устройством самой жизни, самой нашей сути. В подавляющем большинстве случаев мы не обрабатывали эти записи. Изредка я их переписывала, перечеркнув предыдущий вариант, если менялся взгляд. Как тщетно мечталось Пастернаку, мы

«вместо жизни виршеписца» вели «жизнь самих поэм» Эта общая жизнь была перенасыщена чувствами, чтением, событиями, поступками. Она была безоглядной и жадной В то же время непрерывно и обостренно осмысливалась эта полнота — то на бумаге, прямолинейно и непосредственно, то в бесконечных разговорах. Захватывавших нас книг (а читалось очень для такой кутерьмы много) мы не вычленили из потока событий и переживаний И почему-то я все должна была осмысливать на бумаге Писалось чем попало, на чем попало, где и когда придет в голову в общезжитии, дома, в аудитории, в очереди, в читальне, на вечеринке.

Жили мы по-разному. Одни — безбедно, еще и подкармливая друзей (Валюша, Марк), другие — впроголодь (Стэлла, Андрей Досталь), третьи — как когда. Клевали по зернышку где удастся. Мы жили словом. Но слово, питавшее наши души, текло из разных источников. И чей веет дух, нам трудно было понять. Да мы и не знали тогда ничего о ловушках и возможных источниках слова.

Итак, на этих страницах запечатлелась наша не по времени счастливая юность во всей ее искренности, парадоксальной для той жестокой эпохи. Свидетельствуют ли эти наброски еще и о смелости? Не думаю Если мы и не остерегались говорить и писать что придет на ум, то в основном соответственно поговорке «у дурака страха нет» Юный лихач пренебрегает правилами дорожного движения не из отваги, побеждающей страх, а потому, что он страха не ощущает (а всяческие правила считает старческими бреднями). На мой стол легла, повторяю, сама наша юность, не откорректированная, как это бывает обычно в мемуарах, мерками усталого и многоопытного человека.

Узнаю ли я себя в этих заметках? И да и нет Чистовиков при моем «деле» оказалось мало, в основном — черновики. Мы с мамой и братом собирались возвращаться из Алма-Аты в Харьков буквально днями. Мариком, Валюшей и мною были отправлены документы в ЛИФЛИ. Я не сомневалась. главное — впереди Чистовики оставила на память другу, единомышленнику и — вскоре — однопольцу Вальке (Владимиру) Рабиновичу. Надписала размашисто. «Другу и соавтору», чем обеспечила ему, физматовцу, участие в филфаковском «деле» И срок обеспечила, хотя соавтором он был лишь духовным. Может быть, тетрадь моих чистовых статей хранится в Валькином «деле»? Черновики оставались у меня дома и были изъяты при обыске и аресте. Возможно, я собиралась взять их с собой в Харьков, а потом в Ленинград. Это же были заявки на великие открытия, как все, что тогда писалось и обсуждалось в нашем быстроумном и еще более быстроразговорном кругу

При всем сходстве почерков (моего тогдашнего и нынешнего), при тождестве биографий автора этих заметок и моей, при узнаваемости многих мотивов есть во всем этом нечто словно бы и не мое. Так бывает во сне, когда в хорошо знакомом лице вдруг проступает кто-то не тот, когда в хорошо известном тебе человеке мелькает на миг странная, а то и страшная сущность. Чем-то жутким поскваживает порой от этих юношеских записей. Читая их, я впервые почувствовала, а не только умозрительно согласилась, что язык — это человек. И книга — это язык, и время — это язык, и миропонимание — это язык.

И все-таки эти черновики с их жутковатыми вкраплениями — уже намек на дуэт Не случайно я почти всю жизнь (1938 — 1965) писала поэму-дуэт, в которой боролись два голоса. В нашем вульгарно-социологическом воляпюке тех лет обнаруживаются изъяны, то есть просветы. Из этого деформированного, как ножки китайской аристократки, сознания что-то упорно выталкивает поселившегося в нем оборотня. Стоит присмотреться к этой борьбе.

То, что потом было названо нашим «делом» (и даже «антисоветской организацией»), началось, как ни странно, не с политики. Для физматовца Вальки отправным пунктом оказалось богоискательство, увлекшее нескольких его коллег Для лингвиста Марика все началось с поисков связи между структурой умственных операций и структурами нескольких языков. Для меня — с постижения «творческого метода» (так это тогда называлось) нескольких завладевших мною писателей

Многого из того, о чем я отчетливо помню, в этих бумагах нет. Дракон их переварил. Но зато неоднократно варьируется рукопись «Идеология социализма» с различными подзаголовками. Как я понимаю, ее породил долг — прежде всякой эстетики поставить любимых писателей на твердую идеологическую и социально-экономическую почву. Увы, миропонимание прошлого коррекции неподвластно Существовала тогда для нас непреложность такого долга, причем внутренняя а не навязанная

Итак, в 1992 году рукописи пришли из Алма-Аты в Иерусалим. (Звучит? В 1944 году мы бы рехнулись от предположения такого маршрута.) Пожелтевшая бумага, выцветшие чернила, осыпавшийся карандаш. Тронутые тлением, кое-где объединенные мышами листки. Особенно почему-то пострадали от мышей письма. Мой муж, Сергей Тиктин, виртуоз игры на ксерокопировальной машине, сделал, на мой нетехнический взгляд, чудо: копии читаются лучше, чем читались оригиналы летом 1944 года. Наш следователь Василий Дмитриевич Михайлов грыз бы локти с досады, увидев эти копии. Мои черновики в свое время его извели неразборчивостью и обилием незнакомых слов. У меня есть подозрение, что в первом следственном отделе НКГБ КазССР в июле — октябре 1944 года так всего этого до конца и не прочитали. Иначе пятилетний срок был бы невыносимым. Хорошо, что в те времена еще не было ксероксов, дающих увеличенные копии, более четкие, чем оригиналы

* * *

Ну что ж, начнем с того, на чем тогда все было оборвано, — с нашего уверенного толкования хода мировой истории. Это предпочтение не означает, что общественное устройство и его законы интересовали нас больше всего на свете. Просто сложилось так, что к тому времени моих друзей Марка, Валентина (он был по паспорту Владимиром, но почему-то все, в том числе и в семье, звали его Валькой, Валентином) и меня чрезвычайно занимали поиски всяческих закономерностей и построения всевозможных схем. При этом закономерности отыскивались исчерпывающие и всеобъемлющие и схемы строились, как нам представлялось, универсальные. Может быть, юность всегда проходит через попытку отыскать смысл в хаосе и целесообразности в непостижимом? В ту пору, замечу, мир имел для нас сугубо Евклидовы очертания. И если Лаплас готов был предсказать траекторию любой частицы вселенной с помощью математического анализа (разумеется, при наличии исходных данных), то мы — с помощью схем и общих закономерностей, естественно — на основе марксизма. Сегодня это напоминает мне старый анекдот о советских ракетостроителях, которые, по наблюдению американских коллег, делают чудеса с помощью молотка, зубила и какой-то матери. Мы на меньшее, чем «окончательное решение» занимавших всех нас (не сугубо личных) вопросов, не согласились бы. Ради меньшего не стоило отрываться от стихов и ошеломительных книг, от совершенно потрясающей, неповторимой, исключительной личной жизни. Конечно же, ничего подобного ни с кем до нас не случалось. Что ж, чувство неповторимой единственности нашего личного бытия было ближе к истине, чем наше убеждение, что все на свете исчерпывающе постигается с помощью правильно понятого закона. Следует только его открыть или откорректировать в нем ошибки предшественников. Мы и не подозревали, что целые жизни, если над этим всерьез размышлять, уходят на соизмерение постижимого с непостижимым. Тогда постижимым, а следовательно, исправимым представлялось все. Может быть, в чем-то глубоко подспудном это ощущение осталось в нас навсегда. Личное бессмертие тоже было, в наших тогдашних глазах, делом науки и времени.

Война являлась частью нашей личной и общей жизни. Во избежание кривотолков замечу, что Марк был негоден для прохождения военной службы — даже не строевой, а Валька — уже демобилизован из прифронтового стройбата (сына расстрелянного троцкиста дальше стройбата не пустили). В 1943 году стройбатовцев-старшекурсников точных и технических специальностей демобилизовали.

Читателю, марксистской фразеологии не переносящему, эту главу придется или терпеть, или пролистать. То же — и человеку, справедливо предубежденному против схематических профанаций многосложного мира. Но мне без этой главы не ступить ни шагу, ибо именно ее горючие пустоши и редкие родники — начало пути. На первый взгляд это суверенная территория оборотня, который нас почти заглотал. Он на ней господствовал. Но и наша схватка с ним началась тут же. Там, где громоздятся, казалось, одни только глыбы окаменевшей лавы, я увидела издали места, где сквозь камень были готовы вот-вот пробиться живые ключи. Мы в ту пору нередко не отличали песка от воды и не понимали, почему мы заглатываем этот песок, но не утоляем жажды. Песок прикидывался водой, а вода была в том, что казалось нам преступной ересью, в чем мы перед собой каялись. И перед следствием тоже. Правда, не во всем: кое-что мы капитану Михайлову пытались втолковать (с наших общих с ним, как нам представлялось, позиций).

Начало, как уже было сказано, имело место в запойном чтении нескольких поэтов и прозаиков. Непрерывное выпитывание стихов предшествовало схоластическим выкладкам. И потому эти выкладки не были для нас ни холодными, ни сухими. В них пылал тот же пламень, что и в стихах, и в прозе, и в жизни, а главное — в нас самих.

Далее следуют наиболее выразительные отрывки из оригинальных текстов тех лет. Прошло полвека, и каких полвека! Поэтому вынуждена повторить: автору текстов 1943 — 1944 годов представляется, что его миропонимание резко отличается от официальной, то есть господствующей, идеологии. На самом деле он говорит почти ее языком и находится в плену подавляющего большинства ее фикций. В чем он с ней начинает расходиться (или что угрожает его с ней развести), мы увидим по ходу чтения. Но отсюда, из-за полвека, видно главное и непримиримое расхождение: автор этих заметок честен, а его лепщик, собеседник, оппонент и в скором времени тюремщик («официальная идеология») — лжет. К этому мы еще вернемся.

Начну с «Предисловия к статьям о творчестве нескольких современных писателей» (1943 — 1944, до 14 июля).

Итак:

«Государство не есть родина. Государство — всего лишь управитель ее, хороший или дурной — смотря по обстоятельствам, но всегда могущий впасть в ошибку. В его руках сила — оно ею пользуется...» (Р Роллан, «Над схваткой»).

Это эпиграф. Замечу: Романа Роллана мы очень любили. В девятом классе читали «Жана Кристофа» и «Очарованную душу» друг другу по телефону часами, ибо не могли дожидаться встречи. А жить, тут же не делясь переживаемым, не умели. (К слову: моей маме в срочных случаях приходилось пробиваться домой с работы через телефонную станцию: наш номер бывал занят целыми днями.) Скептицизм по отношению к Роллану пришел при попытке перечитать последние книги «Очарованной души» в 60-х годах. Роллан — общественный деятель открылся мне во всей своей чересполоснице (с преобладанием красного) только после публикации его московских дневников 1935 года.

Само по себе неотожествление государства с родиной — дерзость, оценивать достоинства государства было грехом непростительным — в глазах нашего, не французского, разумеется, государства. Но чего у нас не отнять — это свободы перед внешними ограничениями: нас держали в плену внутренне признаваемые нами оковы.

Какой же управитель: хороший, или дурной, или впавший в ошибку, — был сужден, по нашему тогдашнему убеждению, нам, советским студентам 1943 года?

В начале рукописи четыре-пять строк почти стертые, но можно разобрать посылку: без правильного представления о наиболее общей схеме хода всемирной истории нельзя судить о литературных фактах. Далее шло:

«Неправильно представление о всей известной истории и «доистории» человечества как о линейном процессе, начавшемся с очеловечения стада и продолжающемся вперед, в бесконечность, в преодолении новых и новых противоречий, пока наконец по преодолении одного какого-то из этого ряда противоречий не настанет на земле мир и в человеках благоволение. Вся прошедшая, настоящая и будущая докоммунистическая история общества — это первый законченный диалектический цикл, история развития и преодоления только двух изначальных противоречий, разрушивших коммунистическое единство и своим принципиальным разрешением сделавших допустимым наступление новокоммунистического единства».

Почему-то схема циклическая казалась нам более убедительной, чем схема линейная. Вероятно, она более соответствовала «диалектическому материализму». Главное — мы очень хорошо и уверенно тогда знали, что есть истина, а что — заблуждение:

«Кроме того, неправильно представление о сравнительной величине (вернее, значительности) трех стадий общественного развития: первобыт-

нокоммунистического, междуккоммунистического и новокоммунистического периодов. Если первый и третий есть основные по продолжительности состояния общества, если все изменения физической и социальной природы человека в основном созревают количественно именно в эти периоды, то средняя стадия, т. е. эпоха, считающаяся обычно основой социальной истории, есть лишь короткий скачок или цепь революций, переворот, изменивший характер единства, устраняющий все существовавшие в предшествующий период единства социально-экономические противоречия»

Мое нынешнее внимание сразу остановилось во времени, виде и залоге причастия «изменивший» Время прошедшее (уж никак не всего только «долженствующий изменить»). Вид — совершенный, то есть действие, которое начато и закончено. Точно так же у Маркса, Энгельса, Ленина, Троцкого, Бухарина, Сен-Симона, Фурье, Чернышевского, Томаса Мора, Кампанеллы, Вераса. — у бесчисленных утопистов от античности до наших дней: настоящее время глаголов и причастий уверенно употребляется вместо сугубо предположительного, условного будущего Мы тогда подавляющего большинства этих авторов еще не читали. Классики марксизма-ленинизма в школьно-вузовской адаптации, Чернышевский (в ней же) — и все, весь, казалось бы, в этом жанре наш багаж. Но за полвека прочитано мною большинство тех, кто мог бы, как долгое время думалось, поддержать нас верящих против нас сомневающихся. Сегодня я хорошо их знаю. И единство стиля (их и тех лет нашего) меня потрясает снова и снова. Логика утопии зримо правит ее языком. Ее грамматикой, а не только лексикой.

Итак, трехстадиальная историческая схема открыта. Ее конкретные исторические обоснования в силу их — для авторов — самоочевидности, а также по причине незнакомства самоуверенных историсоффов с историей пребывают за скобками их аксиом.

Что же внутри скобок?

«Обе коммунистические стадии сходятся в том, что ими предполагается единое безгосударственное общество — союз равнобогатых и равносвободных.

Специфичность первобытнокоммунистической стадии заключается в следующем:

1) человечество всей земли в этот период было раздроблено по очагам своего возникновения на отдельные группы, экономически между собой не связанные, — на первобытнокоммунистические общины;

2) производственная техника первобытнокоммунистической стадии была так примитивна, что производственное значение полноценного члена общины определялось его физической силой. Интеллектуальная деятельность, необходимая в ходе процессов труда, легко совмещалась с физической деятельностью, так как и та и другая были весьма несложны». (Выделено теперь. — Д. Ш.)

Слово «предполагается» вряд ли свидетельствует о гипотетичности сказанного для его автора. Скорее о непреложности («так и только так»), о полной предсказуемости исторического будущего. Что же до «равнобогатых» и «равносвободных», то это, разумеется, Энгельс и его гимны прекрасному, гармоническому первобытнообщинному строю. О жестокости первобытной поло-возрастной иерархии, зримо уходящей корнями в животный мир, мы знали не больше, чем позволял себе знать Энгельс. Позднее мы увидели, как легкомысленно отметал он соображения своих оппонентов. Нам-то их даже не приоткрывали. Мы отметили значение физической силы — могли бы отметить и ум, и жестокость, и ловкость, и хитрость, и опыт, и всяческие другие способности, всегда неравные и влияющие на роль особи или индивидуума в группе. Но такой пронизательности не проявили, как не задумались и над сложностью бытия первобытного человека. Идиллия осталась идиллией. Кроме всего прочего, мы просто имели много друзей — с детского сада. Мы очень любили свою общность, свою дружбу. Нам в этом повезло. Понятия «коллектив», «коммуна», «община» были для нас окрашены положительными эмоциями по определению. Подозреваю, что и от этого в нас что-то — после всего пережитого! — уцелело.

Почему же не оказался вечным первобытный «золотой век»?

«В развитии техники производства и в росте потребностей общества обе особенности первобытного коммунизма превратились в социально-экономические противоречия: 1) интересы отдельных общин столкнулись, 2) организационные, интеллектуальные и прочие не непосредственно производственные процессы так усложнились, что оказались несовместимыми с чисто физическими процессами, в свою очередь ставшими более сложными.

Из первого противоречия возникла необходимость в освобожденной военной силе. Второе противоречие обусловило появление профессионального организатора... (потенциально-профессиональной бюрократии).

Бюрократия и армия, не окупая себя в производстве и существуя за счет трудящихся, положили начало: 1) эксплуатации — присвоению продуктов чужого труда; 2) частной собственности на средства производства — обеспечению эксплуатации большинства меньшинством (физическому и юридическому)»

Не вдаваясь ни в темп исторического галопа, ни в его терминологию, в которой свалены в кучу различные роды занятий, зададимся вопросом, который будет постоянно возникать и впредь. Если все эти нехорошие люди (организаторы, вожди, бюрократы, частные собственники — в общем, «буржуины» и «плохиши», см у Аркадия Гайдара) появились из нужды в них общества, то почему их прокормление обществом же — это эксплуатация? Им дают их долю вроде бы за дело? Но в ту пору мы смотрели на этот вопрос по-большевистски просто: я сделал — ты съел, и точка, и никаких гвоздей. Пусть нас утешит, что множество ученых мужей и дам смотрели и продолжают смотреть так же.

Чуть ниже мы получаем определение прогресса и прогрессивности, над которыми издавна бьются как прогрессисты, так и консерваторы (выделено теперь. — Д. Ш.):

«Междукommунистическая стадия направлена на устранение, во-первых, присущего первобытному коммунизму междуобщинного раздробления (в настоящее время — международного). Во-вторых, она утверждает человека в его социальной природе, т. е. лишает его значения источника физической силы, сводя производственные процессы к процессам умственным, осуществляя и первое и второе в развитии производственной техники и производственных отношений.

Формации междукommунистической стадии должно судить только (заметьте: «только»! — Прим. Д. Ш., 1993) по роли их в этих процессах: 1) в процессе объединения и 2) в росте значения силы мышления в ущерб значению физической силы людей в производстве материальных (почему только «материальных»? — Прим. Д. Ш., 1993) ценностей».

На поле этой страницы старинной (полвека!) рукописи, точнее — ее ксерокопии, написано нынешним почерком тогдашнего автора: «Во давали!» Главное — стройно и опять-таки «просто, как все великое» (Ленин об учении Маркса). Объединимся, во всех отношениях уравниемся, на физическую работу отправим машины — и вперед!

Едва ли не главным залогом безошибочности этой конструкции была для нас ее, в наших глазах, справедливость. Чем замечателен вечный двигатель? Почему поколения маньяков не перестают биться над его изобретением? Тем, что неиссякающая даровая безотходная энергия — это хорошо, это сразу снимает все неприятные проблемы производства и потребления энергии. А раз хорошо и тем более сразу, то нужно. А уж если нужно, то не может не быть возможным: все то, что «правильно», то и возможно. Справедливость (то, что правильно, хорошо) была, в нашем понимании, синонимична равенству. Плохо, когда одни продают дешевые распредовские продукты по бешеным ценам на рынке, а другие — голодают. Мы в своем дружном кругу старались делить конфеты ли (до войны), карманные ли деньги, хлеб ли (в войну), книги ли поровну. Но из-за неравенства наших семей так не получалось. И это нас мучило. Мы сердцем чувствовали, что равенство — это благо, а неравенство — зло. Я уверена, что и в масштабах истории одним из

истоков приверженности стольких высоких умов и таких масс людей к идее социализма являлось душевное ощущение, что неравенство — это несправедливость. Поэтому равенство должно было восторгаться во всем. Мы не задумывались над возможными наполнениями понятия «равенство», над его толкованиями и аспектами, не оговаривали различий между равенством и одинаковостью. Равенство — это справедливо! Следовательно, иначе не может быть. «Не должно быть» и «не может быть» воспринимались как синонимы. Один из столпов утопического мышления — неразличение между достоинством произвольно избранной цели и ее достижимостью, возможностью. Но перефразируем известный тезис: если человек в юности не утопист — у него нет сердца и воображения. Если же он утопист и в зрелости — горе ему и тем, кто в его власти.

Некоторые детали моих собственных записей, давно и прочно забытые, меня огорошили. Так, в качестве дискретной изолированной единицы первобытнокоммунистического человечества упоминается «община по месту очеловечивания». Почти что очеловечивание обезьян по месту прописки. Бедные дети!

И далее (выделено теперь. — Д. Ш., 1993):

«Мировое производство в настоящее время представляет собой принципиальное повторение частнокапиталистического производства одного государства. то же отсутствие единого плана, та же конфликтная связь, то же стремление к централизации — к объединению производственных единиц и к сужению круга капиталистов.

Что же касается производственной техники капитализма, то, открыв вне себя источник энергии, человек избавил себя потенциально от роли источника физической силы. Капитализм — создатель источника энергии с коэффициентом полезного действия ... процентов»

Необходимость «единого плана», государственного и планетарного, у автора сомнений пока не вызывает. До таких сомнений еще двадцать лет. Отточие же вместо точного количественного определения «кпд капиталистического источника энергии» поставлено с трогательным доверием к возможностям человеческого разума, своего в том числе. Автор собирался, по-видимому, в ближайшие дни этот кпд рассчитать или отыскать в библиотеке и вставить в текст Мелочь, даже не оговоренная.

Мы не знали тогда, что повторяем Энгельса и Каутского, когда говорим, подчиняясь формальной логике Схемы (выделено теперь. — Д. Ш., 1993):

«Если мы принимаем за аксиому доказанное Марксом положение, что капитализм от момента его оформления и до коммунизма развивается в возрастающей концентрации средств производства и капитала, в сужении круга собственников и в расширении производственных объединений, если мы примем за аксиому также доказанную Марксом мысль о том, что в капиталистическом обществе политическая власть становится производным от власти экономической и стремится с ней абсолютно слиться, то едва ли империализм окажется логическим завершением этих тенденций.

Действительно, стремление к концентрации производства и капитала (как в феодализме — стремление к централизации политической власти) предполагает конечную концентрацию в точке и превращение производства в систему, охватывающую все производство и потребление общества (аналогично — в феодализме централизация приводит к созданию национального государства с единственным центром политической власти — к абсолютизму).

Со своей стороны — сужение круга собственников предполагает в своем завершении собственника единственного, аналогично тому как централизация политической власти в феодализме приводит к сосредоточению власти в руках государства (в лице монарха).

Также — слияние власти экономической и политической предполагает соединение экономической и политической власти в одних руках, и если экономическая инициатива в процессе развития капитализма централизуется, то соответственно централизуется и политическая инициатива. Если при феодальном абсолютизме власть в государстве принадлежит монарху, то экономический абсолютизм как завершение централизации

экономической... предполагает также единую волю... диктатора-организатора, лично — экономически и политически — растворенного в государственности или слитого с ней»

Этому отрывку с его неуклюжей стилистикой и прямолинейной экстраполяцией настоящего в будущее можно предъявить много претензий, лежащих на поверхности нашего рассуждения. К примеру: аксиомы не требуют доказательств, **ибо не могут быть доказаны**, во всяком случае в данное время (математик Валька должен был ткнуть нас в это носами. Ведь мое «наши» не стилистическая фигура: мы действительно либо все постигали вместе, либо сообща обсуждали). Маркс не доказал **непротиворечиво** ни одного положения своей доктрины, принадлежавшего ему и Энгельсу, а не имевшегося и у других авторов (этого тогда мы просто не знали). «Империализм как высшая стадия капитализма» (Ленин) — это вообще не определение. Феномен империализма расположен в сфере не столько производственно-экономической, сколько политической. Он не привязан к тому, что марксисты называют социально-экономическими формациями. Мы в своих рассуждениях имели в виду монополистический капитализм, а не империализм, который сосуществовал и с рабовладельческим строем, и с кастовой деспотией, и с феодализмом, и с капитализмом разных эпох, и с социализмом. С таким же основанием можно утверждать, что в ряде случаев все эти «способы производства» и не сочетались с имперскими политическими тенденциями, традициями и устремлениями. Ленин отождествил империализм с монополистическим капитализмом слишком жестко: это отнюдь не синонимы. Кстати, мысль о том, что предельная, абсолютная капиталистическая монополизация завершится растворением единственного собственника в государственном аппарате, встречается и у Энгельса, и у Каутского, и у Ленина. Нас, как и их, привела к этой мысли формальная логика Схемы.

Но независимо от того, что сказано выше, эти наши рассуждения таили в себе опасные для режима зерна. Прорастут ли в конце концов эти зерна сквозь броню марксистских формально-логических спекуляций, чтобы стать полновесными колосьями, или нет, зависело лишь от одного **внутреннего** обстоятельства (внешних было великое множество, и достаточно грозных). Продолжим ли мы размышлять честно? — вот в чем состоял роковой вопрос.

Намного позднее, перечитав от корки до корки тех, в ком мы в юности, почти их не зная, безоговорочно видели своих учителей, я убедилась: они часто были **недобросовестны**. Они нередко сознательно уходили от честного спора. Их современники предлагали им не только критику, но и альтернативы — они отворачивались или бранились. Иногда заведомо клеветали. Когда их наследники обрели власть, то стали отмахиваться уже не от доводов, а от голов, в которых эти доводы созревали. Они оказались потрясающе для своего уровня духовного развития проницательными, когда инстинкт самосохранения подсказал им взять за горло все те области знания, в которых прорезывались действительные принципы функционирования самоорганизующихся систем (кибернетику, генетику, исследования физиологических и биоэкологических закономерностей и т. д. и т. п.). Текст, который следует ниже, тоже содержал в зародыше взрывоопасные идеи. Но взорвутся ли когда-нибудь эти идеи, зависело опять же от того, будем ли мы и впредь (если уцелеем физически) **честно мыслить**. Или, подобно большевикам, отдадим предпочтение успешной, как им представлялось, политике перед добросовестностью наблюдений и размышлений (выделено теперь. — *Д. Ш., 1993*):

«Социализм, непосредственно следующий за империализмом (т. е. монополистическим капитализмом. — *Прим. Д. Ш., 1993*), исключает понятие частнокапиталистической собственности и **внутри государства подавляет безоговорочно всякую личную экономическую и политическую инициативу**.

Власть политическая и экономическая отождествляется с государственной, а производственная система перерастает в систему, охватившую все производство и потребление общества, внутри которого антагонизмов нет.

Общество превращается в массу трудящихся, заключенную в государственность как в оболочку и укрепленную на государстве как на каркасе...

Социалистический пролетариат и социалистическая производственная техника присущи капитализму в такой же степени, как и социализму,

причем последняя (техника) социалистического производства в данном конкретном случае значительно ниже техники передовых империалистических стран»

Сами того еще не понимая, мы уловили одно из главных противоречий большевистской политэкономии — противоречие именно с марксистских позиций. Для марксиста вера в преопределяющий характер средств производства так же фундаментальна, как для христианина — вера в воскресение Христа. Признав менее производственно развитый, чем капитализм, советский социализм первой стадией коммунизма, большевики через этот марксистский первоdogмат переступили. Мы — не смогли. Но продолжим цитирование:

«Не имея возможности отрицать это, политэкономы социализма строят свое доказательство социально-экономической «самостоятельности» социализма на утверждении качественного своеобразия его производственных отношений.

Однако — при неизменном техническом способе производства, при неизменных производительных силах никаких оснований для принципиального изменения производственных отношений возникнуть не может и не возникло.

Принимать производственные отношения и технику производства за две параллельные линии — не значит ли это объяснять специфику первых чисто идеалистически или вовсе не объяснять ее?»

Объяснять что-либо «чисто идеалистически» было в ту пору в наших глазах занятием постыдным. Ни малейшего представления о различных философских наполнениях слова «идеализм» у нас не было. Отцы-основатели и наши лекторы употребляли это слово как ругательство, иногда — снисходительное (например, по отношению к Толстому). «Марксизм», «материализм», «научность», «истинность» были для нас еще синонимами. Но мы учуяли нечестность официальной идеологии в ее отношении к нашим, казалось бы, общим святыням и не закрыли на это глаз. Это было для оборотня небезопасно. Все нижеследующее мы доказывали не ему, а себе: мы постигали, а не обличали. Это заставило меня упорно пытаться растолковать наши соображения следователю: вдруг поймет? Тогда — за что нас судить? Итак, бедный Василий Дмитриевич Михайлов должен был уразуметь, что при социализме (выделено теперь. — Д. Ш., 1993)

«...пролетариатом физического и умственного труда становится общество в целом; капиталистом, присваивающим прибавочную стоимость, — одно государство. Право владения средствами производства централизуется в единственной точке...

Отказавшись от предвзятого мнения, между социализмом и империализмом... можно отметить, как и следовало ожидать, лишь некоторые количественные расхождения. Принципиальных различий нет, и общие качества капитализма присущи равно обоим этапам и наиболее четки в последнем. (Тогда мы еще не понимали, что переход от множества конкурирующих частных собственников к одному совокупному и безличному есть различие принципиальное и качественное. — Прим. Д. Ш., 1993.)

Если империализму свойственна тенденция монополизации средств производства и капитала, что дает историкам основание называть его монополистическим капитализмом, то социализм завершает централизацию внутри одного государства, и потому более выразительным термином для обозначения его как высшего капиталистического уклада является термин «монокапитализм».

«Социализм», восходящий к понятию «общество», не раскрывает сути уклада, и термин этот может быть принят лишь как неправильное название частного случая монокапитализма»

Термин «монокапитализм», который не мог не насторожить следствие, принадлежал моему ровеснику, другу, кузену и однодельцу Марку Черкасскому. В автобиографическом очерке «Тетрадь на столе» я рассказала о Марке и об открытии, воплощенном для нас в его термине. Марк пропал без вести в СССР в 1971 году. Жена его, Валя Анастасьева-Черкасская, умерла от рака в Киеве в 1977 году. Дочь

Анна с мужем и сыном живет в Израиле. Я и сегодня думаю, что термин Марка блестящ по своей точности и емкости и что в нем сконденсировались основные возможности наших дальнейших обществоведческих поисков (точнее — моих).

Я ловлю себя и на том, что мне хочется похвалить шумную стайку самоуверенных девочек и мальчиков, брызжащих открывательским азартом, которым казалось, что до абсолютной истины рукой подать, за их догадку. Все-таки в те годы поместить объявленный построенным и действительно построенный социализм не в начало коммунистической эры, а в финал эры капиталистической было уже чем-то. Отождествление — без подсказки — «реального», как назовут его через много лет, социализма с абсолютным государственным капитализмом обещало в будущем способность видеть и обобщать. Важно и то, что монокапитализм не представлялся нам построенным по ошибке или по чьей-то злой воле вместо социализма. Как уже было сказано, «идеальный совокупный капиталист» («государство-капиталист») прозвевался и Энгельсом. Но для него это была высшая антитеза социализма. Для «рабочей оппозиции» начала 20-х годов (и не для нее одной) строй, похожий на наш монокапитализм, был злокозненным порочным итогом аппаратных «бюрократических извращений» (Ленин). Для нас этот явно несимпатичный строй и являлся социализмом, который иначе построить нельзя было. Ну а потом? Каким образом этот наш «капиталистический социализм» (монокапитализм) мог и должен был превратиться в начало «новокоммунистической стадии»? Очень просто («Просто, как все великое»)! Марксово: «Бьет двенадцатый час. Экспроприаторов экспроприируют!» — относилось к частным капиталистам, к их банкам, трестам и монополиям. Мы тоже предполагали, что «экспроприатора экспроприируют». Но экспроприатор был у нас другой: совокупный, и притом единственный. Формальная логика рассуждения вела к тому, что экспроприировать надо будет «всеземное» монокапиталистическое, оно же — социалистическое, государство. Когда? После выполнения им его задач. Как? Над этим еще успеем подумать. Утописты на то и утописты, чтобы не задумываться над тем — как.

Но вот что однозначно: весь наш «междукommунистический период» имел своей целью «скачок из царства необходимости в царство свободы» (Маркс). Между тем я отчетливо помню (и это подтверждают мои заметки), что частный капитализм не устраивал нас именно своей свободой. Впрочем, это было дико, но неоригинально. Кто из революционных благодетелей человечества не начинал с идеи лишения неразумных и малых сих свободы действий — во имя их же спасения, ради их же пользы? Очень немногие. И не только революционеры (и не только — с идеи).

Насилие нам, конечно, не нравилось. Особенно по отношению к нам. Это тоже не ново: деспоты и насильники свою свободу ревниво и грозно оберегают от любых на нее посягательств. Помните у Пастернака в «Спекторском» о двух братьях:

Я наблюдал их, трогаясь игрой
Двух крайностей, но из того же теста:
Во младшем крылся будущий герой,
А старший был мятежник, то есть деспот.

Наша одержимость Схемой не могла смириться с нецелестремленностью свободного мира к нашей цели. Нас отталкивало от демократии противоборство в ее границах противоречивых тенденций, воззрений, сил, о котором мы уже догадывались. Неразбериха свободы досадно замедляла «переворот от единства к единству через многоплановую дифференциацию» (одна из наших формул той поры). А его нельзя было замедлять! Мы руководствовались насущной необходимостью как можно скорее завершить ужасную «междукommунистическую стадию».

Тогда думалось так (выделено тогда. — Д. Ш.):

«Капитализмом в начале формации будто бы утверждалась свобода личности, политически подавленная феодализмом. В сущности, капитализм, снимая политико-правовую деспотию — деспотию силы и неравенства происхождения, — заменил ее связью, значительно более свойственной социальной природе, чем феодальная полуфизическая зависимость, — производственным подчинением и неравенством производственных функций.

Значительность личности при капитализме измеряется соответственно производственной функции. Неравноправие классов при капитализме есть выражение неравнозначности производственных функций различных общественных групп.

Задача монокапитализма — уравнение всех производственных деятелей **внутри государства** в производственных функциях, следовательно — в правах».

Иными словами, «равное право есть неравное право для неравного труда» (Маркс) и «право производителя пропорционально его труду» (он же). Маркс именует эти положения «идеальным буржуазным правом». Итак — банальный марксизм. Однако нижеследующий пассаж несколько озадачивает. И обнадеживает (он тоже способен прорасти отрицанием). Он говорит и о том, что у детей нет иллюзий относительно страны, «где так вольно дышит человек» (выделено теперь. — *Д. Ш., 1993*):

«Но, беря на себя руководство процессом и не допуская никаких отклонений, централизуя всю инициативу, государственность монокапитализма объединяет тем самым производственных деятелей не равносвободных, а равнобесправных».

Но я боюсь, что лейтмотив следующих отрывков поставит меня как адвоката «раскрытой и оперативно уничтоженной антисоветской группировки» («Обвинительное заключение» 1944 года) в нелегкое положение. Замечу, отклонившись от мировоззренческой линии своего повествования: угрожающе злобные формулировки врученного каждому из нас «Обвинительного заключения» так меня испугали и ошеломили, что я, принеся его после подписания 206-й в свою камеру-одиночку, разорвала брызжущий ядом документ в клочья и бросила в парашу. Не от ярости, а от страха. Мне жутко было оставаться в камере с ним наедине. Его фразеология, дышавшая смертельной угрозой, оказалась для меня полной неожиданностью, хотя ее очертания сквозили уже порой в протоколах, которые я подписывала. Говорила я, но протоколы писал, а значит, и формулировал, Михайлов. В них было вроде бы то, что я говорила, но одновременно и не то. Большинству подсудимых «доперестроечной» эры знаком этот зловещий фокус. Со мной на следствии тоже говорили как будто бы почти человеческим языком. Ничего похожего на врученную мне «обвинилку» я от Михайлова не слыхала. Правда, когда я сказала искренне мне сострадавшему тюремному надзирателю Васильеву-младшему, что нам обещают условное осуждение, он прошептал: «Верь им больше!..» Васильев, мой одноклассник, был переведен в тюрьму после госпиталя, по инвалидности.

Итак, далее следовал в моей рукописи железно логический, как нам тогда представлялось, набор фикций. Частично они были нам внушены, частично — выработаны самостоятельно для временного, как потом оказалось, пользования. Думаю, что подспудно нами владела потребность обелить, оправдать нечто не подлежащее, как мы начинали подозревать, никаким оправданиям. Иначе (если не сумеешь найти оправдания) надо было бы действительно становиться антисоветской группировкой со всеми вытекающими отсюда ужасами одиночества, беззащитности и осужденности всей советской машиной. И мы старались до последней возможности оставаться группировкой коммунистической. Это нас психологически защищало и укрепляло. Уж слишком неравным было бы противостояние и слишком горестным — разочарование, окажись мы способными дойти до конца сразу. Но многого мы и просто не понимали. Тогда виделось так:

«...ни одна диктатура в истории не была так заинтересована в усилении мощи своего государства, как эта... Когда диктатура есть диктатура класса, то, во-первых, каждый ее носитель скорее преследует интересы и выгоду своего класса, чем интересы всего производства в целом. Во-вторых, обладая в какой-то степени личной производственной инициативой и, следовательно, заинтересованностью, он скорее преследует личные цели, чем подчиняет себя достижению целей Системы.

Когда государственность не связана с классом, идеология класса не заслоняет общесистемных производственных целей. Но государственность монокапитализма интересами производства с обществом в целом тоже не

связана. Если при частном капитализме производственные интересы одного капиталиста дисгармонируют с производственными интересами всего государства, то в монокапиталистическом государстве интересы любого представителя его просто не есть производственные интересы и к результату труда никак не относятся. Диктатура объемлет производителей и самодовлеет...

Здесь государственность приняла на себя функции организующих классов всех формаций: защитные функции феодалов, организаторские — капиталистов, и всю производственную инициативу общества, класса и человека. Теперь производство есть государство, а интересы массы трудящихся просто не связаны с производством, с продуктом труда: ее занимает не труд, не продукт, а зарплата. Причина этому не столько в том, что личная производственная инициатива подавляется сверху, сколько в том, что, лишённые прав на владение средствами производства, массы утратили заинтересованность в действии, потребность в инициативе (оба слова выделены тогда. — *Прим. Д. Ш.*), которые в частнокапиталистическом обществе были свойственны также не массам, а узкому кругу капиталистов. Теперь же не только трудящиеся, а весь исполнительный аппарат монокапиталистической диктатуры (очень многочисленный, т. к. на нем лежит исполнение минимум в четырех направлениях: план, контроль, руководство, оборона) так же лишен производственной инициативы, как контролируемые им трудящиеся, и так же мало способен и склонен поэто работать честно и добросовестно».

Все-таки в этой несусветной путанице догадок, нелепостей и непонимания фундаментальных проблем сквозит кое-где живая и опасная для режима мысль. Здесь подчеркнуто, что государственность монокапитализма не выражает интересов общества. Государство-монокапиталист довлеет себе. Оно живет и действует во имя своего выживания. Оно самоцель, но при этом составляющие его люди не склонны работать честно и добросовестно. Почему это так и, главное, иначе быть не может, мы еще не знали.

Но продолжим наше путешествие в прошлое:

«И только носитель государственной власти — диктатор — в силу условий подчинен в своих действиях усилению мощи всего государства. Он не связан ни с классом, ни с обществом, он соблюдает свои интересы и больше ничьи. Но суть его в том-то и заключается, что он есть диктатор, и если суть его именно в этом и заключается, то государство, где правит такой диктатор, будет им спасено. Вся сложная принудительно-поощрительная система монокапитализма, необходимая для того, чтобы людей, заинтересованных не в продукте труда, а в оплате его, заставить работать, им будет направлена на повышение производительности труда. Он не допустит никаких отклонений в сторону чьей бы то ни было эгоистической выгоды, в ущерб производственным интересам. Эта задача решается просто: должен оплачиваться продукт, а не должность».

«Просто» — это у нас не только от «основоположников», но и от наших современников вплоть до нынешних. Владимиру Ильичу для осуществления этого «просто» достаточно было «четырех действий арифметики и фабричного опыта заводских рабочих» («Государство и революция»), а также правильно реорганизованного Рабкрин (Рабоче-крестьянской инспекции). Центральному экономико-математическому институту АН СССР (ЦЭМИ) в 1967 — 1985 годах требовались для этого система компьютеров и воз диссертаций. Генерал Ружкой и вожди реанимированной КПСС объясняли народу, как это просто, на языке жестов. Мудрено ли, что мы в 1943 — 1944 годах проявляли столь же дремучую экономическую малограмотность? Однако продолжим наши откровения:

«Но т. к. диктатор есть человек, а человек в разной степени может быть объективным и зорким, то постоянно существует опасность перерождения государственного эгоизма диктатора в животную трусость человека у власти. Тогда начинает оплачиваться не труд, не продукт, а отсутствие качеств, опасных диктатору: ума, честолюбия, самостоятельности. За-

дача диктатора — использовать эти качества. Он вместо этого их в лучшем случае нейтрализует и игнорирует»

В нижеследующем отрывке не меньше тоталитарных подмен, чем в лозунгах оруэлловского «ангсоца», в материалах его Министерства любви и Министерства правды. Но вот в чем, снова замечу, разница: здесь эти одиозные парадоксы произносит не циничный диктатор, не инфернальный Великий Инквизитор, не палачествующий функционер диктатуры, не лицедействующий идеолог. Их свободно и независимо постулируют самоуверенные ерши, которые вот-вот будут выловлены и брошены в уху.

Вот она, мазохистская наша логика (выделено тогда. — Д.Ш.)

«Понятие «идеальный диктатор» мы отождествляем с понятием «совершенная личность» и забываем при этом, что лучший диктатор есть лучший диктатор, а не человек с высочайшими личными качествами

Точно так же представление о монокапитализме подсознательно связывается нами с единственно известным нам частным случаем этого строя — с социализмом. Мы помним, что социализм «задуман» как коммунистическая система, и идеальный монокапитализм представляем себе как хотя бы идеальную демократическую республику, в которой отсутствует частная собственность на средства производства. На самом же деле историческая сущность монокапитализма заключается именно в том уравнении производственных функций, в том подавлении инициативы, которые нас лишают свободы и творческой самостоятельности, а идеальный монокапитализм является самой жестокой деспотией. На практике идеальный монокапитализм есть идеальный диктатор, и характер организации зависит в огромной мере от качеств носителя государственной власти — от качеств диктатора.

Предполагать диктатуру альтруистическую и бескорыстную — трудно. Значительно более вероятно перерождение любого диктатора для народа в диктатора для себя, т. к., став у кормила государственной власти, диктатор, естественно, отождествляет себя с государством, а не с народом. Чем глубже диктатор чувствует это тождество, тем прогрессивнее его диктатура. Здесь, в сущности, совершенно теряет значение тот факт, движет ли диктатором честолюбие, заставляющее его быть нетерпимым к любым притязаниям на разделение власти, или он коммунист и подавление чьей-то свободной воли — для него это жертва. Имеет значение только то, насколько диктатор чувствует свое тождество с государством, насколько ясно диктатору, что мощь диктатуры — это мощь государства, а мощь государства — это мощь производства»

Итак, мы советовали товарищу Сталину быть еще грознее, чем он был. Еще всевидящее и всеслышающее. Мы призывали его решительней жертвовать при подавлении «чьей-то свободной воли» своим коммунистическим альтруизмом (его альтруизмом!). Да здравствуют Министерство любви и Министерство правды! Замечу, что Макиавелли мы тогда еще не читали. Все схождения с классикой возникли из нашей преданности идее.

Вместе с тем полной слепотой мы все-таки не страдали и вне своих идеологических вывертов видели происходящее весьма отчетливо:

«Сущность советского монокапитализма определилась довольно быстро. Фиктивность демократизма стала бесспорной. Государством обеспечивается в основном тот круг, который служит ему защитой: высшее офицерство, высшая бюрократия, командиры промышленности и хозяйства, — причем обеспечивается не по труду, а по занимаемой должности».

Заметим, что сама должность зависит прежде всего от лояльности к политике диктатуры — ранее мы об этом упоминали.

«Независимость благосостояния руководителей от объективных результатов труда создает «боковую» инициативу в приобретении жизненных благ: жажда обогащения и привилегий превращает «аристократию приказчиков» в касту, девизом которой становится правило «услуга за ус-

лугу» — неписанный и непреложный закон советского производства и котребления».

Напомним, что «производство» — это для нас, в данном контексте, все: и производство любых продуктов труда, и услуги, и то, что спустя двадцать лет мы назвали бы производством информации. Конечно же, о способах и возможностях оплаты «по труду» всех этих не поддающихся и поддающихся прямому учету видов деятельности мы не имели ни малейшего представления. О процессах демократической саморегуляции такой оплаты — тем более. В критической части своих построений мы, как, впрочем, и все утописты, могли попасть в яблочко. В сфере же альтернатив, рецептов, конструкций и т. п. довлекло всему ленинское «просто, как все великое».

Итак:

«Внепроизводственные экономические зависимости и связи и равнодушные к результатам работы там, где приходится выбирать между собственной выгодой и интересами дела, превращают зависимость от командира, от производства в зависимость от человека, от произвола... Спасение тысяч и тысяч в том, что государственная собственность совершенно естественно не отождествляется ими с общественной, т. е. личной, объединенной с другими личными».

Определение «личная» в приложении к понятию «собственность» объективно было, конечно же, эвфемизмом, подсознательно призванным заменить абсолютно неприемлемое для нас тогда понятие «частная» (собственность). Мы не задумывались еще над тем, как понимать это наше «общественной, т. е. личной, объединенной с другими личными». Как технологически осуществить это объединение при отсутствии конкурентного рынка? Этот роковой для всех социалистов, включая марксистов, камень преткновения на пути нашей мысли еще не возник. Продолжим, однако, самоцитирование:

«Государственная собственность — это или ничья, или чья-то, украденная у общества, и она поэтому расхищается сверху донизу при малейшей возможности. Человек, ворующий у государства, чувствует себя так же, как рабочий, ворующий у капиталиста... И даже свободней, т. к. капиталист — это человек и владелец, а государство безлично... В огромную безынициативную массу включились и непосредственные руководители производства, ценность руководителя перестала быть ценностью руководителя и превратилась в ценность приказчика. Неравноправие между рабочим и предпринимателем было оправдано в производстве инициативностью предпринимателя. Неравноправие между рабочими и приказчиками ничем в производстве не будет оправдано, кроме большей заинтересованности приказчика в результате труда. Но для этой заинтересованности нет никаких производственных оснований, и она может быть создана только законодательно, т. е. диктатором».

Итак, живые догадки причудливо сосуществовали с мертвыми, но агрессивными штампами идеологической казенки. И эту впившуюся в плоть нашей мысли колючую проволоку мы упорнейше, искренне, неподдельно силились («исторически», «диалектически», «объективно» и т. д.) оправдать. Вчитайтесь, преодолев путанность рассуждений, в непосредственное продолжение предыдущей цитаты:

«Может быть создана, но в советском социалистическом производстве просто исключена — оплата труда по должности вместо оплаты по результату труда. Государство-капиталист заинтересовано в том, чтобы быть сильным государством, и лишь постольку поскольку мощь его слита с экономической мощью страны, оно подчиняет всю свою деятельность усилению именно производственной мощи. Но когда в нем животным (а не социальным) инстинктом самозащиты заслоняется эта простейшая социально-экономическая аксиома — единство мощи экономической и политической, — тогда возникают внепроизводственные зависимости, и тогда государству грозит катастрофа. Государство-капиталист (а в феодализме абсолютный монарх) обрекает себя на гибель, если истощает систему,

т. к. как бы ни выглядела эта зависимость, но государственность и абсолютизм существуют постольку и стольку, поскольку и сколько в них будет нуждаться производитель».

Снова — те же прозрения и та же стена: «...капиталист — человек и владелец, а государство безлично». Поэтому воровать у государства не предосудительно, морально проще, чем у человека; социалистический «приказчик» тоже подчинен абстракции (государству), а не хозяину-собственнику. К тому же он так же бесправен, как рабочий. Поэтому и он не имеет никакой заинтересованности в результате труда. Для него имеет значение лишь одобрение его усилий вышестоящим «приказчиком».

А вот понять, что в конечном счете и диктатор есть не более чем верховный «приказчик» той же абстракции (диктатуры), что отсутствие чувства собственника и безынициативность хотя и наличествуют, но не исчерпывают всех причин тупиковости монокапитализма, мы еще не могли. В нашем сознании отсутствовало огромное информационное поле — картина прямых и обратных связей всех конкурентных рынков демократии. Мы не подозревали, что человек, создающий вещь не для собственного потребления, а для продажи, как правило, заведомо заинтересован только в том, чтобы вещь продать, и подороже, а не в ее высоких потребительских качествах и дешевизне.

Если поставщиков всякого рода вещей и услуг много, то каждый из них не имеет иного выхода кроме как понравиться потребителю больше, чем другие поставщики. Чем? Сравнительной дешевизной вещи, ее лучшими качествами, ибо рекламой потребителя дважды не обманешь, доставкой в районы повышенного спроса и т. д. и т. п. Иначе поставщик разорится.

Если поставщик один, он будет держать свой товар в дефиците, производить его на нижнем пределе качества и продавать на высшем пределе платежеспособности покупателя. Если он к тому же и единственный работодатель, то он и зарплату будет платить на выживательном для массы работников уровне. Поскольку государство-монокапиталист к тому же еще и монофеодал, то принудить его ни к чему для него не желательному безоружное общество не может.

Так как мы к этим элементарным вещам только начали приближаться, то говорить здесь о более сложных и фундаментальных причинах неизбежности развала социалистического производства нет смысла.

В нашем сознании начисто отсутствовала еще мысль, что всю многосоставную и сложно взаимосвязанную систему конкурентных рынков частного капитализма приводит в движение именно тот, кто казался нам жертвой этого строя. Казался с тяжкой руки не только Маркса, но и всей бесконечно мною (нами) любимой гуманистической литературы. Америка с детства ассоциировалась в нашем сознании с дядей Томом и Джимми Хиггинсом, Англия — с «Принцем и нищим», с работными домами и долговыми тюрьмами, Франция — с «Маленьким оборвышем», с «Жерминалем» и т. д. и т. п. Я назвала лишь первое, что пришло на ум. (Старой России — от Башмачкина до «Детей подземелья» — нечего и говорить (Кротовое воскресенье, Ленский расстрел были эталонами тирании, не говоря уж о декабристах и «семи повешенных», — и это после всех гекатомб 1918—1940-х годов). Мы ведь уже читали очень разные книги. Но владело умами то, что вызвало жалость в детстве и отрочестве. И кроме того, очень умело все это селекционировалось школой, семьей, Госиздатом — и классика, и переводы, и современная литература. Западный труженик искони был для нас жертвой, зывающей к нашей помощи. Между тем посылки старший брат моей мамы, эмигрировавший в 1902 году, послал из Америки — нам, а не мы из СССР — ему. И мама дрожала от ужаса перед органами, получая эти посылки, а в 1938 году от них отказалась. Но все-таки «Блэк энд уайт» и «Стихи о советском паспорте» декламировались без иронии. Мы твердо ощущали свое преимущество: к «новокоммунистической стадии» ближе-то мы! Так важно ли, кто чуть лучше живет сегодня? Разве жалкие преимущества, воплощенные в дядиных посылках, сравнимы с великолепием «царства свободы»? А оно почти наше.

Вышеприведенный монолог венчался главным гвоздем заблуждения:

«И самое главное, самое трудное в очень тоскливой системе монокапитализма заключается в том, что эта система необходима и исторически це-

лесообразна не с точки зрения государственных деятелей, а с точки зрения поработанных ею трудящихся».

Я бы поставила детям пять баллов за выделенное мною «в очень тоскливой системе монокапитализма». В этом эпитете заключался намек на будущее спасение.

Еще один небольшой отрывок:

«На читателя, никогда не думавшего о монокапитализме, эта статья, если он поверит тому, что в ней сказано, должна произвести тяжелое впечатление. Самый естественный вопрос для человека, воспитанного в близкие к революции годы: «что же делать для того, чтобы получился действительно коммунизм, а не монокапитализм, или социализм, который вообще ни то, ни другое? Несколько более вдумчивый (менее деятельный) марксист должен задать вопрос: «Если это капитализм, если мы с вами это видим, то почему никто ничего не делает? Режим? Цензура? Никогда никого нигде не лишала слова цензура. Когда приходит потребность писать, появляется литература нецензурируемая. (О не прерываемом ни на миг наличии таковой в стране и вне страны мы тогда ничего не знали и своих тетрадей к ней не относили. А ведь уже писали Шаламов и Солженицын, севший в тюрьму в том же 1944 году, что и мы. И пылали невидимые большинству соотечественников бессмертные строки, книги и жизни. — *Д. Ш., 1993.*) Когда приходит потребность действовать, появляется революционное действие. Существуют законы значительно более строгие, чем законы, придуманные людьми, — объективные социально-экономические законы, закон производства. Если законы, придуманные людьми, перестают соответствовать объективным законам, они (законы людей. — *Д. Ш., 1993*) взрываются и перестают быть законами. Остается предположить, что в настоящее время они (друг другу. — *Д. Ш. 1993*) соответствуют».

Стилистически чужеродный своему контексту, своей эпохе «более вдумчивый (менее деятельный) марксист» (выделено теперь. — *Д. Ш., 1993*) вплотную подошел к самой сути проблемы. Фактически он спрашивает, в каком соотношении находится монокапитализм не с идеологией, не с «законами, придуманными людьми», а с объективными законами природы, в том числе и общества. И если он, этот «менее деятельный» (читатель, вы чувствуете иронию в определении полувековой давности?), чем большевики, марксист, не согласится в дальнейшем пренебречь ни одним изъясном своих успокоительных ответов на свои же каверзные вопросы — он крепкий орешек этой проблемы раскусит. Лишь бы не слишком поздно: этот коварный строй так же опасно начать понимать слишком поздно, как бесполезно с решающим опозданием диагностировать рак.

В чем целевое различие между этим студенческим сочинением и антиутопиями XIX — XX веков? Достоевский, Замятин, Булгаков, Оруэлл, Хаксли и другие в ужасе пророчат, будят, зовут опомниться. А здесь убежденно говорят их герои. Причем не отталкивающие, жестокие или тупые герои, нет: милые, чистые, не замаравшие еще своих рук делом, инстинктивно «более вдумчивые, чем деятельные». Но все же ткачевы, все же нечаевы, все же раскольниковы — список велик. Из действительно наилучших побуждений — я-то помню! И все-таки «бесы», ибо, по убеждению этих страстно желавших добра юных людей, уже прозревавших кошмар действительности, всему человечеству следовало сквозь него быть проташенным! Раскольников, их ровесник, остановился, потрясенный жутью содеянного, на двух убийствах. Я уверена и уже писала о том, что главная мысль Достоевского и главный стержень бессмертия его книги — снятие гиперэкономического расстояния между кабинетным разрешателем убийства и физическим убийцей. Достоевский заставил чернильного убийцу переступить через бездну и убить своими руками. Он лишил его как того оправдания, которое есть у солдата и палача («Я убивал не по своей воле»), так и того самоизвинения, на которое психологически опирается теоретик убийства («Я не убивал своими руками»). Великий художник продемонстрировал, что убивать — нестерпимо тяжело, что вменяемый человек, не садист, не дегенерат, не жертва аффекта, безнаказанно для себя убивать не может. Убийство повреждает убийцу: либо он останавливается, либо переходит в разряд нелюдей. Достоевский показал благонамеренным разрешателям убийства, что это такое

технологически, что им придется сделать, выполняя свой замысел, как это происходит. Разумеется, речь шла не о единственно возможной в данном конкретном случае самозащите и не о защите других людей, которых иначе защитить от смерти нельзя. Я знаю наверняка, что ни один из нас подобного испытания наших умствований не выдержал бы. Может быть, мы смогли бы убивать в бою или убить убийцу, защищаясь или защищая, не знаю. Но не «уничтожая классы».

Еще один бродячий сюжет социализма. Бесчисленные советские вербовщики были совершенно правы, когда бесчисленным своим собеседникам в ответ на отказ стать осведомителем говорили: «Как же так? Ведь вы же советский человек?» Многие мемуаристы пишут о таких диалогах.

Прикажете ответить, что не советский? Мы были еще советские. Но я просидела в мучительной для меня одиночке лишних два месяца (уже после суда), потому что дать подписку о «сотрудничестве» не согласилась. Меня удержал опыт отца, ушедшего из жизни, чтобы не стать осведомителем. Я никак не могла назвать себя несоветским человеком: не без оснований я считала себя более коммунисткой, чем мой следователь. Но я честно сказала, что к этому виду деятельности не приспособлена. Узнаю о чем-то опасном для Родины (обязательно с большой буквы) — сама проявлю инициативу. Почему-то отстали. А ведь теоретически мы соглашались, что без «разведчиков» защитники правого дела («наши») обойтись не могут. И пацифизм клеймили, и над ненасилием издевались вместе с Лениным («Толстой как зеркало русской революции»). Но... вот это маленькое словечко иногда и спасает. Если пускает корни в глубине души.

Валька, самый, казалось бы, мужественный и волевой из нас, на пересылке первого лаготделения КазУИТЛК, на двадцатой колонии, уступил моральному (без физического насилия) давлению знаменитого опера Баканова, упомянутого Солженицыным в «Архипелаге», и подписку дал. Но тут же в ужасе рассказал об этом нам с Мариком. Мы тогда были некоторое время на одном участке. Очень сложные взаимодействия, вовлекшие в себя множество лиц, привели к тому, что начальник первого лаготделения майор Факторович, ненавидевший Баканова, отобрал у него Валькину подписку и разорвал ее на глазах у Вальки наедине с ним, хорошо его при этом отmaterив. Больше опер нашего друга не вызывал. Валька и на следствии однажды сбился, едва не погубив своего лучшего друга Ваню Воронина, вернувшегося с фронта без руки. Мы, в общем-то, говорили на следствии почти все, полагая, что у нас нет тайн от советской власти. Но о сказанном не нами, да еще один на один, мы старались не упоминать. Валька же процитировал опаснейшую реплику Воронина, произнесенную тем наедине с ним. Не знаю почему, но Воронина не посадили. Чего ему это стоило (и стоило ли) в смысле карьеры, тоже не знаю. Но он об этом эпизоде знал и рассказал о нем общему с Валькой их школьному другу. Значит, его вызывали. О Вальке, которого очень любил, Воронин говорил потом жестко. Кажется, они после нашего освобождения не встречались. Мы с Мариком этой Ивановой реплики (ночью у обкомовских окон: «Эх, полоснуть бы по стеклам из автомата!») не слышали и подтвердить ее не согласились. Думаю, что Вальку, математика, подводила не только нервность, не только испытанный в детстве ужас от ареста (потом расстрела) отца и долгого пребывания матери в сумасшедшем доме, но и чрезмерная последовательность мышления. Если мы советские люди и по убеждениям — коммунисты, если мы признаем историческую целесообразность монокапиталистической диктатуры и полезность сверхдеспотизма «идеального диктатора», то наша воля и этика должны быть подчинены воле Системы и воле диктатора. Но и Валька сразу же опоминался и отступал перед нравственными мучениями, перед тем же «но»... Под грузом своего сообщения о Воронине и уступки Баканову он оказался на грани самоубийства. Эти две сдачи угнетали его всю жизнь и, думаю, укоротили ее. Он с болью говорил о них со мной в Харькове во время нашей единственной послелагерной встречи в 1965 году. Мир его душе (его уже нет).

Бог ли, случай ли уберегли нас от испытаний более жестоких, чем пятилетний срок. А может быть, нам удалось сравнительно быстро очнуться, потому что мы были участливы и сострадательны?

Троцкий писал в автобиографии: «Люди скользили по моему сознанию, как тени». Ленин цитировал — как прототип своего политического поведения — заливчатскую фразу Наполеона: «Сначала вязаться в серьезную драку, а там посмотрим». Пушкин вычленил психологию мировоззренческих, нравственных и политических эгоцентриков раз навсегда: «Мы все глядим в Наполеоны: двуногих

тварей миллионы для нас орудие одно». У нас не было в душах холодно-смертно-носного безразличия к людям. По нашему сознанию люди, как тени, не скользили. Мы были жалостливы, хотя и пытались, насилуя себя, принимать «кровь на руках палача» за «кровь на руках врача». Помните? Столыпин тишечно призывал Думу не путать одно с другим. В отличие от радикалов, противостоявших Столыпину, мы в душах своих не путали пыточных дел мастеров с лекарскими помощниками. Истины ради должна заметить, что наши идеологические извращения этому упорно противостояли.

Вернемся, однако, к умствованиям тех лет. Почему мы решили, что монокапитализм освобождает общество от классовости и от деления на нации? От классовости, по-видимому, потому, что, будучи выучениками марксистов, мы связывали классовость в основном с отношениями собственности на средства производства. Нет частной собственности — значит, нет классов.

Уничтожение наций мы, очевидно, экстраполировали от своего абсолютного безразличия к национальному происхождению друг друга и окружающих. Национальная и расовая ксенофобия была в наших глазах одиозна почти в такой же мере, как людоедство. Не помню, чтобы кем-то из нас поднимался вопрос о национальной самоидентификации. А круг был смешанный и многие семьи — тоже. О том, что все трое обвиняемых по нашему делу — евреи, заговорила на следствии при нас только одна из помощниц Михайлова, еврейка. Она укорила нас тем, что мы, евреи, выступаем против советской власти, давшей нам свободу и равноправие и спасающей нас от нацизма. Мы пытались объяснить ей, что против советской власти не выступаем. Да еще жена Маленкова сказала матери Марика, когда та в Москве добивалась приема у ее супруга: «Если они евреи, к Георгию Максимилиановичу не обращайтесь: он им еще добавит». Ева Львовна Черкасская встретилась с госпожой Маленковой (впрочем, кажется, она носила другую фамилию) у знакомой дамы.

Нацизм воспринимался нами как массовое безумие, как воскресший «средневековый» (тоже один из штампов советской начитанности) абсурд. До войны я с проявлениями антисемитизма лицом к лицу не встречалась. Вероятно, мы не знали истинного положения дел вне своего круга. В январе 1940 года, в десятом классе, получив на зимние каникулы двухнедельную путевку в дом отдыха для старшеклассников, я услышала там от своего нового приятеля, начитанного юноши из окраинного района Харькова, первое в моей жизни открытое теоретическое обоснование нелюбви окружающих народов к евреям. Это было страшно, но неубедительно. Я пыталась, вернувшись в город, втянуть этого юношу в нашу компанию. После нескольких встреч он перестал приходить. Интересно, как сложилась его судьба? Осенью 1940 года он, как и мои одноклассники (русские, евреи, украинцы, белорусы, «половинки»), должен был уйти в армию. К чьему берегу его прибило?

Раз уж пришлось к слову, замечу: четкое ощущение своего еврейства никогда не доставляло мне душевного дискомфорта. Комплексов — ни превосходства, ни ущемленности — у меня не было и нет. В моей семье тоже. Антисемитизм изначально вызывал и вызывает у меня презрение к антисемитам, а не к себе и своим соплеменникам. Я как бы предчувствовала, ничего о том не зная, отношение к этой проблеме коренного израильтянина (сабры): «Вы меня не любите? На здоровье. Я вас тоже не обожаю. Но свое право на достойную жизнь буду защищать. Для меня это проблема не дискуссионная». Сабра — вид кактуса со сладкими, но колючими плодами. Их надо очень осторожно очистить, прежде чем съесть. Сабры считают повышенную заботу евреев о любви окружающих «галутным синдромом» (психологической печатью рассеяния). На том с этой темой и покончим.

Уничтожение (и классов и наций) мы, конечно же, упаси Бог, не понимали и не ощущали как истребление. Слияние, правовое уравнивание, снятие различий, объединение, тождество — только не физическое уничтожение. «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать» — вот оно, наше «уничтожение наций». И еще: «Откуда знать ему, что с таким вопросом надо обращаться в Коминтерн, в Москву?»

Видели ли мы, что послереволюционный мир плох? Еще как видели! Но не могло же такое происходить без цели, без смысла! В конце концов, единственное, что от нас в ту пору в «этом безумном, безумном, безумном мире» (ведь жестокость — безумие) зависело, это найти происходящему достойное объяснение и ко-

нечное оправдание. Посюстороннее, ибо потустороннее не имело места в наших умах. И мы на какое-то время его нашли:

«Монокапитализм снимает внутри государства неравенство производственных функций, и общество в целом, кроме диктатора, оказывается равновободным или равнопорабощенным. Равноправие и равнобесправие в человеческом обществе имеют один социальный смысл: они создают сознание равного с каждым другим значения, не подавляемого ничем, кроме чисто внешнего (неорганического) воздействия.

Монокапитализм оправдан ролью экспроприатора частной собственности, ролью организатора производства и объединителя наций.

Предел его исторической целесообразности — объединение наций в масштабах земли и доведение производственной техники до уровня, делающего возможным совмещение производительного труда с организационным и распределительным.

Остается последний переворот — переход организаторских функций всеземной государственности к свободному обществу производителей — и земля возвратится к единству.

Совершенно естественная депрессия, наступившая после того, как ожидавшее освобождения общество, очнувшись от революционного экстаза, увидело себя потерявшим последние допустимые частным капитализмом намеки на производственную и личную инициативу, заставила думать, что сознательное разумное действие исторически снято; поработшенность извне заслонила единственную действительную освобожденность — освобожденность от класса, освобожденность от нации, принципиальную освобожденность от междукоммунистической дифференциации.

Заставить людей, осознавших эту освобожденность, действительно чувствовать себя подчиненными уже не в силах никакая диктатура.

Если общество есть совокупность не классов, несущих различные производственные функции, а личностей, равных в своем значении, — освобожденному внутренне обществу чуждо неравноправие личностей как понятие.

Государственность выросла из нужд производства, и этими нуждами определится ее продолжительность. И этими нуждами, т. е. своей эгоистической выгодой, целесообразностью ее для себя, человек оправдывает свою подчиненность. И перестает ее оправдывать, когда перестает лично (общественно) в ней нуждаться».

Ну-ну..

* * *

Поскольку, повторяю, нам представлялось совершенно необходимым поставить творчество любимых писателей на твердую почву правильной идеологии, мне придется вернуться к еще одной рукописи.

Поразительно, с какой бесцеремонностью это маленькое идеологизированное чудовище (я) при более чем слабом знании истории оперировало грандиозными историческими эпохами. Но готовые возникнуть вопросы иногда проглядывали и угрожающе посверкивали сквозь эту первозданную самонадеянность.

В разделе первом будущей (так и не состоявшейся) книги о любимых писателях, называвшемся «Официальная идеология», писалось (выделено теперь. Д. Ш., 1993):

«Конечной целью борьбы этой партии (большевицкой. — Д. Ш., 1993) являлось создание бесклассового и безгосударственного коммунистического общества, в котором все известные социальной науке движущие противоречия должны исчезнуть.

Для достижения этой цели недостаточно было захватить политическую власть и передать ее пролетариату. Ни отменить сверху классы, ни заменить государство всенародным контролем над производством и распределением (т. е. уничтожить профессиональную бюрократию и заставить трудящихся совмещать труд бюрократический с трудом производи-

тельным) — при существовавшем тогда уровне развития средств производства и в окружении частнокапиталистических стран — нельзя было.

Нельзя было также практически взять курс на мировую революцию, так как советское государство не было в силах выполнить миссию завоевателя и объединителя. Кроме этой причины, известной партии, существовала вторая, не менее важная: несвоевременность объединения, так как даже всемирное государство, руководимое коммунистами, на существующем уровне развития средств производства, предполагающем обязательное разделение умственного и физического труда, не могло бы избавиться от государственности».

Маркс, Энгельс, Ленин и другие многократно утверждали, что техника и технология 1840 — 1910-х годов уже позволяют обойтись без государственности. От всех возражений они только отмахивались. Мы их оппонентов не читали. И тем не менее в моих заметках не раз констатируется, что избавиться от государства ни в национальных, ни в мировых масштабах еще невозможно. Технологически невозможно, что для последовательного марксиста сакраментально: с базисом не поспоришь, ежели техника не позволяет — значит, все. Кроме того, сам собой напрашивался и другой, более грозный, вопрос: не придется ли убрать из предыдущего отрывка словечко «тогда»? Иными словами, на существующем ли уровне развития средств производства неизбежно разделение труда на организационно-управленческий и исполнительный, или оно в принципе неустранимо? По крайней мере на предвидимом отрезке истории?

В текстах, приведенных выше, мы упрямо пытаемся отыскать логику в действиях партии. Пятясь в историю (точнее — в идеологию, нами правящую) назад затылком, мы еще не подвергаем сомнению Ленина, его этику, этику его партии. В сталинское время мы жили — ленинское знали в основном понаслышке, даже не поначитке. Отец одной из моих ближайших подруг, конечно в 1937 году погибший, имел партийный билет с двузначным номером. Каждое слово Михаила Ивановича Лобанова было для нас свято. Наша подруга, его дочь, Тамара Лобанова, еврейка по матери, была убита нацистами вместе с тетей и двоюродной сестрой. Русская по паспорту, она пошла с ними на место сбора евреев добровольно. Ее мать выжила — на Колыме. В те годы мы реконструировали ход мыслей условного Ленина по своему разумению и столь же схоластически преобразовывали его в социальную психологию сталинизма:

«Выход, подсказанный партии практикой, был таков: для защиты завоеваний трудящихся масс от анархии и от агрессоров надо создать переходное государство, в котором главное противоречие в экономике — частная собственность на средства производства — будет отсутствовать. Противоречия же между государственностью и производительным трудом будут сняты силой сознательности государственной власти, выдвинутой из толщи народных масс. Правительство, верное своим избирателям, и массы, уверенные в своем правительстве, смогут сознательно двигать историю. Это естественно и правдоподобно (выделено теперь. — Д. Ш., 1993): открытые Марксом законы развития есть объективные истины. Если физик, усвоивший законы движения, может... решать задачи и строить самые сложные двигатели потому только, что эти физические законы есть открытая им объективная истина, то человеческое сознание в состоянии аналогично использовать законы развития человеческого общества».

В этом отрывке тоже поблескивает, как далекая молния, коварный вопросец, таящийся в одном словечке. Оно превращает утвердительное предложение в — по смыслу — условное: «...и это естественно и правдоподобно: открытые Марксом законы развития есть объективные истины».

Если не «правда», а только «правдоподобно», то само собою напрашивается перед «открытые Марксом» еще одно угрожающее словечко — «если». Только подспудное сомнение («если») может объяснить, почему само собой написалось всего навсего «правдоподобно»...

А далее следует одна из самых загадочных деталей нашего дела: почему нам дали только пять лет? Не вчитались? Не заметили записи на полях? Михайлов мог

и не вчитаться: он смертельно и неприкрыто скучал над моими заунывными каракулями. Но другие могли прочесть повнимательнее.

Итак, далее следовало (выделено теперь. — *Д. Ш., 1993*):

«Это действительно так, и для этого необходимо: а) чтобы люди, используя исторические законы, способны были раскрыть все движущие противоречия прежде, чем последние воплотятся в жизнь и деформируют сознание деятелей; б) чтобы людям, раскрывшим все движущие противоречия, после того как последние воплотятся в жизнь и деформируют их сознание... выгодно было эти противоречия общепольно использовать».

Много позднее, в начале 60-х годов, я перечитывала в очередной раз одно из ленинских определений социализма (их у Ленина много; среди них встречаются и несовместимые): «...не что иное, как государственная монополия, поставленная на пользу всему народу». И тут вопрос, возникший передо мною в 1943 году, встал уже вполне четко: можно ли в принципе (даже при ее искреннейшем стремлении ко всеобщему благу и полновластию) поставить абсолютную государственную монополию «на пользу всему народу»? К тому времени ответ был аргументирован и другими и мною достаточно строго: нет, невозможно. И объяснено почему. Тогда же, в 1943 году, казалось, что надо спешить, пока они, эти абсолютные монополисты, нравственно (абсолютно же) не выродились в уголовников государственно-го масштаба (выделено теперь. — *Д. Ш., 1993*):

«Когда 25 октября 1917 года земля, орудия производства и сырьевые ресурсы объявлены были собственностью трудящихся масс, Ленин и партия, в самоотверженности которых нельзя сомневаться, считали, по-видимому, бесспорным, что разрешение главных противоречий даст им возможность идти к коммунизму, строя сознательно историю общества».

Слева на полях было добавлено: «Ленин хочет, но не может» (далее два слова решительно неразборчивых).

Зато нижеследующий абзац вполне читабелен:

«Когда в конце 30-х годов в молодом поколении оформилось сознание несоответствия между догмой и фактами, Сталин и представители исполнительной власти, изучавшие Маркса и уже обладавшие достаточным материалом для обобщений, могли значительно легче, чем молодежь, определить развивающиеся противоречия и доказать как историческую целесообразность государственности, так и паразитизм ее институтов, и тождество социализма с капитализмом, и обреченность «новой» формации с ее государственностью в конечном итоге.

С точки зрения коммуниста Маркса, такой поступок был бы вполне оправдан, более того — раскрытие новых противоречий лишь подтвердило бы его правоту.

С точки зрения диктатора Сталина, такой поступок — самоубийство, так как не построение коммунизма, а удержание и утверждение государственной власти являются его жизненной и исторической задачей».

А на полях еще разборчивей отчеканено: «Может, но сволочь». Из содержания всего абзаца однозначно следует, что «может, но сволочь» — Сталин. Лихо! И за это — всего по пять лет каждому? За анекдот с упоминанием Сталина давали десять. До чего хотелось бы думать, что кто-то там, на верхушке НКГБ Казахстана, люто Сталина ненавидел, а нас — пожалел. А может быть, заслонила нас от более соразмерной преступлению кары коллекция живописи, раздаренная отцом Марика, А. М. Черкасским, крупным художником, начальству периферийной столицы Алма-Аты? И портреты, которые тот писал и дарил их высокопоставленным оригиналам?

Подумать только, что годом ранее моя лагерная подруга Клара Перлис получила расстрел, замененный по кассации десятью годами, за письмо первому секретарю ЦК КП Казахстана Скворцову, где она писала с болью и гневом о конкретных непотребствах, творимых в его партийной вотчине! А нам — пять лет?!

Все-таки и по сей день мне думается, что проигнорировать прямое оскорбление Сталина за взятку никто не решился бы. Подношение взяли бы, но расправи-

лись бы во всю силу. Иное дело — из ненависти к тирану. Или и тут все просчитано за нас Пушкиным: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман...» А они попросту просмотрели.

В моих заметках опять и опять — и долго потом, а у многих диссидентов и правозащитников вплоть до «перестройки» и «гласности» — возникает мысль, что правда была бы коммунистам и Системе только полезна, что лгут они без всякой в том для себя нужды. С одной стороны, в моих заметках написано, что правда была бы для диктатора Сталина самоубийственной. С другой стороны, Сталин — «сволочь» не потому, что сохраняет Систему жесточайшими средствами (тут мы были, с некоторыми оговорками, с ним солидарны), а потому, что он лжет о Системе. Здесь мы были почему-то решительно против. Почему? Кто бы принял без сопротивления такую правду, кроме выдумщиков, подобных нам? Да и то: разве мы ее знали — правду? Лишь малый красешек, уравновешенный «целесообразностью» нашей Схемы. Я думаю, что повседневная и повсеместная ложь, куда более близкая к нам, чем все эти отвлеченности, нам просто была нестерпимо противна.

В сущности же, как это ни парадоксально, и мы и официальные идеологи решали одну и ту же задачу. Каждая сторона по-своему, из своих побуждений пыталась приспособить догмы утопии к реальности. Официоз — в корыстно-политических, камуфляжных целях. Мы — ради сведения концов с концами в набухающей несообразностями схоластике, которую тшились принимать за науку. Скорее всего у нас не умещалась еще в головах возможность такого злодеяния, как бездумное, наугад перекраивание — по живому — народного, а в перспективе и всечеловеческого тела. Откройся нам тогда infernalная пропасть этой кровавой хлестаковщины — что мы стали бы делать? Может быть, и хорошо было для нас, что все шло достаточно медленно, вместе со взрослением, что постижение безнадежности иллюзий происходило шаг за шагом.

То, что следует ниже, представлялось нам в то время венцом всего построения — финалом Схемы. На самом же деле это была только очень далекая от пункта назначения, глухая станция:

«Любое государственное устройство любой эпохи предполагает как характерные для него социально-экономические противоречия, так и уравновешивающую эти противоречия историческую целесообразность существования данного государственного устройства.

Историческая целесообразность государственной деятельности определяется:

а) степенью прогрессивности государственной деятельности с точки зрения класса, идущего к власти;

б) тем, насколько эта власть способствует усилению самого государства, существующего с момента своей победы только в силу того, что оно существует, и для того, чтобы существовать».

После этих весьма сбивчивых и путаных определений (их смысл сводится к тому, что государственность и общественный строй целесообразны, если они прогрессивны по шкале нашей трехстадиальной Схемы) следовали финальные вопросы и ответы на них:

«Являются ли экономические отношения, защищаемые советским государством от внешней агрессии, действительно высшими экономическими отношениями по сравнению с экономикой государств-агрессоров? ДА.

Нуждается ли подчиненный класс в организационных услугах со стороны государства? ДА».

Обширный контекст этого рассуждения, который я не цитирую, свидетельствует, что, говоря о государствах-агрессорах, мы имели в виду весь капиталистический мир, а не только воевавшие с нами тогда страны. Речь шла (для коммунизма — изначально) и об агрессорах потенциальных. «Подчиненный класс», он же — «класс, идущий к власти» обозначал в нашем «новоязе» все общество, находящееся во власти монокапиталистического государства.

Потребовалось немало лет, чтобы эти решительные, всеискупающие «ДА» сменились не менее уверенными «НЕТ». Эта отсрочка — длиной во всю молодость — понадобилась не только в силу причин, о которых я уже говорила. Помимо всего

прочего душа и совесть обязывали исчерпать все доводы, способные, на наш тогдашний взгляд, оправдать немилую действительность. Что-то приказывало нам не позволять себе никакого отрицательного пристрастия. Подсознательно нами владела презумпция правоты последственного (марксизма), хотя мы, вероятно, и термина такого еще не знали.

Еще совсем недавно мне нечего было бы возразить человеку, пытающемуся доказать, что я невольно домосливаю нашу тогдашнюю позицию, опираясь на пережитое и понятое гораздо позднее. Но каким-то чудом в студенческие умствования 1943 — 1944 годов затесались странички из общей тетради 1939 года. Как она была захвачена мною осенью 1941 года в эвакуацию, поспешную и почти без вещей, — ума не приложу. На уцелевших ее страницах — и мои рисунки (куклы и профили), и какие-то незаконченные монограммы, и отрывок пьесы, которую собиралась писать, и немецкая фраза, записанная на школьном уроке посреди дневниковых записей. На одном из листков есть точная дата — 23 января 1939 года. Это девятый класс. На других присутствуют имена, уточняющие для меня время и место записи. Одна из них сделана вскоре после премияльного пребывания в украинском Артеке — в Лузановке, под Одессой. Я пробыла там шесть недель после восьмого класса, заняв первое место на Всесоюзном юношеском литературном конкурсе в честь двадцатилетия ВЛКСМ. Премию мне присудили за поэму о Щорсе и за стихи о Сталине, Долорес Ибаррури и дружбе. Расшифрую некоторые имена в приводимых ниже отрывках.

Яша Хейфец — мой многолетний харьковский друг. Мы познакомились, когда я была в седьмом классе, а он в девятом, в литературном кружке харьковского Дворца пионеров. Тогда в нашем кружке старшими были Борис Слуцкий, Михаил Кульчицкий, отбывший вскоре в Литинститут ССП, в Москву, и другие будущие фронтовики, обретшие славу и ее не обретшие. Среди последних — Давид Хейфец, старший брат Яши. И Давид, и самый младший в семье, Левка, погибли на фронте, как и Миша Кульчицкий. Яша был в плену, потом в гетто, бежал к партизанам, томился после войны в советском фильтрационном лагере для бывших военнопленных. Долгое время его родители думали, что потеряли всех троих сыновей: похоронки пришли на всех. Потом Яша нашелся. Получивший третью премию на вышеупомянутом конкурсе, он писал забавные пародии, юмористические рассказы, скетчи, репризы для эстрады и цирка. Обстоятельства не дали ему зазвучать во всю силу. Зинько (Зиновий) Рыбак, сельский юноша, писавший стихи на украинском языке, был моим другом по Артеку, лауреатом Всеукраинского юношеского конкурса. Оба они, Зинько и Яша, стали для меня в ту пору символами безупречной и, главное, сознательной гражданственности. Мне казалось, что их не истязают сомнения, мучившие меня и моих ближайших друзей, имена которых не упомянуты здесь лишь потому, что их нет на этих страничках. С Зиньком мы после войны связей не восстановили. Яша оказался не более «твердокаменным» в своей «идейности», чем я.

Итак, вот первые письма этого наскального цикла (все выделено тогда, 23 января 1939 года):

«Давно не писала. Последнее время политически наши сомнения возросли до максимума. Много думала, мечтала о книге, которую напишу. В книге напишу все, чем жили, как думали. Атмосфера напряженнейшая, аресты немного стихли, но в народе ходят толки о повышении цен. Противно. Наблюдая за этими арестами, за тем, что арестованы многие, бывшие отважнейшими борцами, за тем, как лгут о «жить стало веселей»... скрывая, что в стране трудно, и еще за многим лживым и не существующим в жизни, не могу быть твердо уверенной в правоте действий».

Вот еще листик:

«Но сегодняшний разговор с Яшкой очень многое изменил во мне. Какое я имею право рассуждать, не зная ни политики, ни политической жизни, внешней и внутренней, не зная последних событий? Какое право я имею кого-то осуждать? Что фашистам каюк, что они подлецы — это я твердо знаю и понимаю, что Ленин был прав, что до последнего времени, до смерти Кирова, все было верно — я тоже знаю. В остальном я сомне-

ваюсь. Но спорить я не имею права: у меня нет подготовки для спора. Я ничего не знаю...

Отвратительно это сознавать. Может быть, я, как говорил Зинько Рыбак, не могу примириться с необходимой сейчас ложью и хочу знать больше, чем должен сейчас знать средний человек. Яша, Зинько, Семка (не помню, кто это. Ляндрес? — *Д. Ш., 1993*) — все по-разному, но твердо уверены в своей правоте, и, вероятно, они правы. Но я — не знаю. Ни к какому выводу я не прихожу. Я только вижу, что я — ничего не знаю, ничего не знает и весь народ. Возможно, прав Зинько и это необходимо»

К сожалению, в 1943 — 1944 годах автор стал более самонадеянным, чем был в 1939-м. Ну что ж, вся последующая жизнь ушла на то, чтобы по некоему ограниченному кругу вопросов иметь право сказать: я знаю, что говорю.

Я потому и назвала первую часть своего хождения в прошлое «Общиной по месту очеловечивания», что в той моей жизни существовала такая община. Хотя идеологически во мне в те ранние годы и доминировал большевизированный питекантроп с редкими проблесками неандертальца, но вне идеологии в нас пульсировала иная жизнь. Общиной, которая сделала нас людьми, а не штурмовиками, навсегда остался для меня мой дружеский круг. В него входили и те из семьи, кто был мне друзьями. Первой — мать (с отцом по малолетству сблизиться не успела). Книги мы воспринимали так живо, что и они входили в этот освещенный в ночи круг. Отсюда вторая часть — «Мемуар о поэтах».

Конец первой части

(Окончание следует)

**Читайте в следующем номере
статью диакона Андрея Кураева
«Новомодные соблазны»**

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

ГДЕ ИСКАТЬ ЖЕНЩИНУ?

«**Е**сть ли у нас женская литература или нет? Или у нас ее быть не может, потому что мы другие, особенные?» — на этот ребром (Адамовым) поставленный вопрос («ЛГ», 2.3.94) с беспристрастностью ЭВМ ответил список произведений, выдвинутых на Букера-94; тридцать шесть мужских романоподобий и только три (!) женских (Д. Рубина, «Во вратах твоих» — «НМ», 1993, № 5; Л. Петрушевская, «Ну, мама, ну» — «НМ», 1993, № 8; О. Новикова, «Женский роман» — «Книжный сад», 1993).

И по предощущению ни одну из отмеченных номинаторами женских вещей мы не обнаружим по осени в Букер-шортлисте. И это при том, что для противостояния «фаллократам» в члены жюри, с российской стороны, впервые введена активная и убежденная феминистка Наталья Перова; из ее, кстати, литгазетовской статейки и взяты открывающие сей «отклик» цитаты («ЛГ», 2.3.94).

Каблуки переломает, шпильки порастеряет, а не докажет, что ее подопечные одно-пол-чанки конкурентоспособны даже на нынешнем, далеко не блистательном, мужском фоне.

Год на год, конечно же, не приходится, и не исключено, что в 95-м процентное соотношение Д/М может чуточку измениться. Однако, судя по публикациям первой трети текущего журнального сезона, слишком уж резкая перемена не предвидится. Ибо: хотим мы этого или не хотим, нравится нам это или не нравится, женский элемент в постсоветском искусстве, и прежде всего в прозе, — несмотря на некоторые успехи политически ориентированного феминизма — стремительно усыхает.

Лариса Ванеева затаилась.

Валерия Нарбикова — вся в хлопотах по переизданию и дублированию своих дебютов.

Светлана Василенко пишет сценарии. Для кино-кино-фирм.

Татьяна Толстая — просто живет. В самой удобной для просто жизни далекой заморской стране.

Не видно даже Виктории Токаревой, всегда — мелькавшей...

Американцы, решив, вероятно, что российские распустехи не разумеют дела, провели открытый конкурс. На лучший женский рассказ. Лучшее, на их вкус, — напечатали. В сборничке — «Чего хочет женщина». А что же? А ничего: курам на смех.

На беглый взгляд — необъяснимо. Потому как даже тогда, когда ничего не было, — женская книга в литературе была. Как факт. Как явление. Как партия — для левой руки.

И звучала и чище, и тоньше, а значит — слышнее, чем то, что исполняли — вышагивали — всегда правые мужские руки.

Тогда-то Евгушенко, в порыве великодушия, и выдал свой комплимент:

О женщины! Вы лучшие мужчины!

И все нашумевшие в первые годы «новой жизни» женские вещи — от «Седьмой мирной весны» изумительной эстонки Вийви Луйк до маленьких романов Людмилы Петрушевской — зачаты в утробе того тихого, будто омут, застойного времени.

Та волна до сих пор кое-что подбрасывает на обезлюдевший и сильно поскучневший левый женский берег.

То ракушку-янтарик Мариам Юзефовской.

То цветные камушки Ирины Полянской.

Но редко. Но иногда. От случая до другого случая.

Короче: массовый литфеминизм нам не светит и не угрожает. И дело, думаю, не в агрессивности «мужской цензуры» или дискриминации слабого пола, неизбежной внутри культурного пространства, построенного по мужским законам, то есть «фаллократической цивилизации» (закавыченная формулировка — из статьи Марии Арбатовой — «ЛГ», 30.3.94).

Василий Семенович Яновский — его знаменитые мемуары дошли наконец (лучше поздно, чем никогда) и до нас — там, на полях Елисейских, возлагал большие надежды на русскую «б р а в ф а м»

«Русская баба самодовлеющая величина! Если бы кобели ее оставили в покое, она давно бы построила крепкое и практичное хозяйство-государство... Без теологии, но с церковным пением, наливками, закусками, плясом и хоровыми играми: государство-хозяйство, прочное и образцовое».

Увы — нам: в «ту степь» Россия не повернула. Марфы-Посадницы, пуп надорвав — за семьдесят годиков принудительной эмансипации — «я корова, я и бык, я и баба, и мужик», — ограничились — ныне — личным хозяйством. И это на них, двужильных, двугорбых, держится нашенький товарообмен. Мальчишки-девочки, те по киоскам сидят: тут-тук, кто в теремочке живет? а эти — посадницы — прут Ходко. Куда там орловским тяжеловозам! И польский фасонистый ширпотреб. И турецкие тучные кожи

Но это — внизу.

А вверх, особенно в средних — новых — слоях, идеалом русской жены становится душечка. Женщина возвращается в дом. К детям. И кухне. И вроде даже — религии. Меняется, соответственно, образ-тип мужчины ее выбора: не тот, с кем приятно и интересно жить, а тот, за кем легко и безбедно жить.

Остальные — азартно, весело, прибыльно — осваивают первую древнейшую профессию.

И мужчинам, похоже, все это нравится. Во всяком случае: первое, что делает новый русский — дабы продемонстрировать уровень преуспевания, — снимает свою жену с общественных работ

Порою даже — таких престижных, как кино и театр.

Недавно в прессе промелькнуло занятное сообщение. Некто Валерий Тарасевский, бизнесмен и супруг актрисы Театра киноактера, казацкой мадонны Зинаиды Кириенко, приступил на своей даче, в поместье своем, к съемкам новой версии «Тихого Дона». А журналистам, на сенсацию клонувшим, разъяснил: «Это будет семейный фильм. Помимо моей жены, уже однажды сыгравшей Наталью в «Тихом Доне», в картине будут задействованы два наших сына, их жены и дети»

Чем обернутся столь резкие сдвиги? В укладе и в устремлении духа?

Последствий — дальних — предвидеть, естественно, не могу. А вот в будущем — ближайшем — на мой взгляд, ожидает летучий набег Новых Амазонок, точнее, существ третьего, а может, и четвертого пола, с чудовишной — марсианской — энергетикой и стопроцентным отсутствием — где у прочих выпуклость, у этих выем — феминистских амбиций и комплексов. «За всех расплачусь — за всех расплачусь»? Как бы не так! О себе — ни слезинки, а плачу только за себя и только — «по Гамбургскому счету»!

Назову даже имя одной такой будетлянки: Юлия Латынина. Ее античный-греческий роман «Клеарх и Гераклея» (в первом номере «Дружбы народов») вроде бы для того и написан, чтобы отважно, как Давид с Голиафом, сразиться с драконом женоцентристской «классической романистики». Три века ложно-обманно внушавшей:

будто самый таинственный из путей земных — путь женщины к сердцу мужчины (а не путь честолюбца к власти);

будто самая могучая из страстей — страсть мужчины к женщине (а не рекомая плеонексией похоть стяжания и могущества);

будто корень мучительных перемен в человеческой жизни — перемена в любви (а не прихоти рока, правителя или народа).

Латынина полагает обратное

Дескать: золотая ветвь мирового древа искусств надломилась в злосчастный тот миг, когда в середине XVII века, по хотению и велению автора последней — странной — «Александрии», Великий Македонец, всю жизнь искавший славы и власти, «отложил в сторону меч, в котором отражались земля и небо, поправил перо на шляпе и учтиво молвил красавице Статире: „Победитель вашего народа — побежден вами!.. и в моем поражении больше славы, чем во всех моих победах“»

Дольше всех сопротивлялась хладнорассудочная Европа, выставив по южным границам форпосты классицизма (по Латыниной: последнее великое литературное направление, озабоченное свойствами истории, а не причудами любовной хвори). Но «час пробил: стеклянные двери Венерина грота захлопнулись за Тангейзером, Юпитер поступил в услужение Данае в виде пажа с золотистыми волосами, которые напоминали бы слегка золотой дождь, если бы не были так завиты и напомажены; Олимп опустел, Ахиллес предпочел мечу — прялку, Геркулес попал в плен к Омфале... Герой перестал быть героем, а стал — облаком в штанах».

Наваждение? Колдовство? Сон золотой? Скорее (я имею в виду, разумеется, точку зрения автора «Клеарха») все-таки род странного, при дремлющих в груди силах, с на, от которого читатели очнулись чуть не полвека тому, а литература — задрыха, засоня — никак не очухается. Спит с открытыми глазами, в обнимку с возвышающим ее Обманом и знать не желает, что миром движут совсем иные страсти — бешеное, ненасытное, неутолимое власто-често-злато-любие и проистекающие отсель — зависть, ревность, жадность...

Все эти соображения Юлия Латынина излагает спокойно и с должной долей иронии, как человек, который не из одних только книг, но и из опыта быстротекущей жизни узнал-выведал: так было, так есть и так будет. Ибо «природа человека неизменна, подобно водам реки, а города, люди и страны похожи на расписные бадейки оросительного колеса, которые черпают воду и опорожняются вновь».

Но будетлянкам что? Они-то свои среди мужестрастных-плеонексийских страстей.

А вот коллежанкам сей гостьи из будущего — себя полагающим пенорожденными — не до иронии. Они ведь и росли, и старели, и начинали писать и печататься там и тогда, когда одержимые плеонексией осуждались, а женская прихоть и перемена в любви слыла, как и встарь, пусть и мелкой, а все же серебряной, тонкой чеканки монетой.

И перетекает-утекает женская литодаренность из мира прозы — туда, где «фаллоциклопам» их, трехглазок («Посмотрите: у женщин третий вылупляется глаз из пупа»), не перепоэтить и не догнать! — в удел российского стиха. Там у нас нынче — матриархат, и новые звезды — Светлана Кекова, Татьяна Вольтская, Вера Павлова, Элла Крылова, Мария Степанова — вспыхивают только там, на поэтическом небосклоне.

Алла МАРЧЕНКО.



**Читайте в следующем номере
повесть Александра Черницкого
«Мы можем всё»**

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ИРИНА СУРАТ

*

«КТО ИЗ БОГОВ МНЕ ВОЗВРАТИЛ...»

Пушкин, Пушкин и Гораций

В ряду хрестоматийно известных стихотворений позднего Пушкина редко вспоминают перевод из Горация «Кто из богов мне возвратил...» — в читательском сознании он располагается где-то на периферии пушкинского творчества, в удалении от его важных смысловых узлов. Такое восприятие отражает уровень или, точнее, характер наших знаний о Пушкине. Специалистам известно, на какой бумаге написаны стихи, какими французскими переводами пользовался поэт наряду с латинским оригиналом, верно ли он понял и передал исторические реалии, но самые существенные вопросы остаются без ответа: что побудило Пушкина взяться в 1835 году за перевод оды Горация к Помпею Вару (кн. II, ода 7), что он хотел сказать этими стихами, похожими в деталях на свой латинский образец, но в целом очень от него далекими? Мы отнесли бы перевод из Горация к числу непрочитанных пушкинских стихотворений, таких, как «Ангел», «Есть роза дивная...» или «Туча»: за непосредственно воспринимаемым широким символическим смыслом ощущается в них еще какой-то скрытый смысловой план — ощущается, угадывается, но ускользает, не поддается прочтению. Можно возразить, что, в отличие от названных стихов, «Кто из богов...» — перевод и его образно-смысловой строй задан Горацием, однако это обстоятельство никак не отменяет и не облегчает задачу прочтения. Мотивы, взятые у Горация, наполнены непередаваемым лиризмом — стихи несводимы к переводу, они разомкнуты в бесконечную смысловую глубину и дышат тайной, как это часто бывает в лирике Пушкина.

Мы подошли к вопросу об особенностях пушкинских переводов, главным образом поздних: многие из них органично соединяют в себе качества перевода более или менее точного и свойства исповедальной лирики. Переводы и переложения из Шенье, Саути, Беньяна, Корнуолла, как правило, имеют личный импульс, вбирают в себя конкретные внешние обстоятельства и внутренние события пушкинской жизни — и остаются при этом переводами, то есть вживляют плоды одной национальной культуры в другую¹. В зрелой поэзии Пушкина нет границ между переводом и лирикой — недаром никому из его серьезных издателей не приходило в голову выносить переводы в специальный раздел, как это принято в собраниях других поэтов. Можно говорить об особом типе переводной лирики у Пушкина, когда чужое слово становится средством лирического самовыражения.

К этому типу относим мы и пушкинский перевод оды Горация к Помпею Вару. В основе оды — известные факты реальной биографии Горация, сплетенные с событиями римской истории: в молодости он примкнул к республиканцам во главе с Брутом, боровшимся против Цезаря Октавиана, участвовал в 42 г. до Р. Х. в знаменитой битве при Филиппах, где войско Брута было разбито, бежал с поля сражения. Обо всем этом вспоминает Гораций, приветствуя своего друга Помпея, товарища по войску Брута, с кем некогда делил он тяготы походов и смертельную опасность. После Филиппа пути друзей разошлись: Гораций сблизился с Октавианом, Помпей остался с республиканцами, за что и подвергся гонениям. И вот те-

¹ Исследователи уже обращали на это внимание, см., напр.: Громбах С. М., «К истории стихотворения „Поедем, я готов...“» («Вопросы литературы», 1983, № 4); Сайтанов В. А., «Неизвестный цикл Пушкина» («Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке». Сб. 19. М. 1986, стр. 381).

перь, через много лет, Помпей по амнистии возвращается в Рим, и Гораций радостно приветствует его возвращение, приглашая разделить с ним дружескую пирушку, как бывало в юности.

Гораций был одним из любимых пушкинских поэтов; с Лицея из лекций Н. Ф. Кошанского Пушкин хорошо знал его жизнь, поэзию и конкретно оду к Помпею Вару. В послании 1817 года «В. Л. Пушкину» Гораций назван «бессмертным трусом», и здесь, конечно, имеется в виду его бегство во время битвы при Филиппах, описанное в этой оде. Само выражение «бессмертный трус», если вдуматься в него, оказывается очень емким — ведь Гораций стал бессмертным едва ли не благодаря своей трусости, этому своему позорному бегству: был бы смел — погубил бы с Брутом и со всеми вместе, а по трусости спасся, начал писать стихи, прославился как великий поэт. Но и трусость его осталась бессмертной в бессмертных стихах, ее запечатлевших, — «поэзия выше нравственности».

Латынь Пушкин понимал неплохо и в 1835 году Горация читал именно по-латыни — тому свидетельство латинские цитаты из его од в «Путешествии в Арзум». Но, взявшись за перевод оды к Помпею Вару, он решил прибегнуть и к французским прозаическим ее переводам, имевшимся в его домашней библиотеке². В ряде моментов расхождение Пушкина с оригиналом можно объяснить влиянием этих французских посредников, но их влиянием не объяснить того факта, что это стихотворение воспринимается как пушкинская лирика, собственно пушкинская, со всеми ее характерными внутренними чертами и особым воздействием. Как и в других подобных случаях, Пушкин через чужое слово оформляет здесь что-то свое, личное, слишком личное чтобы быть выраженным открыто. Надо заметить, что пушкинская лирика последних лет вообще тяготеет к целомудренной прикровенности чувств — именно вследствие своей глубокой исповедальности. Перевод («Странник», «Поредели, побелели. »), переложение («Отцы пустынноики и жены непорочны »), имитация перевода («Из Пиндемонта») дают ту необходимую отстраняющую форму которая позволяет вводить в стихи предельно интимные переживания.

Соположение пушкинского «Кто из богов...» с одой Горация выявляет те мотивы и композиционные особенности, которые мы назвали бы приметам лирики в этом переводе.

Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил?

Что значит здесь «призрак свободы»? У Горация вообще о свободе нет ни слова, тем более о призраке ее, нет у него и прилагательного, соответствующего «отчаянному» Бруту. «Помпей, со мной под Брута водительством / Не раз в глаза глядевший опасности...» — так переданы первые строки оды в наиболее точном из стихотворных переводов (Г. Ф. Церетели). «Призрак свободы» — пушкинская поэтическая формула, найденная некогда в «Кавказском Пленнике»: «...И в край далекий полетел / С веселым призраком свободы». Только теперь эта формула переосмыслена, «призрак свободы» получил другой содержательный оттенок и другое эмоциональное наполнение — не веселое, а трезвое и горькое. Формула звучит отчетливее, если связать ее со стихотворением «Из Пиндемонта» (1836) — манифестом свободы позднего Пушкина: в нем как бы раскрыт этот «призрак свободы», все «громкие права», социальные и политические, расценены как призрачные («Все это, видите ль, слова, слова, слова»), и только внутренняя личная свобода неотчуждаема и подлинна. Таким образом, мотив, не имеющий опоры в тексте Горация, находит соответствие в широком контексте пушкинской лирики.

Возникает вопрос и на слове «квирит» в стихотворении Пушкина. У Горация оно отнесено к опальному Помпею и означает, что после амнистии он получил вновь гражданские права, стал полноправным гражданином Рима. У Пушкина квиритом называет себя лирический герой, объясняя этим свое поведение во время боя.

² См. об этом: Альбрехт М. Г., «К стихотворению Пушкина „Кто из богов мне возвратил...“» («Временник Пушкинской комиссии 1977» Л 1980)

Ты помнишь час ужасный битвы,
 Когда я, трепетный квирит,
 Бежал, нечестно брося щит,
 Творя обеты и молитвы?

Слово «квирит» фигурирует здесь в другом его значении: штатский, гражданский; герой им обозначает свою природную невоинственность, неуместность на поле брани — и тем мотивирует свое постыдное бегство. Эту деталь не отнесешь к неточностям перевода — это содержательная подмена, которую можно осмыслить только через лирический подтекст стихотворения.

Пушкин меняет и отдельные детали, и, что важнее, всю эмоциональную композицию горацевой оды. Главное ее событие — возвращение друга, основная эмоция — радость по поводу этого события. Радость момента перекрывает воспоминания и нарастает к финалу, выражаясь в торжественном и подробном описании предвкушаемого пира. У Пушкина ровное течение воспоминаний о юности перебивается эмоциональным взрывом:

Как я боялся! как бежал!
 Но Эрмий сам незапной тучей
 Меня покрыл и вдаль умчал
 И спас от смерти неминучей.

Эпизод бегства, описанный у Горация спокойно, нейтрально, с легким оттенком самоиронии, становится главным событием и композиционным центром пушкинского стихотворения; страх героя акцентирован эмфатическими восклицаниями, выдающими лирическую природу чувства. Рассказ о спасении звучит острее и драматичнее, чем у Горация: там Меркурий уносит в густом облаке объятого страхом героя через ряды неприятелей, здесь герой не просто унесен с поля боя — он спасен «от смерти неминучей». Провидение вмешалось в его судьбу в критический, смертельно опасный момент. Гораций рассказ так преобразуется у Пушкина, что мы узнаем в нем устойчивый и до конца не раскрытый мотив пушкинской лирики — мотив таинственного спасения героя от большой беды («Арион», «Предчувствие», «Из Гафиза», «Вновь я посетил...»). Как и другие устойчивые мотивы, он наверняка восходит к какому-то глубокому впечатлению, внутреннему событию, к одной из загадок жизни Пушкина, которая, очевидно, отражена и в этом переводе.

В ряду странностей пушкинского стихотворения отметим также «домик темный и простой», куда поэт приглашает друга на пирушку. Нет такого «домика» у Горация, да и стилистически он выбивается из пышного, помпезного римского колорита оды, зато в пушкинском поэтическом мире нам легко приходит на память «опальный домик» из написанного в том же 1835 году «Вновь я посетил...», где в прямой лирической форме изливается поток воспоминаний о михайловской ссылке.

Но, пожалуй, главное, что поражает в пушкинском переводе при непосредственном чтении, — это финал, придающий неожиданное звучание вакхической теме:

Теперь некстати воздержанье:
 Как дикий скиф жочу я пить.
 Я с другом праздную свиданье,
 Я рад рассудок утопить.

Внешне Пушкин здесь почти точно следует за Горацием («Беситься буду, — друг вернулся, / Сладко мне с ним за вином забыться!» — перевод Г. Ф. Церетели), но кроме опьяняющей радости и торжества дружбы слышится в его стихах какой-то надрыв, который герой хочет утопить в вине. В последнем стихе воспроизведена традиционная поэтическая формула из французского перевода оды: «J'aime à perdre la raison» — «я хочу потерять разум», но эта традиционная формула у Пушкина одушевлена личным чувством, исполнена скрытого драматизма. Такое сильное и странное звучание финала, не находящее простых объяснений, опять-таки побуждает задаваться вопросами о смысле стихотворения, о его жизненной основе, о месте его в пушкинской лирике.

В поисках ответа на эти вопросы обратимся к черновому автографу — он, как и другие пушкинские черновики, фиксирует первое, не обработанное душевное движение первый лирический порыв, то, что принято называть «творческим им-

пульсом». В окончательном тексте первое чувство, преображаясь, получает новое качество, и все же нам важно уловить это чувство, чтобы приобщиться через него к творческому акту и войти таким образом в содержательный мир стихотворения.

Так выглядит самый первый набросок:

Мой первый друг
[О первый из друзей моих] тревоги
так часто
С тобою _____ делил —
юность я
[Когда кто]
из Богов
[О] кто _____ нам возвратит³
ж тебя

Этот отчаянный вопрос, обращенный не в прошлое, как в оригинале, а в будущее, и примыкающее к вопросу слово «когда» имеют слабое отношение к оде Горация и к ситуации, в ней описанной. Они относятся к тому воображаемому собеседнику, который назван здесь «мой первый друг», который так был назван десятью годами раньше в известных стихах («Мой первый друг, мой друг бесценный...») и внутреннее общение с которым, как мы думаем, и составляет содержательную основу интересующего нас перевода. Обращение к опальному другу Ивану Пушкину, воспоминание о нем и о том, что с ним связано, боль о его настоящем и будущем — вот суть того сильного лирического порыва, который дал жизнь этому стихотворению и был растворен потом в переводных мотивах и образах. Можно потянуть за эту ниточку, и тогда открывается в стихотворении второе дно, второй содержательный план — лирический план, никак не отменяющий смысла перевода, но просвечивающий, проступающий сквозь него. Если заново, свежими глазами попробовать прочитать эти стихи, то можно увидеть, что их мотивы ложатся на некоторые важные события пушкинской жизни.

* * *

Есть в биографии Пушкина такие эпизоды, которые стали нашей национальной легендой и дороги всякому русскому сердцу. Один из них — задушевная встреча двух друзей, Пушкина и Пушкина, 11 января 1825 года в Михайловском, в «опальном домике» поэта, где его, одинокого ссыльного, посетил, дерзко нарушив официальные запреты, любимый лицейский друг. Их свидание, продлившееся почти сутки, запечатлено в нашей памяти благодаря поэтическим свидетельствам Пушкина и обстоятельному мемуарному рассказу Пушкина, который донес до нас многие подробности этой знаменательной встречи, но кое-что и скрыл, как показывает сопоставление фактов. Встреча была бурной и радостной, с тремя бутылками искрометного клико, с «хохотом от полноты сердечной»⁴, с воспоминаниями о юности и друзьях, — она была подобием лицейских дружеских пирушек, вошедших в нашу поэзию через вакхические стихи Пушкина-лицейста, такие, например, стихи:

Любезный именинник,
О Пушин дорогой!
Прибрел к тебе пустынный
С открытою душой...
.....
Устрой гостям пирушку;
На столик вощаной
Поставь пивную кружку
И кубок пуншевой.
Старинный собутыльник!
Забудемся на час.
Пускай ума светильник
Погаснет ныне в нас...

(«К Пушкину», 1815)

³ Приводим черновик в транскрипции Б. Л. Модзалевского («Пушкин и его современники». Вып. XII. СПб. 1909, стр. 17). Есть в пушкинистике иные варианты прочтения автографа, но именно этот представляется нам наиболее обоснованным по сличению с рукописью.

⁴ Пушин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М. 1988, стр. 67.

С той лицейской поры дружба возведена у Пушкина в ранг высших ценностей, а встреча лицейских друзей сама по себе бывала столь радостным событием, что давала повод для разгульного веселья. Но в тот день, 11 января 1825 года, с особыми чувствами «праздновали свидание»⁵ — радость была умножена обстоятельством встречи, которой предшествовала пятилетняя разлука.

В поэзии Пушкина тема лицейской дружбы и вакхическая тема слились органично, так что стихи на лицейские годовщины суть своего рода «вакхические песни» с разной тональностью, определенной «текущим моментом». В пьесе «19 октября» 1825 года, писанной в одиночестве михайловской ссылки, горечь момента сосредоточена в повторяющемся мотиве первых строф: «Я пью один...» Одиноким пир — абсурд, самое острое выражение одиночества. «Я пью один; вотще воображенья / Вокруг меня товарищей зовет...» Но, оказывается, — нет, не вотще, воображение всесильно, реальность побеждается властью поэзии, дружеский пир состоялся, тени друзей будто вьяве обступили поэта, и вот уже они пируют все вместе, подымая чашу за чашей:

И первую полней, друзья, полней!
И всю до дна в честь нашего союза!
Благослови, ликующая муза,
Благослови: да здравствует Лицей!

Начавшись с «горьких мук» одиночества, стихи завершаются ликованием, торжеством дружбы, реальным с друзьями общением.

Кажется, что-то подобное происходит и в стихотворении «Кто из богов мне возвратил...» — воображение призывает на беседу и на пир лицейского друга, каторжника Ивана Пущина, и в том мире, где нет границ, на «пиру воображенья», эта встреча становится реальностью: «Я с другом праздную свиданье...» Не трудно здесь увидеть инверсию, зеркальное поэтическое отражение той давней встречи двух друзей в михайловском домике — только теперь поэт свободен, а друг его в опале, они поменялись местами в новых декорациях жизни.

Судьба осужденных декабристов до конца жизни мучительно волновала Пушкина. «...Надеюсь на коронацию: повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна», — писал он в августе 1826 года, узнав о приговоре, и позже надежда на амнистию не оставляла его, вошла лейтмотивом в стихи («Стансы», «Во глубине сибирских руд...», «Друзьям»). В 1832 году было объявлено небольшое послабление осужденным по первому и второму разрядам (Пущин, напомним, — по первому), но все русское общество напряженно ожидало полной амнистии, полного выражения царской милости, и особенно напряжения достигло это ожидание в 1835 году, накануне десятилетней годовщины декабрьских событий. Пушкинский «Пир Петра Первого» был выражением и общего упования, и личной затаенной надежды на великодушие императора; Пушкин снова, как некогда в «Стансах», подсказывал Николаю поступок, направлял его поведение примером Петра.

В конце года амнистия состоялась — таки, однако была не только неполной, но даже мелочной: срок каторжных работ для осужденных по первому разряду был сокращен с пятнадцати до тринадцати лет (только персонально Кюхельбекер получил ошутимое облегчение участи — был отпущен из крепости на поселение). Пушкин, сообщая об этом П. А. Осиповой 26 декабря 1835 года, писал: «Как подумаю, что уже 10 лет протекло со времени этого несчастного возмущения, мне кажется, что все это я видел во сне. Сколько событий, сколько перемен во всем, начиная с моих собственных мнений, моего положения и проч., и проч.». Действительно, и мнения Пушкина, и его новое общественное положение в 1830-е годы поставили его в сложную позицию по отношению к старым друзьям. Юношеский политический радикализм давно был им изжит, заменившись такой системой историко-политических взглядов, в которой не было оправдания «русскому бунту», а близость ко двору, звание камер-юнкера и личные отношения с императором придавали позиции Пушкина сомнительный оттенок. Люди, с которыми его связывали крепкие узы дружбы, которых он любил, которые поддерживали его в гонениях, оказались теперь политически чужды ему, сам же он оказался в близости к их главному политическому врагу. При этом они были на каторге — он на свободе, и новым сво-

⁵ Там же, стр. 68.

им положением невольно делил с Николаем ответственность за их страшную участь. Можно представить себе, какой мучительный предмет составляла для Пушкина судьба осужденных друзей.

Даты, связанные с декабристским восстанием, были глубоко врезаны в пушкинскую память, они то и дело мелькают в его рукописях, фиксируя печальные годовщины, которые Пушкин всегда переживал, отмечал тем или иным способом. Так, не дошедший до нас автограф послания Пушкину в Сибирь («Мой первый друг, мой друг бесценный!..») датирован 13 декабря 1826 года; даты «14 декабря» и «15 декабря» знаменательно обрамляют последнюю тетрадь конспектов к «Истории Петра» (1835), и ясно, что Пушкин закрепил этими датами не столько хронологические работы, сколько «странные сближенья» своей исторической мысли. Один из выразительных примеров — шюмета «16 июля 1827» в автографе «Ариона»: теперь известно благодаря разысканиям А. Чернова, что в этих стихах отразилось тайное паломничество Пушкина на могилу казненных декабристов в годовщину их гибели⁶.

Из пушкинской дневниковой записи от 18 декабря 1834 года мы знаем, что в том году Пушкин отмечал очередную декабристскую дату особым образом — на балу в Аничковом дворце. Царь ежегодно давал этот бал в день своего вступления на престол, иными словами — в честь победы над восстанием, и камер-юнкер Пушкин по этикету должен был на него поехать. В официальном своем дневнике он описывает «всё в подробности, в пользу будущего Вальтер Скотта» — наряды государя и государыни, детали собственного туалета. «Вообще бал мне понравился», — заключает он. Остается только догадываться о том, что не могло войти в «дневник для истории»: как чувствовал себя Пушкин на этом балу? помнил ли он о тех своих друзьях, победу над которыми в этот день праздновали?

Через несколько дней после бала Пушкин говорил о дворянстве вообще и о декабристах с великим князем Михаилом Павловичем. «Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении?» — так он передает свои слова в дневнике. Вновь перед нами официальная запись, отражающая только одну сторону его ощущений. Интимного дневника Пушкин не вел — его заменяла лирика. Нам кажется, что стихотворение «Кто из богов мне возвратил...» имеет некоторое отношение к этому балу и этой дате — в нем нашли выход личные чувства, воспоминания, упования, глубоко затаенные в сердце.

Перевод из Горация обычно датируют неточно — первой половиной 1835 года. Пушкин намеревался включить его в «Повесть из римской жизни», работа над которой была начата в ноябре 1833 года и продолжилась в 1835-м. В эту незавершенную повесть должны были войти также, по замыслу, два перевода из Анакреона — «Поредели, побелели...» и «Узнают коней ретивых...», оба они написаны 6 января 1835 года. Исходя из этого можно предположить, что и перевод из Горация выполнен в близкое время. Его черновик набросан на листке бумаги, которой Пушкин пользовался в 1834 — 1836 годах, и в частности — в январе 1835 года. На той же бумаге он взялся за продолжение римской повести, и один из ее фрагментов попал на черновик нашего стихотворения. Так что скорей всего все эти компоненты единого замысла появились примерно в одно время — в январе 1835 года. 11 января исполнилось десять лет со дня последнего свидания Пушкина с Пушциным. Эта дата не могла пройти мимо сознания Пушкина, и очень вероятно, что именно она стала причиной его обращения к оде Горация. Воспоминание о давней встрече с другом, обостренное придворными декабрьскими празднествами, перешло в мечту о его скором возвращении из Сибири. «Кто из богов...» и есть такая поэтическая мечта, воплощенная Пушкиным в мотивах Горация. Тема стихов — встреча с другом, их лирический импульс — мечта об этой встрече. «Мой первый друг», «О кто ж тебя нам возвратит» — это упование, оставшееся лишь в первых черновых набросках, вызвало в памяти живой образ друга, и он как будто действительно вернулся, и с ним можно пировать как прежде, «празднуя свиданье».

Заметим попутно, что Пушкин не стал подыскивать ритмического аналога к аджеской строфе Горация, как это делали потом другие переводчики — А. А. Фет, Г. Ф. Церетели, Б. Л. Пастернак. Он переложил оду любимым своим четырехстопным ямбом — гораздо более коротким и не претендующим на стилизацию размером, которым он уже вспоминал однажды о михайловской встрече с Пушциным:

⁶ Чернов А. Скорбный остров Гоноруполо. М. 1990.

Мой первый друг, мой друг бесценный!
 И я судьбу благословил,
 Когда мой двор уединенный,
 Печальным снегом занесенный,
 Твой колокольчик огласил.

Теперь, в 1835 году, воспоминание об этой встрече пришло к нему в той же ритмической форме. Очевидно, что и размер пушкинского стихотворения предопределен его лирической природой, а не задачей перевода.

Итак, Пушкин отметил переводом из Горация десятую годовщину свидания в Михайловском. Эта догадка позволяет расслышать в стихах некоторые острые моменты того разговора и увидеть в них отражение последующих событий. Стихи эти связаны не только с Пушиным, они тянут за собой важную проблему пушкинской биографии — проблему отношений Пушкина с декабризмом накануне и после восстания.

Пушин не упомянул в своих записках о том, что он привез в Михайловское письмо Рылеева к Пушкину. До того два поэта были знакомы, но не были дружны, не переписывались; теперь же, в этом письме, Рылеев предлагает, почти навязывает Пушкину отношения гораздо более тесные, мотивируя это внутренней близостью: «Я пишу к тебе *ты*, потому что холодное *вы* не ложится под перо; надеюсь, что имею на это право и по душе и по мыслям. Пушин познакомит нас короче. Прощай, будь здоров и не ленись: ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы; настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без поэмы». Положение Пушкина-ссылного дало Рылееву повод уверенно говорить об их единомыслии и подкапывать сюжет для историко-политической поэмы в духе собственных «Дум». Фраза «Пушин познакомит нас короче» дает возможность предположить, что на словах еще что-то было передано, что-то такое Пушкину рассказано, от чего отношения должны были стать «короче».

Из нескольких фраз рылеевской записки уже делались далеко идущие выводы — писалось, что Пушин по заданию Рылеева должен был поддержать в Пушкине угасшие было «вольнoлюбивые надежды», что визит его имел «значение некоей политической акции», а передача записки была «выполнением своего рода «партийного» поручения»⁷. Честно говоря, сегодня трудно поверить, что автор приведенных слов, умный и тонкий пушкинист, не пародирует здесь сам себя, например, свою раннюю книжку «Классовое самосознание Пушкина». Но эта до абсурда политизированная версия основана на верном наблюдении: Рылеев присутствовал в разговоре Пушина с Пушкиным в большей мере, нежели это отражено в пушинских мемуарах. Обсуждался вопрос о тайных обществах, и Пушин на этот раз был откровеннее, чем прежде в подобных разговорах. «Незаметно коснулись опять подозрений насчет общества. Когда я ему сказал, что не я один поступил в это новое служение отечеству, он вскочил со стула и вскрикнул: «Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать». Потом, успокоившись, продолжал: «Впрочем, я не заставляю тебя, любезный Пушин, говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою по многим моим глупостям». Молча, я крепко расцеловал его — мы обнялись и пошли ходить: обоим нужно было вздохнуть»⁸. Со стороны Пушина это было первое определенное признание, ставшее важнейшим событием встречи. Потом пили «за Русь, за Лицей, за отсутствующих друзей и за нее»⁹. «За нее» — значит, «за свободу», за ту «звезду пленительного счастья», которая не требовала пояснений на общем для них языке декабристского и околodeкабристского круга. По мнению Н. Я. Эйдельмана, «здесь описано естественное продолжение михайловского разговора о тайном обществе. *За нее* — значит: оба собеседника сошлись в общности идеалов, целей: *свобода...*»¹⁰ Политическая тема, и конкретно тема тайных обществ, не вполне развернутая в записках Пушина, была едва ли не центральной в беседе 11 января. Вряд ли Пу-

⁷ Благой Д. Д. Душа в заветной лире. Очерки жизни и творчества Пушкина. М. 1979, стр. 345.

⁸ Пушин И. И. Записки о Пушкине, стр. 67.

⁹ Там же, стр. 68.

¹⁰ Эйдельман Н. Пушкин и декабристы. Из истории взаимоотношений. М. 1979, стр. 276.

щин называл имена, но имя своего единомышленника Рылеева в этом контексте он просто не мог не назвать: в декабре 1824 года, непосредственно перед поездкой в Михайловское, он виделся с Рылеевым в Москве, затем много общался в Петербурге, и рылеевское письмо свидетельствует о намерении через Пушкина донести до Пушкина что-то из тех петербургских разговоров и как-то приблизить его к себе, к своим («Пушкин познакомит нас короче»)¹¹. Трудно сказать, насколько Пушкин тогда был осведомлен о радикализме Рылеева, но уж в 1835 году, когда создавался перевод из Горация, он хорошо знал, что Рылеев был одним из самых решительно настроенных руководителей общества, знал, конечно, о планах царевубийства, составивших важную часть рылеевского замысла захвата власти. Царевубийство было у декабристов популярной идеей с самого начала движения (проекты М. С. Лунина, И. Д. Якушкина), и в связи с этим Брут оказался для них идеальным героем¹², а его борьба за республику против Цезаря, а затем против Августа стала моделью их противостояния русской монархии. Рылеев, воспевавший Брута и Риегу в своем знаменитом стихотворении («Я ль буду в роковое время...», 1824), способствовал закреплению этой аналогии, но еще больше сам Пушкин тому способствовал своим «Кинжалом» (1821), который был широко распространен среди декабристов и фигурировал потом на следствии¹³. Итак, Брут — образ символический, отчетливо декабристский, «царевубийственный», и похоже, что именно в этом символическом (а не только историческом) своем значении появился он в пушкинском переводе оды Горация: «Когда за призраком свободы / Нас Брут отчаянный водил». Среди вариантов черновика находим выразительный глагол «смашил» — «Нас Брут воинственный смашил». У Горация нет слова с подобным значением, как, повторю, нет и никакого эпитета к Бруту, а сказано просто «предводительствуемый Брутом, начальником войска». В 1835 году для Пушкина «Брут отчаянный» в сочетании с «призраком свободы» символизирует тот революционный соблазн, который в юности его «смашил» и «водил» и который в ситуации михайловской встречи исходил от Рылеева. Отсюда в стихотворении Пушкина мотив погони за призраком, никак не предопределенный ни латинской одой, ни французскими прозаическими переводами, к посредству которых он прибегал.

Рылеев в записке действительно как будто манил Пушкина в свою сторону, в политику — Пушкин в разговоре, напротив, увещевал его идти своим путем: «...Я ему ответил, что он совершенно напрасно мечтает о политическом своем значении, что вряд ли кто-нибудь смотрит на него с этой точки зрения, что вообще читающая наша публика благодарит его за всякий литературный подарок, что стихи его приобрели народность во всей России...»¹⁴. Этими словами Пушкин выявил ту альтернативу, которая составила острую внутреннюю проблему для Пушкина в его двухлетнем михайловском одиночестве. Как соотносится путь гениального поэта с общими путями, пусть и самыми благородными? Этот вопрос, пожалуй, впервые встал перед ним в Михайловской ссылке, в 1825 — 1826 годах, и всегда потом оставался важным вопросом, решался не меньше как ценою жизни.

Свой рассказ о встрече с Пушкиным Пушкин завершает словами, над которыми стоит задуматься: «Мы крепко обнялись в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчила расставание после так отрадno промелькнувшего дня»¹⁵. Какие были у них основания надеяться, пусть и шатко, на скорую встречу? Пушкина уже почти пять лет как не пускали в столицы — отчего бы пустили теперь? Очевидно, что-то осталось у Пушкина недосказанным, что-то он утаил, боясь повредить памяти друга (мемуары писались в 1858 году).

* * *

Судя по всему, недомолвка Пушкина связана с загадочным эпизодом пушкинской биографии, известным по пересказам Адама Мицкевича, С. А. Соболевского, П. А. Вяземского, В. И. Даля, М. П. Погодина, М. И. Осиповой. Их версии в чем-

¹¹ Подробнее см.: Эйфельман Н. Пушкин и декабристы, стр. 251 — 253, 279 — 280.

¹² См. об этом: Гордин Я. События и люди 14 декабря. Хроника. М. 1985, стр. 31, 73, 274.

¹³ См.: Нечкина М. В. Декабристы. Изд. 2-е, испр. и доп. М. 1982, стр. 132 — 133; Эйфельман Н. Пушкин и декабристы, стр. 365 — 367.

¹⁴ Пушкин И. И. Записки о Пушкине, стр. 66.

¹⁵ Там же, стр. 70.

то расходятся, но совпадают в главном: в декабре 1825 года, в разгар политической смуты, Пушкин предпринял попытку выехать из Михайловского в Петербург, но передумал, вернулся с дороги. С. А. Соболевский, один из близких друзей Пушкина, утверждает, что не раз слышал от него эту историю при посторонних лицах, и приводит такой пушкинский рассказ: «Известие о кончине императора Александра Павловича и о происходивших вследствие оной колебаний по вопросу о престолонаследии дошло до Михайловского около 10 декабря. Пушкину давно хотелось увидаться с его петербургскими приятелями. Рассчитывая, что при таких важных обстоятельствах не обратят строгого внимания на его непослушание, он решился отправиться туда; но как быть? В гостинице остановиться нельзя — требуют паспорта; у великосветских друзей тоже опасно — огласится тайный приезд сыльного. Он положил захватить сперва на квартиру к Рылееву, который вел жизнь не светскую, и от него записать сведения. Итак, Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер; сам же едет проститься с тригорскими соседками. Но вот, на пути в Тригорское, заяц перебегает через дорогу; на возвратном пути из Тригорского в Михайловское — еще заяц! Пушкин в досаде приезжает домой; ему докладывают, что слуга, назначенный с ним ехать, заболел вдруг белой горячкой. Распоряжение поручается другому. Наконец повозка заложена, трогается от подъезда. Глядь — в воротах встречается священник, который шел проститься с отъезжающим баринном. Всех этих встреч — не под силу суверенному Пушкину; он возвращается от ворот домой и остается у себя в деревне. «А вот каковы бы были последствия моей поездки, — прибавлял Пушкин. — Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтоб не огласился слишком скоро мой приезд, и, следовательно, попал бы к Рылееву прямо на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом; вероятно, я забыл бы о Вейсгаупте, попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые!»¹⁶ Примерно так запомнил рассказ и Вяземский со слов самого Пушкина: «Но, сколько помнится, двух зайцев не было, а только один. А главное, что он бухнулся бы в самый кипяток мятежа у Рылеева в ночь 13-го на 14 декабря: совершенно верно»¹⁷. В. И. Даль сохранил в своей памяти те же детали (зайцы) и к тому же, что очень ценно, смог более внятно объяснить мотивы поездки: «Пушкин жил в 1825 году в псковской деревне, и ему запрещено было из нее выезжать. Вдруг доходят до него темные и несвязные слухи о кончине императора, потом об отречении от престола цесаревича; подобные события проникают молнией сердца каждого, и мудрено ли, что в смятии и волнении чувств участие и любопытство деревенского жителя неподалеку от столицы возросло до неодолимой степени? Пушкин хотел узнать действительно, сколько правды в носящихся разнородных слухах, что делается у нас и что будет; он вдруг решился выехать тайно из деревни, рассчитав время так, чтобы прибыть в Петербург поздно вечером и потом через сутки же возвратиться»¹⁸.

Описав эту историю в несохранившемся письме из Михайловского брату Льву, Пушкин через брата запустил ее в круг своих друзей, а впоследствии сам сделал из нее эффектную устную новеллу¹⁹, которую любил рассказывать в обществе. Но есть ли в ней хоть сколько-нибудь правды? И какое значение придавал Пушкин этому эпизоду, почему так часто к нему возвращался?

Трудно сказать, выезжал ли поэт действительно из Михайловского, но можно точно сказать, что замысел такой у него был и что он готовился к его осуществлению. В 1933 году в руки пушкинистов попал удивительный документ, который здесь приводим полностью:

Билет

Сей дан села Тригорского людям: Алексею Хохлову, росту 2 арш. 4 вер., волосы темно-русые, глаза голубые, бороду бреет, лет 29, да Архипу Курочкину, росту 2 ар. 3 1/2 в., волосы светло-русые, брови густые, глазом крив, ряб, лет 45, в удостоверение, что они точно посланы от меня в С. Петербург по собственным моим

¹⁶ «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников». В 2-х томах. М. 1985, т. 2, стр. 12. Адам Вейсгаупт упомянут в связи с известным предсказанием Пушкину — погибнуть от белой лошади, белой головы или белого человека (Пушкин считал Вейсгаупта зачинателем всех тайных обществ).

¹⁷ Там же, т. 1, стр. 139.

¹⁸ Там же, т. 2, стр. 263 — 264.

¹⁹ Формулировка С. Гессена (Гессен С., «Пушкин накануне декабрьских событий 1825 года». — «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии». 2. М.—Л. 1936, стр. 382).

надобностям, и потому прошу господ командующих на заставах чинить им свободный пропуск.

Сего 1825 года, Ноября 29 дня.

Село Тригорское, что в Опоческом уезде.

Статская Советница

Прасковья Осипова²⁰

Л. Б. Модзалевский установил, что вся эта бумага, или, по-нашему говоря, «въездная виза» в Петербург, от начала до конца искусно подделана Пушкиным. Текст «билета» он вывел писарским почерком, за соседку свою П. А. Осипову подпisałся другим пером и другим почерком — женским, ровным — и поставил внизу свою печать.

В приметах Алексея Хохлова пушкинисты разгадали черты внешности самого Пушкина²¹, только он чуть понизил себе рост да прибавил три года, считая, что выглядит старше своих двадцати шести. Только что закончив «Бориса Годунова», Пушкин перенес в собственную жизнь сцену в корчме на литовской границе, где читают царский указ с приметами Гришки Отрепьева и тотчас узнают его по приметам: «А ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волоса рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая». Свой портрет Пушкин составил в той же поэтике, разыграв найденный драматургический прием. А может быть, и наоборот, игра была вначале придумана для жизни (ведь мысль бежать из ссылки и раньше приходила Пушкину) и уж потом вошла в сюжет трагедии.

Второй персонаж поддельного пропуска Архип Курочкин — лицо реальное, упоминаемое в переписке Пушкина, в воспоминаниях М. И. Осиповой (младшей дочери П. А. Осиповой), в записанных рассказах пушкинского кучера Петра²². В описи села Михайловского по ревизии 1833 и 1838 годов значится в списке крестьян и дворовых некто Архип Кириллов, то есть Кириллов сын — по старинке указано отчество вместо фамилии²³. В 1833 году этому Архипу было 54 года, в 1838-м — 58 (Пушкина он пережил), так что в конце 1825 года ему как раз было 45, как Архипу Курочкину в пропуске.

Всего этого, кажется, достаточно, чтобы убедиться, что Пушкин действительно собирался тогда в столицу — инкогнито, в сопровождении своего дворового Архипа.

Не реализованный в жизни, этот проект получил художественную реализацию в «Каменном Госте», что пронизательно подметила Анна Ахматова: «Сама ситуация завязки трагедии очень близка Пушкину. Тайное возвращение из ссылки — мучительная мечта Пушкина 20-х годов. Оттого-то Пушкин и перенес действие из Севильи (как было еще в черновике — Севилья извечный город Дон Жуана) в Мадрид: ему была нужна столица. О короле Пушкин, устами Дон Гуана, говорит: «...Пошлет назад. / Уж, верно, головы мне не отрубят. / Ведь я не государственный преступник». Читай — политический преступник, которому за самовольное возвращение из ссылки полагается смертная казнь. Нечто подобное говорили друзья самому Пушкину, когда он хотел вернуться в Петербург из Михайловского»²⁴. К словам Ахматовой добавим, что «Каменный Гость» не единственное пушкинское произведение, где как-то отразилась эта несостоявшаяся поездка, — но об этом разговор впереди.

Убедившись в серьезности намерения Пушкина, зададимся вопросом: зачем он все-таки поехал (если поехал) и почему вернулся? — неужто только из-за зайцев? Чтобы разобраться в этом, важно уточнить, до или после восстания выезжал Пушкин из Михайловского. На фактическую точность рассказа самого Пушкина не стоит полагаться — он построен по законам новеллы и мог быть приурочен к конкретным датам ради сюжетной остроты. В пушкинистике возобладала версия, иду-

²⁰ Цитируем с поправками в орфографии и пунктуации по кн.: «Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты». М.—Л. 1935, стр. 754 — 755.

²¹ Первым эту мысль выдвинул при устном обсуждении Я. З. Черняк, развил ее М. А. Цявловский в статье «Пушкин — Хохлов» («Литературная газета», 6.6.34).

²² Подробнее см.: «Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799 — 1826». Сост. М. А. Цявловский. Л. 1991, стр. 682 — 683.

²³ См.: Щеголев П. Е. Пушкин и мужики. М. 1928, стр. 268.

²⁴ Ахматова Анна. О Пушкине. М. 1989, стр. 94.

щая врезка с пушкинской и основанная на воспоминаниях М. И. Осиповой: в 1866 году она повела М. И. Семевскому, как однажды их повар Арсений вернулся из Петербурга в Тригорское «в переполохе» и сообщил, «что в Петербурге бунт, что он страшно перепугался, всюду разъезды и караулы, насилие выбрался за заставу, нанял почтовых и поспешил в деревню. Пушкин, услыша рассказ Арсения, страшно побледнел. В этот вечер он был очень скучен, говорил кое-что о существовании тайного общества, но что именно — не помню»²⁵. Да и затруднительно было бы помнить — Маше Осиповой в 1825 году было пять лет, так что все подробности того зимнего вечера за чаем не столько мемуары, сколько стилизация мемуаров. На следующий день, по рассказу Осиповой, Пушкин выезжает в Петербург, дальше следуют знакомые нам зайцы (уже не один и не два, а целых три), священник — и он возвращается. Таким образом, получается, что Пушкин вознамерился бежать из Михайловского не до восстания, а после него — это кажется не очень правдоподобным психологически. Скорее всего в памяти М. И. Осиповой слились два предания: пушкинская история про зайцев и семейный рассказ, слышанный ею от матери, о том, как в доме узнали про петербургский бунт²⁶.

Гораздо более правдоподобны объяснения В. И. Даля, что Пушкин выезжал в преддверии восстания, в обстановке смутных слухов о междуцарствии. Известие о смерти императора дошло до него 3 — 4 декабря (посылал кучера Петра в ближайший город Новоржев, чтобы «доподлинно узнать»²⁷) — видно, вскоре после этого он и собрался в Петербург, а проездной «билет» нарочно выписал себе задним числом, 29 ноября, чтобы путешествие Алексея Хохлова и Архипа Курочкина никак нельзя было связать с политическими событиями.

Но пушкинисты располагают еще одним свидетельством, которое вносит существенное дополнение в эту детективную историю. В записках декабриста Н. И. Лорера рассказывается со слов пушкинского брата Льва: «Александр Сергеевич был уже удален из Петербурга и жил в деревне своей родовой — Михайловском. Однажды он получает от Пушина из Москвы письмо, в котором сей последний извещает Пушкина, что едет в Петербург и очень бы желал увидеться там с Александром Сергеевичем. Недолго думая, пылкий поэт мигом собрался и поспешил в столицу. Недалеко от Михайловского, при самом почти выезде, попался ему на дороге поп, и Пушкин, будучи суеверен, сказал при сем: «Не будет добра» — [и] вернулся в свой мирный уединенный уголок. Это было в 1825 году, и провидению угодно было осенить своим покровом нашего поэта. Он был спасен!»²⁸ Так вот что, оказывается, толкнуло Пушкина на столь безрассудный шаг — письмо друга, позвавшего в столицу. Письмо это не сохранилось, Пушкин, должно быть, уничтожил его после восстания вместе со своими записками и другими бумагами, которые могли бы скомпрометировать его в глазах властей. Зачем Пушин позвал его? 26 ноября он подал прошение об отпуске и собрался из Москвы в Петербург. Поездка была запланирована давно, но непосредственным толчком к ней наверняка послужили дошедшие до Москвы слухи о тяжелой болезни императора (а может быть, Пушин 26 ноября уже узнал, что Александр I в Таганроге скончался). У заговорщиков давно было условлено, что смерть царя должна быть использована как момент, удобный для выступления. Так или иначе, Пушин собирался в Петербург не только по семейным делам, но он ничего еще не мог знать об отречении Константина, так что имел самые туманные предположения о дальнейшем развитии событий. Письмо его к Пушкину Н. Эйдельман толкует так: «Это было продолжение разговора 11 января — то, о чем условились при встрече в Михайловском: если не наступит внезапной амнистии, то в следующий же приезд Пушина в Петербург он даст сигнал Пушкину и тот явится <...> Подобная тема возникала в разные моменты их встречи: и тогда, когда Пушкин посмеивался над царским беспокойством в связи с приездом Льва Сергеевича; и когда размышлял о внезапном, смелом появлении самого Пушина в Михайловском. Эквивалентом могло быть столь же внезапное появление Пушкина в Петербурге...»²⁹ Допущение очень вероятное:

²⁵ «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников», т. 1, стр. 459.

²⁶ Предположение М. А. Цявловского («Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина», стр. 682).

²⁷ «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников», т. 1, стр. 465.

²⁸ Лорер Н. И. Записки декабриста. Изд. 2-е. Иркутск, 1984, стр. 204.

²⁹ Эйдельман Н. Пушкин и декабристы, стр. 282.

вполне в духе Пушкина было «отдать визит» столь же дерзко, сколь дерзко Пушкин посетил его в Михайловском, да и со всеми остальными поведаться. К тому же Пушкин в новой политической ситуации лелеял надежду на скорое освобождение и хотел форсировать его своим внезапным появлением в столице. Во время своего сидения в Михайловском он так рвался на свободу, такие строил фантастические планы побега, что не мог не встрепенуться в этот благоприятный момент.

Однако была, по-видимому, и еще одна причина, по которой Пушкин в начале декабря 1825 года устремился в Петербург. Ученым-пушкинистам она, насколько нам известно, не приходила в голову, а вот романист сопоставил несостоявшийся пушкинский выезд с данными из его письма к А. П. Керн от 8 декабря 1825 года (приводим перевод с французского): «Вы *edete* в Петербург, и мое изгнание тяготит меня более, чем когда-либо. Быть может, перемена, только что происшедшая, приблизит меня к вам, не смею на это надеяться». В романе И. А. Новикова Пушкин отправляется из Михайловского, получив письмо от А. П. Керн, в котором сообщалось, что она едет в Петербург³⁰ *Cherchez la femme!* Догадка эта приобретает убедительность, если вспомнить пушкинское письмо к Керн от 22 сентября того же года, где он, обсуждая варианты встречи с ней, называет кроме Михайловского и Пскова также и Петербург: «Или не съездить ли вам в Петербург? Вы дадите мне знать об этом, не правда ли? — Не обманите меня, милый ангел».

Конечно, «любовная» причина поездки не была единственной, но могла быть очень сильной. Похоже, что в начале декабря вдруг все сошлось, все вместе привело Пушкина к его экстравагантному решению: и политические перемены, и письмо Пушина, и письмо Керн. Нетерпение ссыльного, дошедшее до предела, нашло, казалось, возможность разрешиться.

Для полноты картины не обойдем вниманием одну гипотезу, получившую распространение в 1930-е годы. Она состоит в том, что Пушкин, грубо говоря, ехал из Михайловского целенаправленно на Сенатскую площадь, но из-за зайцев не доехал. (Это напоминает известный анекдот про Дельвига, которого будто бы спросили, отчего он не вышел с декабристами, а тот будто бы ответил, что уж очень рано надо было вставать.) Ввела эту мысль в обиход М. В. Нечкина, предположившая, что Пушкин, готовясь к восстанию и веря в его победу, вызвал друга, «чтобы А. С. Пушкин не остался чужд этому решительному моменту»³¹. Предположение со всех сторон фантазмагорическое, давно оспоренное, противоречащее известным фактам и интересное сегодня только как пример победы революционного энтузиазма над здравым смыслом исследователя.

Пушкин вызвал Пушкина не на смертельно опасное дело, не на восстание, которого в тот момент не мог определенно предвидеть, а вызвал он его «на дружбу» — такую формулу нашел Н. Эйдельман, давая художественную интерпретацию событий в повести о Пушкине³², и это согласуется с рассказом Лорера. Но в том-то и состояла сложность ситуации для Пушкина, что попади он в эти декабрьские дни в Петербург, непременно оказался бы вместе с восставшими, оказался бы по дружбе, а не по политическим соображениям. Именно это он и объяснил Николаю I в ответ на его вопрос: «Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 декабря?» — «Неизбежно, Государь, все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них»³³.

Пушкин был прозорливее Пушина: не зная толком, что происходит в столице, не будучи конкретно осведомлен о планах заговорщиков, он глубинным чутьем художника почувствовал не только взрывоопасность момента, но и личную для себя опасность быть втянутым в новый политический водоворот. Почувствовал — и отказался от этой возможности, повернул с дороги. За анекдотическими зайцами устной новеллы стоит глубоко осознанный внутренний выбор, к которому Пушкин закономерно подошел за последние годы.

³⁰ Новиков И. А. Пушкин в Михайловском. М. 1982, стр. 232 — 233.

³¹ Комментарий в кн.: Лорер Н. И. Записки декабриста, стр. 393. Впервые то же в статье: Нечкина М. В., «О Пушкине, декабристах и их общих друзьях» («Каторга и ссылка», 1930, № 4).

³² Эйдельман Н. Большой Жанно. Повесть об Иване Пушкине. М. 1982, стр. 363.

³³ Разговор цитируется в записи А. Г. Хомутовой по кн.: Эйдельман Н. Пушкин. Из биографии и творчества. 1826 — 1837. М. 1987, стр. 29.

* * *

Благодаря запискам И. Д. Якушкина до нас дошла выразительная сцена: Пушкин, оказавшийся среди будущих декабристов в Каменке, уверился было в существовании тайного общества, а когда это представили как розыгрыш, воскликнул «со слезой на глазах»: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь; я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка»³⁴. Это было в конце 1820 или начале 1821 года, и между героем этой сцены и Пушкиным конца 1825 года пролегал такая же бездна, как между автором «Кинжала» и автором «Бориса Годунова». Да и с января 1825 года, когда Пушкин встречал друга на заснеженном крыльце своего «опального домика», тоже многое в нем изменилось: на поверхности жизни было томление одиночеством, мысли о победе, авантюра с аневризмом, романы с триггорскими барышнями — а на глубине шла грандиозная работа, духовная и творческая. Темпы роста гения не умопостигаемы: за 1825 год Пушкин совершил скачок, определивший его последующее развитие и в конечном счете его место в нашей истории. Какие стоят за этим внутренние события, еще предстоит разобраться, но то, что этот год был переломным в творчестве Пушкина, очевидно. Он сам это осознал и сформулировал в июле 1825 года со свойственной ему простотой и лаконичностью: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить» (черновое французское письмо Н. Н. Раевскому). Это внутреннее преобразование нашло впоследствии поэтическую форму — в метаморфозе героя «Пророка».

Друзья — Пущин в разговоре, Жуковский и Вяземский в письмах — убеждали Пушкина, что его место — не на политическом поприще, что его дело — поэзия, что талант обязывает его ответственнее относиться к собственной жизни. Но такие вещи нельзя внушить, вменить, они приходят изнутри как итог развития, как стусок личного опыта. В мае — июне 1825 года Пушкин пишет откровенно автобиографическую элегию «Андрей Шенье», где герой, пожертвовавший поэзией ради гражданского служения, утверждает перед казнью в правоте своего выбора. В стихотворении запечатлена та коллизия, которую остро ощущал ссыльный Пушкин, но уже к концу года, к моменту декабрьской поездки, она приобрела другой вид. «Я могу творить» было сказано в связи с «Борисом Годуновым». Пушкин писал трагедию год, особенно интенсивно — с весны по 7 ноября 1825 года, и она вывела его на новое творческое самосознание, стала поворотным пунктом в судьбе. По точной мысли А. Битова, достигнув в «Борисе Годунове» «высоты Шекспировой», Пушкин вышел на «мировую дорогу», от которой дорога на Сенатскую площадь лежала в стороне. «Перебеги заяц дороге Пушкину в декабре 1824-го, не остановил бы он его ни от чего, не только от рискованного, но и безрассудного шага. Заяц, который перебегает дорогу в декабре 1825 года, перебегает ее уже другому Пушкину. Пушкина легко остановить по дороге на Сенатскую площадь, потому что это уже не его дорога»³⁵. С того момента, как Пушкин всерьез осознал свое предназначение, он стал гораздо меньше подвержен внешним воздействиям — творческий гений определяет теперь его поступки, изнутри мощно направляет его пути.

Перелом произошел не только в творческом самосознании Пушкина, но и в его историческом видении, в его чувстве истории. До 1825 года Пушкин не брался углубленно писать на исторические темы. Историк проснулся в нем именно в 1825 году, когда одновременно создавался «Борис Годунов» и первая его серьезная историческая проза — «Замечания на *Анналы Тацита*». Давно замечено, что эти пушкинские сочинения перекликаются и на материале совершенно разных эпох осваивают сходную проблематику, имеющую отношение к пушкинской современности.

Тацит как обличитель диктатуры, «бич тиранов» повлиял на республиканские идеалы декабристов. Пушкин, читая Тацита в 1825 году, усмотрел в некоторых его политических оценках одномерность, внеисторический схематизм. Его полемика с Тацитом — это возражение против упрощенного подхода к истории, прозрение ее глубинных механизмов, мало зависящих от воли политиков. Два наших замечательных историка, анализируя пушкинские заметки о Таците, пришли к близким

³⁴ «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников», т. 1, стр. 380.

³⁵ Битов А. Вычитание зайца. М. 1993, стр. 36 — 37.

выводам: Г. С. Кнабе писал о пушкинском разочаровании в «романтически-волюнтаристском, субъективно-фрондерском подходе к общественной действительности»³⁶, Н. Я. Эйдельман полагал, что «„Замечания на *Анналы Тацита*» — одно из документальных свидетельств удаления поэта от „прямого декабризма”»³⁷. Другое свидетельство такого удаления — трагедия «Борис Годунов», в которой верховная власть держится закономерным ходом событий, а волюнтаристское ее присвоение не находит исторических и нравственных оправданий. С 1825 года начинается движение Пушкина к историческому провиденциализму, на фоне которого попытки насильственно сменить форму правления выглядят по меньшей мере исторически безответственно. Через год после восстания в записке «О народном воспитании» Пушкин оформил эти мысли в связи с декабризмом: «Политические изменения, вынужденные у других народов силою обстоятельств и долговременным приготовлением, вдруг сделались у нас предметом замыслов и злонамеренных усилий». И дальше — о том, что восставшие столкнулись с «силой правительства, основанной на силе вещей». Записка «О народном воспитании» составлялась по заказу императора, и Пушкину пришлось кое-где сгустить оценки, но это не значит, что он писал не то, что думал. «Сила обстоятельств», «сила вещей» становятся опорными категориями его исторического мышления, в какой-то мере сформировавшегося уже в 1825 году, в процессе создания «Бориса Годунова», чтения Карамзина и Тацита. Так что с заговорщиками ему было теперь не по пути, при всех личных симпатиях.

Пушкин был человеком редкой храбрости, но не храбрость или трусость определяли его решения в декабре 1825 года. Поплатиться жизнью или личной свободой за чужое дело — вот чего он не захотел. Смерть Александра I впервые с начала ссылки открывала Пушкину реальную надежду на законное освобождение от опалы, и совершить неточный, не свой поступок именно в этот момент было бы особенно нелепо. А Пушкин так был близок к тому, чтобы совершить этот поступок — невольно, случайно, по дружбе.

Отказавшись от поездки, Пушкин задумался о роли случая в истории и в частной жизни человека. Плодом этих раздумий стала поэма «Граф Нулин», написанная 13 — 14 декабря. Пушкин прокомментировал ее замысел в специальной заметке 1830 года; он рассказал, что, перечитывая поэму Шекспира «Лукреция», представил себе, как по воле случая вся римская история могла пойти по другому сценарию. Эта мысль толкнула его «пародировать историю и Шекспира», реализовав другой возможный вариант исторического сюжета и перенеся его в жизнь неисторических, частных лиц. Первым Б. М. Эйхенбаум догадался, что поэма связана с декабрьскими событиями 1825 года по происхождению, а не по случайному совпадению дат: Пушкин жил тогда в ожидании политических перемен и «вопрос о случайности в истории должен был тревожить его...»³⁸. Но не только история волновала Пушкина. В те декабрьские дни после поездки он смутно прозревал то, что стало потом очевидностью: случай мог повести его собственную жизнь по совсем другому сценарию — как пощечина Лукреции Тарквинию могла повернуть всю римскую историю. Эта генетическая связь замысла «Графа Нулина» с декабристской темой в ее личном для Пушкина преломлении скрыта в самом тексте поэмы, в стихах о колокольчике, звук которого возвещает приезд друга: здесь ожило воспоминание о пушкинском визите 11 января 1825 года³⁹, о встрече друзей, которая повлекла за собой письмо Пущина с вызовом в Петербург и дала Пушкину материал для историко-политических предположений, оказавшихся точными.

Пушкинская переписка в первые месяцы после восстания обнаруживает бурю чувств и всю сложность его личного положения в связи с происшедшим. С одной стороны, он страшно беспокоится о судьбе друзей, выпрашивает о Пущине, о Равевских, уповает на «милость царскую»; с другой — настойчиво размежевывается с восставшими, повторяет, что ни в чем не замешан, что никогда «не проповедовал

³⁶ Кнабе Г. С., «Тацит и Пушкин» («Временник Пушкинской комиссии». Вып. 20. Л. 1986, стр. 55).

³⁷ Эйдельман Н. Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта. М. 1984, стр. 85.

³⁸ Эйхенбаум Б. М., О замысле «Графа Нулина» («Временник Пушкинской комиссии». 3. М.—Л. 1937, стр. 352).

³⁹ Наблюдение В. Ф. Ходасевича (Ходасевич В. Ф. О Пушкине. Берлин. 1937, стр. 124 — 133).

ни возмущений, ни революции», просит ходатайствовать о нем перед новой властью. Надежды на облегчение своей участи сменяются понятным человеческим страхом перед новой возможной расправой: «Всё-таки я от жандарма еще не ушел, легко, может, уличат меня в политических разговорах с каким-нибудь из обвиненных. А между ими друзей моих довольно » (В А. Жуковскому в 20-х числах января 1826 года)

Довольно скоро Пушкину стало отчетливо ясно, чего он избежал, избежав участия в восстании. В декабре 1825 года вся его жизнь могла повернуться гибельным образом. Именно эта мысль, как видно, поразившая Пушкина, и составляет суть его новеллы «про зайцев». Вспомним пересказ Соболевского: «...попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые!» А сидел бы где-нибудь в сибирском руднике — вот что имеется в виду. Это и до восстания представлялось Пушкину вполне реальной возможностью; воображая в шутку свое объяснение с Александром I, он предполагал в итоге быть сосланным в Сибирь, где бы «написал поэму «Ермак» или «Кочум», русским размером с рифмами». После восстания было уже не до шуток. «Верно вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен», — писал он в январе 1826 года П. А. Плетневу. Не только Пушкину, но и его друзьям-декабристам приходило в голову, что он мог бы оказаться с ними в Сибири. Пущин всерьез обдумал этот вариант и пришел к заключению, что сибирская жизнь пагубно отразилась бы на Пушкине⁴⁰. С. Г. Волконский, напротив, жалел, что не принял Пушкина в общество — в этом случае Сибирь уберегла бы его от дуэли⁴¹. Последнее рассуждение, конечно, курьезно, вряд ли Пущин согласился бы с его логикой. В любой перспективе очевидно, что Пушкин в декабре 1825 года удержался от рокового шага, спасся от верной гибели. Ему представлялся вариант и похуже Сибири: «И я бы мог...» — записал он впоследствии возле рисунка виселицы с пятью повешенными.

Пушкин воспринял свое спасение как чудесное, промыслительное. Об этом он сказал царю: «Одно отсутствие спасло меня, и я благодарю за то Небо»⁴². Отголоски его восприятия слышны и в рассказах о несостоявшейся поездке — В. И. Даль назвал ее «странным происшествием, которое спасло его от неминуемой большой беды»⁴³. Н. И. Лорер писал о ней: «...Провидению угодно было осенить покровом нашего поэта. Он был спасен!» Не только этот конкретный эпизод, но и вся история отношений Пушкина с декабризмом выглядела после разгрома восстания как история его таинственного спасения под покровом Небес. Пущин, вспоминая через много лет, как он несколько раз чуть не вовлек Пушкина в общество, признал « все эти < .> обстоятельства приняла, в глазах моих, вид явного действия Промысла, который, спасая его от нашей судьбы, сохранил поэта для славы России»⁴⁴.

В декабре 1825 года Промысл явил себя в виде зайца, перебежавшего дорогу (если он не выдуман), от поэта же зависело понять этот знак, довериться ему, в конечном счете — довериться «случаю — мощному, мгновенному орудию Провидения». Эквивалентом историческому провиденциализму становится у Пушкина доверие к Провидению, действующему в личной судьбе.

Через полтора года после событий он облек историю своего спасения в сюжет античного мифа об Арионе:

Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою.

Герой «Ариона» спасен не случайно, а потому, что он «таинственный певец» — существо избранное, особое, рожденное не для общих путей, отмеченное печатью высшего покровительства. В поэте есть тайна, он не властен в своей судьбе и должен только следовать за ней, не изменяя предназначению.

Сделав в 1825 году выбор между творчеством и политикой, Пушкин впоследствии приравнивал поэзию к спасающему Провидению, которое тогда, в Михайловском, взяло поэта под свою защиту.

⁴⁰ Пущин И. И. Записки о Пушкине, стр. 74.

⁴¹ «Литературное наследство», т. 58. М. 1952, стр. 163.

⁴² Эйфельман Н. Пушкин. Из биографии и творчества, стр. 29.

⁴³ А. С. Пущин в воспоминаниях современников», т. 2, стр. 263.

⁴⁴ Пущин И. И. Записки о Пушкине, стр. 74.

Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.

В его выборе была безусловная правота гения, и при этом Пушкин-человек, друг своих друзей, не мог не мучиться своей непричастностью к их жертве. Кодекс дружбы требовал больше чем сочувствия — но поэзия еще более властно требовала безоглядного служения. Глубокое суждение высказал по этому поводу Ю. М. Лотман в своем последнем интервью: «Рылеев максимально жертвовал, когда пошел на эшафот, а Пушкин — когда не пошел на эшафот. Истину надо найти для себя свою...»⁴⁵ Пушкин нашел свою истину и принес свою жертву. Кажется далеко не случайным, что он начал писать «Пророка» в тот именно день, когда узнал о казни декабристов, — начал со строки, измененной впоследствии: «Великой скорбью томим...» Скорбь его о них была великой, но его собственное служение было не на путях «бранной славы», а на путях, поэтически осмысленных в «Пророке».

История несостоявшейся поездки Пушкина в Петербург и шире — история его таинственного спасения посреди политической бури нашла свое отражение в переводе оды Горация к Помпею Вару. Ее внутренняя обращенность к Пушкину определила ход воспоминаний о том, что последовало за его визитом в Михайловское:

Ты помнишь час ужасный битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно брося щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся, как бежал!
Но Эрмий сам незапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал
И спас от смерти неминучей.

На фоне описанных событий эти стихи наполняются живым смыслом, в особенности там, где Пушкин отходит от Горация. Весь приведенный фрагмент звучит у Пушкина гораздо взволнованнее, слово «ужасный» он от себя привносит в перевод — у Горация о битве при Филиппах вспоминается спокойно, без таких эпитетов. Это слово, дважды пробивающееся в текст, красноречиво выдает чувства Пушкина, связанные с «русским бунтом», весь его истинный ужас перед «страшной стихией мятежей» и не меньший ужас по поводу судеб мятежников («каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна»). Понятнее становится иное, чем у Горация, употребление слова «квирит»: герой бежал потому, что он не боец, потому, что по природе своей он не создан для «бранной славы». «Бежал, нечестно брося щит...» «Нечестно» — потому что пренебрег дружбой, обещал приехать по вызову и не приехал, друзей постигла беда, а он в этот момент был не с ними. Интересно, что герой Горация теряет доблесть на поле брани вместе со всем войском, поверженным в прах; у Пушкина же герой как будто совсем один оказался «в час ужасный битвы» — так и было в реальности с Пушкиным.

В следующих четырех стихах встречаем знакомый мотив: герой спасен «от смерти неминучей» (этого, напомним, нет у Горация), он бежал, но не трусость его спасла, а покровительство Небес — «Эрмий сам», покровитель поэтов, вмешался в его судьбу. Спасение героя выглядит незаслуженно, немотивированно — и выходит, что его бегство оправдано, санкционировано Небом. Все это воспринимается как поэтическая версия уже известных нам событий, вмещенная в несколько размытые рамки перевода с латинского⁴⁶.

И наконец — о странной концовке стихотворения:

Теперь некстати воздержанье:
Как дикий скиф хочу я пить.
Я с другом праздную свиданье,
Я рад рассудок утопить.

⁴⁵ «Человек», 1993, № 6, стр. 115.

⁴⁶ В общей форме мысль о связи стихотворения с михайловской ссылкой и с декабристами высказывалась не раз. См., например: Покровский М. М., «Пушкин и античность» («Пушкин. Временник Пушкинской комиссии». 4 — 5. М.—Л. 1939, стр. 48, сноски).

Здесь слышится и восторг от воображаемой встречи с другом, и отчаянный порыв уйти от реальности в безумную вакханалию — такой же отчаянный порыв, как в песне Председателя из «Пира во время чумы» («Утопим весело умы...»). Если принять наше предположение, что мечта о встрече с Пушиным дала жизнь этим стихам, то финал звучит понятнее: только утопив рассудок, можно предаться мечте и праздновать иллюзорное свидание с тем, кто в это время отбывает свой каторжный срок; только утопив рассудок, можно заглушить чувство невольной вины перед другом, чей образ вызван из глубин памяти.

* * *

Подойдя к пределу содержательных возможностей лирики, Пушкин в последние годы искал новых способов ее смыслового обогащения. Один из таких способов был нащупан им на пути включения лирических стихотворений в прозу и драму. Это позволяло отстранить лирическое событие и тем выявить в нем дополнительные смысловые потенции. В 1835 году Пушкин активно практикует такой прием, вводя стихи в «Египетские Ночи», «Сцены из рыцарских времен», «Повесть из римской жизни». В этой последней, незавершенной, повести нашел свое место и перевод из Горация наряду с двумя переводами из Анакреона. Герой повести Петроний, приводя оду, рассуждает о ней: «... Не верю трусости Горация <...> Хитрый стихотворец хотел рассмешить Августа и Мецената своею трусостью, чтоб не напомнить им о сподвижнике Кассия и Брута. — Воля ваша, нахожу более искренности в его восклицании: „Красно и сладостно паденье за отчизну“». Последняя фраза зачеркнута, повесть на этом обрывается. От лица близкого ему героя, поэта и философа Петрония Пушкин дает интересный комментарий к своим стихам. «Хитрый стихотворец», он будто советует нам читать их не буквально, а как бы сквозь строки, «сквозь текст»⁴⁷, угадывая чувства, их породившие. Пушкин вместе с героем подвергает сомнению миф о трусости Горация, самим Горацием пущенный в ход в этой оде, — за рассказом о его бегстве он усматривает какой-то особый смысл, во всяком случае, что-то более серьезное, чем трусость. Таким образом, он как будто опосредованно комментирует и свой аналогичный поступок, а также свой о нем лукавый рассказ, в котором зайцы имеют анекдотическое значение и призваны «рассмешить» слушателя, затемнив серьезную сторону дела. Показательно, что П. В. Анненков, первый биограф и издатель Пушкина, увидел подозрительную аллюзию в словах о «сподвижнике Кассия и Брута» и сделал на них купюру при первой публикации повести. Берем его в союзники — он верно почувствовал, что это касается политической репутации самого Пушкина.

Контекст римской повести помогает ответить на существенный вопрос: почему именно у Горация Пушкин в 1835 году позаимствовал форму для своих воспоминаний и чувств. Эту повесть, навеянную чтением Тацита, Плиния и Петрония, Пушкин начал в ноябре 1833 года, но оставил на первой же странице. В 1835 году он вернулся к ней и, набросав еще несколько фрагментов, придал сюжету такое направление, по которому можно судить о замысле⁴⁸. 1835 год стал важным, переломным годом для Пушкина: пройдя очередной круг жизни, десятилетие творческой и человеческой зрелости, он в 1835-м оглядывался назад, осмысляя прошлое, подводил итоги. К началу года уже было ясно, что в его жизни завязан почти мертвый узел, который нельзя развязать — можно только разрубить решительным ударом, резким поворотом судьбы. Если в 1825 году Пушкин счастливо избежал политической ловушки, то теперь попал в нее, и ловушка захлопнулась. Близость ко двору обернулась такой зависимостью, которая затрагивала самые основы его существования как художника. На этом фоне кажется закономерным его возвращение к поэзии о Петронии, сюжет которой пропитан лирической проблематикой позднего Пушкина, герой которой — крупный художник, приближенный ко двору диктатора и оказавшийся перед лицом смерти в результате придворных интриг. Обсуждая оду Горация, Петроний обсуждает тему зависимости поэта от влас-

⁴⁷ Пользуемся выражением Э. В. Слинной, употребленным по тому же поводу (Слинина Э. В., «Повесть А. С. Пушкина «Цезарь путешествовал...» (Соотношение поэзии и прозы)» / «Проблемы современного пушкиноведения». Л. 1986, стр. 11/).

⁴⁸ См.: Лотман Ю. М., «Опыт реконструкции пушкинского сюжета об Иисусе» (в кн.: Лотман Ю. М. Избранные статьи в трех томах, т. 2. Таллин. 1992).

ти — тему, объединяющую не только Петрония с Горацием, но и Пушкина с Петронием и Горацием. Известно, как томился Гораций в последние годы своей близостью к Августу, как отстаивал право на независимость и в творчестве, и в образе жизни, как неохотно покидал свое сабинское поместье для поездок в Рим и участия в придворных церемониях. Пушкин, с 1834 года добивавшийся от царя отставки, чтобы уехать в Болдино, не мог не видеть аналогий между положением Горация и своим положением при власти⁴⁹. Аналогии в судьбах художников всегда поражали его, в разное время Овидий, Шенье, Вольтер помогали ему осмыслить обстоятельства собственной жизни. В 1835 — 1836 годах Гораций стал в этом отношении, может быть, самым актуальным поэтом для Пушкина, следы чтения его отложились в пушкинской исповедальной лирике последних лет — «Пора, мой друг, пора!..», «Из Пиндемонти», «Памятник»⁵⁰.

Пушкин реально чувствовал связь между поэтами разных стран и разных эпох, он знал по внутреннему опыту, что они существуют в каком-то общем мире, что века не разделяют, а соединяют их. Поэтому для него было не только возможно, но и естественно говорить о своей жизни от лица римского поэта дохристианской эпохи.

PS. На стадии корректуры этой статьи я обнаружила, что М. Поздняев ранее уже высказал догадку о связи стихотворения «Кто из богов мне возвратил...» с Иваном Пуцциным и с несостоявшимся пушкинским побегом из Михайловского в декабре 1825 года («Огонек», 1980, № 52, стр. 14). Сожалея, что эта догадка осталась вне поля моего зрения во время работы над статьей, я все же радуюсь совпадению наблюдений.

⁴⁹ Это наблюдение впервые высказано в статье: Суздальский Ю. П., «Пушкин и Гораций» («Іноземна філологія». Вип. 9. Львів. 1966, стр. 145).

⁵⁰ Некоторые подробности см.: Кибальник С. А., «О стихотворении «Из Пиндемонти» (Пушкин и Гораций)» («Временник Пушкинской комиссии. 1979». Л. 1982).

**Читайте в следующем номере
заметки Александра Кушнера
«Средь детей ничтожных мира»**

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ГОЛОС, УКРЕПЛЕННЫЙ ОТЧАЯНИЕМ

Георгий Иванов. «Сады» и «Розы». Вступительная статья и составление Луи Аллена. СПб. «Logos». 1993. 120 стр.

«Н о я не забыл, что обещано мне / Воскреснуть. Вернуться в Россию стихами», — писал полвека назад в эмиграции Георгий Иванов. Это возвращение и состоялось и нет. Имя Иванова на слуху, его стихи любимы, но тиражи их, количество изданий ничтожны по сравнению с потенциальным спросом и интересом. Самый объемный том ивановских сочинений вышел в издательстве «Книга» в 1989 году, значит, готовился еще раньше, чем, видимо, объясняется отсутствие в нем многих превосходных стихотворений, по тогдашним понятиям непреходимо антисоветских. А обширный сопроводительный комментарий Н. А. Богомолова из-за чересчур спрессованного набора и отсутствия соответствующих страничных ссылок практически не работает. Так что издание, пусть даже всего лишь пятитысячным тиражом, двух определяющих ивановское творчество книг — последней, написанной в России («Сады»), и первой, созданной уже в эмиграции («Розы»), — не просто своевременно, но жгуче необходимо. Именно по ним, «соединенным под одной обложкой и производящим — не побоюсь полузабытого слова — упоительное впечатление, реконструируемо все драматичное творческое развитие стихотворца.

...Ранняя, столь пренебрегаемая впоследствии автором лирика Георгия Иванова — нечто среднеарифметическое серебряного века нашей поэзии и даже шире — культуры. Изящная словесность, как и культура в целом, вдруг вздохнула свободно, высвобождаясь от провинциальности позитивистской эпохи, от социального и морального террора утилитарно-политической критики. Jugend-Stil — правда, лишь отчасти покрывавший разнородные тенденции новейшей культурной жизни, придавая ей, однако, единство, — породил свой сложный и эклектичный синтез. В его тигле с переменным успехом сплавлялись самые разноприродные элементы: православная тема и античные стилизации, горячий неопитский идеализм и демоническая имморальность, некрасовская народность и символизм, славянофильство и куртуазность, абсолютизация творчества и игра в него, — со зловещей подсветкой грядущей исторической катастрофы.

Младший в блестящей плеяде поэтов-современников, Иванов вот на такой насыщенной богатой закваске и создал свою весьма обаятельную поэзию. Гладкая гармоническая версификация была тогда делом столь же привычным, как позднее — разложение формы. Ранний лиризм Иванова, в сущности, ни к чему не обязывает, щемящее великолепие некоторых его строк («Я не любим никем! Пустая осень!»), как правило, опосредовано литературностью. Александр Блок, более укорененный в «комплексах» отечественной поэзии и традиционных отношениях российского литератора с «задачами» творчества, всматривался в такие тенденции настороженно (его замечания о «Венении» Мандельштама, критика акмеизма, негативный отзыв о том же Иванове).

В своем зрительном ряде эгофутуристическое мирикусничество Иванова, пожалуй, запаздывало лет на десять. Хотя и то правда, что аналог его ранним образам можно искать в книжной графике 10-х годов и в круге «Голубой розы». Сборники «Горница», «Вереск» — не забудем, однако, что они «плод мечты» совсем юного, двадцатилетнего автора, — суть перечень того, что витало в культурном обороте эпохи. Их виньеточность, визионерство все же очаровательны: «Вздыхает рослый арлекин. Задира получает вызов, / Спешат влюбленные в ладе — скользить в таинственную даль... / О, подражатели Ватто, переодетые в маркизов, — / Дворяне русские, — люблю ваш доморощенный Версаль».

В первую мировую войну, как и подобает впитывающей из воздуха губке, подобно Федору Сологубу, Иванов отдает дань патриотической барабанной поэзии, трагикомично смыкаясь с тогдашними обывателями: «О твердость, о мудрость пре-

красная / Родимой страны! / Какая уверенность ясная / В исходе войны!» Впервые за сто лет наша отборная интеллигенция оказалась солидарна с монархом и даже подтолкнула его под локоть — к общей бездне.

Даже революция, как ни поразительно, не разбудила Иванова от общеэстетической спячки — сколь же глубока была «летаргия», — хотя собственно качество лирики, ее внутренняя энергия в послереволюционную пору выросли весьма и весьма. Но согласитесь, что, при всей независимости творчества от злобы дня, странно в кровавом 1920-м — после всего, что произошло, — как ни в чем не бывало читать в «Садах», например, такое: «Прекрасная охотница Диана / Опять вступает на осенний путь, / И тускло светятся края колчана, / Рука и алебастровая грудь». Путь от стилизации к подлинности — узенький мосток над обвалом отечества и культуры. И в «Садах» помимо прежнего «сухостоя» много уже свежих побегов и есть тексты, чье лирическое напряжение актуализировалось с годами. Так, в стихотворении «Глядит печаль огромными глазами» строки

Малиновка моя, не улетай,
Зачем тебе Алжир, зачем Китай? —

вспомнились Арсению Тарковскому через четверть века, в 1945 году, в совершенно иной, новой войною опаленной реальности: «Пожалуйста, не улетай, / О госпожа моя, в Китай! / Не надо, не ищи Китая, / Из тени в свет перелетая. / Душа, зачем тебе Китай?»...

В 1922 году Георгий Иванов эмигрирует. И вся вторая половина 20-х годов — период молчания, период накопления музыки. Не только потому, что его лирический герой (столь, повторяю, всеядный, что даже до конца и не сфокусированный) оказывается в принципиально новых условиях — голым человеком на чужой земле, и надо было трижды подумать, прежде чем пытаться его задействовать. И дело тут не в чужбине: в эту же пору молчат и Мандельштам и Ахматова; «внутренний эмигрант» — верное определение: кем же как не внутренними эмигрантами были их привычные рафинированные лирические герои в совдепии 20-х годов? Советизм Пастернака выдохся гораздо позднее — соответственно позднее и видоизменилась его поэтика.

Сдается, что само мироощущение Иванова кардинально в эти годы менялось, переходя от игрового к реальному, что и потребовало немалого времени. У Иванова хватило выдержки не насиловать ситуацию, хватило терпения не пытаться вытянуть из небытия мертворожденные строки, но дожидаться нового дыхания, второго рождения... Его поэтический потенциал, к счастью, предполагал и такое. Ослепляющий болевой шок революции на чужбине преобразился в неизбывную скорбь, которая, в свою очередь, стала у Иванова постоянным поэтическим импульсом. Именно в ней — непрестанной скорби от гибели родины — обрел Иванов свое подлинное литературное право. «За столько лет такого маянья / По городам чужой земли / Есть от чего прийти в отчаянье, / И мы в отчаянье пришли».

То есть чего не удалось революции, сделала эмиграция — следствие до дурной бесконечности растянутой во времени исторической катастрофы: подобно властному посоху пробила она в суховатой бутафорской скале ивановского стихотворчества ключ поразительной силы, а часто — и чистоты, стала формообразующей категорией и плодотворным замесом его зрелого пронзительного лиризма.

В сборнике «Розы» (1930) обретен новый голос, захватывающий, подлинный и глубокий, а по силе непосредственного воздействия — сопоставимый с русским романсом; вот строки, над которыми разрыдался б, верно, Аполлон Григорьев:

Черная кровь из открытых жил,
И ангел, как птица, крылья сложил...

Это было на слабом, весеннем льду
В девятьсот двадцатом году.

Дай мне руку, иначе я упаду —
Так скользко на этом льду.

Иванов безоглядно отказывается от геройства или хотя бы бравлады: скорбь, слабость, лепет, «слеза», шемящесть мига — контрапункты его эмигрантской лирики

ки. Конкретное мастерство становится незаметным, скупость, а то и банальность словаря и средств выражения привносят в стихи такую непосредственность и обнаженность чувства, каких русская лира, быть может, еще не знала. (Не отсюда ли и инерционный скепсис многих «специалистов» в отношении ивановской музыки? Они просто не «ловят» на таких волнах и частотах.) Лепетное, два раза повторенное «льду», четкая временная отметина (весна «в девятьсот двадцатом году»), наконец, сама столь необычная для мужчины просьба поддержать на скользком — феноменально взаимодействуют с другими стихами «Роз», со вдруг страшными и причудливыми в своем столкновении образами: «Так черные ангелы медленно падали в мрак, / Так черною тенью Титаник клонился ко дну...» Это принципиально новая лирика, органично взаимодействующая с недавней, прежней, великой, той, что — тогда, по крайней мере, — была еще у всех на слуху, с блоковской, например; столь частый в сборнике эпитет «черный» в сочетании с ее названием и временем действия многих пьес — сумерками, закатом, — аллюзируют с блоковским: «Я послал тебе черную розу в бокале / Золотого, как небо, Аи». «Зачем вы занимаетесь ландшафтами и статуями? Это не дело поэта. Поэт должен помнить об одном — о любви и смерти...» — напутствовал однажды Блок Иванова. И в эмиграции Иванов последовал этому мудрому и простому совету.

В «Розах» и дежурный антиквариат, и ориентальные стилизации, и сами ядовитые декадентские миазмы петербургской жизни чудесным образом очеловечиваются, преобразуются в щемящие и дорогие сердцу реликты. Мощь лирической откровенности Иванова такова, что происходит подлинное глубинное обновление слова, образа, ритмики — всех составных лиризма. Практически исчезают повествование, сюжетные связки, вся поясняющая словесная каша — остается лишь перл возникшего образа, лирика в чистом виде. Лучшие ивановские стихи лишены всякой натуги, преднамеренности и охорашивания: проглатывается ком в горле, выдох — вот и «готово» стихотворение. Простота — ступок преодоленной сложности.

..Было время, когда Иванов если не старательно, то чутко внимал не только Кузмину, но и Мандельштаму, его порядку и темам; теперь, в 30-е годы, их поэтика все контрастней разнится. Мандельштам усложняет свои лирические регистры, все прилежней берет уроки у Хлебникова, его ассоциативные ряды и метафоры диктуются уже не только смысловыми, но и фонетическими надобностями, а непосредственность органично спаяна с изощренной лингвистикой. Неисчерпаемо полифонична, точней, противоречива и его культурно-социальная философия. «Чепчик счастья — Шекспира отец...» — чтобы написать такое, автору «Камня» надо было проделать в поэтике очень немалый путь, причем прерывный. Не коротче поэтическая дорога и у автора куртуазного «Вереска» к таким вот поздним строкам:

Я верю не в непобедимость зла,
А только в неизбежность поражения.

Не в музыку, что жизнь мою сожгла,
А в пепел, что остался от сожженья.

Едкость в сочетании с пронзительным сентиментом — специфическая интонационная ось зрелой лирики Иванова; в массиве русской поэзии эти ингредиенты обычно существовали порознь:

Расстреливают палачи
Невинных в мировой ночи —
Не обращай вниманья!
Гляди в холодное ничто,
В сияньи постигая то,
Что выше пониманья.

...Мало кто из мемуаристов отзывается об Иванове хорошо, переизбыток желчности есть во всем, написанном Ивановым вне поэзии. В стихи же ушло, и ушло до конца и щедро, все лучшее, что в нем было. Многие из них написаны как бы напрямую — всеми нервными окончаниями, словно в компенсацию за дефицит сердечной энергии в стихах дореволюционных.

Необычное интонационное сочетание у Иванова язвительности с беззащитностью новаторски подкрепляется примирением и еще одного традиционного, казалось бы, противоречия. Видимо, никто у нас столько, сколько Иванов, не писал

о весне. Русские стихотворцы, как правило, были согласны с Пушкиным: «Весна, весна, пора любви, / Как тяжело мне твое явление» — и т. д. Весна, что называется, по определению — пошловата из-за заложенного в ней, ложного, в общем-то, оптимизма. Только Иванов «пошлости» не боится, именно весна, в отличие от привычной осени, — поэтическое «время» поэта. Но весенняя радость напрочь снимается у него повсеместным мотивом смерти. Смерть и весна странным образом не исключают друг друга, а находятся у Иванова в каком-то патологиче- ском единстве, перенасыщенном к тому же густым ароматом роз, которые в его поэзии — в преизбытке. Роза — постоянная подпитка, импульс его стиховой энер- гии. Выше упомянуто блоковское золотое и черное в сборнике Иванова «Розы». Но чем дальше, тем больше у него розового и голубого, даже слащавого. Красота оглуляется до красоты, красавица дорасает до красоты. Читать Иванова сле- дует понемногу — чтобы не стало приторно. И это тоже у Иванова «родовое». Так, его лирический герой явно перебирает шампанского — pendant Игорю Северяни- ну. После того как где-то в середине прошлого века освободительное движение за- блокировало красоту как таковую и посадило нашу культуру на строгую идеологи- ческую диету, поэзия предреволюционных десятилетий стала даже злоупотреблять красотой, путая ее с гедонизмом, ей захотелось роз, шампанского, ананасов, и все это — в сочетании с... трансцендентным. «Жажда красоты, — писал об «эпохах культурного расцвета, находящихся под приматом не этики, а эстетики» С. Булга- ков, — слишком легко удовлетворяется здесь суррогатом, и развивается притупля- ющее эстетическое мещанство, эстетизм быта, принимаемый за „жизнь в красо- те“».

Вера «в неизбежность поражения» и «в пепел, что остался от сожжения», по- тютчевски серьезна и драматична, но на таком «символе веры» долго, естественно, не продержишься. Миру Иванова свойствен определенный перманентный распад, его духовность двусмысленна. После взлета 30-х годов верхнее «до» поэта стало по- рой срываться в «метафизическую» безвкусицу: «И неслось светозарное пение / Над плескавшей в тумане рекой, / Обещая в блаженном успении / Отвратитель- ный вечный покой». Ибо уязвленность уязвленностью, но «Хорошо, что нет Рос- сии. / Хорошо, что Бога нет» может быть произнесено только однажды, без ва- риаций.

«Какой у Иванова тон неприятный, — записывает после очередной встречи с ним Зинаида Гиппиус 26 ноября 1939 года. — Деморализующий». Деморализую- щий элемент есть и в ивановском творчестве, и это, при всей силе, делает его все- таки явлением маргинальным в русской литературе.

Впрочем, искушенный в «декадентской отраве» Иванов в конце 40-х годов признает также и правоту передвижника: «Он был прав. Мы с тобою не правы» (стихотворение «Летний вечер прозрачный и грузный»). Стихи о Соловецком концлагере и блестящий памфлет на смерть Сталина делают поэзию Иванова еще спектральной.

Мнится, что в замечательной миниатюре 40-х годов о рыцаре, павшем под иерусалимскими стенами, сублимировались все комплексы лирического героя Иванова, тут само средоточие ивановской лирики:

Упал крестоносец среди копий и дыма,
Упал, не увидев Иерусалима.

У сердца прижата стальная перчатка,
И на ухо шепчет ему лихорадка:

Зароют, зароют в глубокую яму,
Забудешь, забудешь Прекрасную Даму,

Забудешь все Божье и все человеческое...
И львиное сердце дрожит как овечье.

Классический образ «рыцаря печального образа», восходящий у нас к Пушки- ну и Жуковскому, претерпевает тут жуткое изменение: религиозной буколке у Иванова уже не находится места. Отсутствие в его мироощущении положитель- ного органического начала ядовито, но сила подлинной поэзии такова, что и этот яд. может стать, целобен.

Да, не таким ли «не увидевшим Иерусалима» рыцарем был и сам поэт? Тлевторное время и его накрыло своим крылом. «Хорошо, что никого, / Хорошо, что ничего», — язвительно писал он, и уповал, и кощунствовал, но и его трепетавшее «по-овечьи» сердце жертвенно заклано на грозном алтаре XX века.

...Писать об Иванове одновременно и тяжело и просто именно потому, что его поэзия — непаханая целина. Недаром в семистраничной преамбуле Луи Аллена к «„Садам” и „Розам”» сомнительный в определительном отношении эпитет «какой-то» употреблен девять раз — творчество Г. Иванова осмысляется буквально на ощупь!

В год столетия со дня рождения поэта надобно констатировать, что освоение его лирики еще впереди.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.



ПРОЩАНИЕ И ВСТРЕЧА

Нелли Закс. Звездное затмение. Сборник стихов. Перевод с немецкого Владимира Микушевича.
Издательство «Ной». «Физкультура и спорт». 1993. 173 стр.

Все провиденциальные сюжеты имеют свою домашнюю, будничную драматургию. Татьяна Владимировна Маркова однажды, проходя мимо дорогого нам Пушкина, обнаружила у его ног совершенно замерзшего человека в тулупе и ушанке. Это был неизвестный ей Вардван Варжапетян — он продавал свою книгу исторических романов. Заглянув в эту книгу из чистой любознательности, Татьяна Владимировна сразу кое-что поняла и тотчас же открылась незнакомцу.

Ровно через сутки на том же месте, на Пушкинской площади, рукопись переводов Нелли Закс, сделанных Владимиром Микушевичем, мужем Татьяны Владимировны, более 25 лет назад, была передана ею будущему издателю Варжапетяну. Только благодаря этому не заметному ни в каких масштабах событию русский читатель получил книгу Нелли Закс, Нобелевского лауреата за 1966 год, давно уже переведенную на многие языки мира.

Кусок ночи
Разглаженный руками...

Тот кусок ночи, который ей достался, она разгладила своими руками, слезами, поцелуями, вопрошаниями...

Тьма рождения, тьма смерти, потерянные концы и начала, жесткая перестрелка причин и следствий, клетка времени, узкая, острая полоска между нельзя и можно, между 35° и 37°, — шаг вправо, шаг влево — лед, пламень, смерть: жуткое земное царство. Сначала убивают младенца — теленка, сдирают с него кожу, еще, может быть, теплую от ласки материнского языка, а потом эту кожу сдирают еще раз — с ног любимого: перед тем как его убить. Музейные горы обуви, горы волос, ветошь... Смерть косит всех: всех существ, все вещи, все отношения — исчезающая Вселенная, но люди хитроумно помогают смерти, изобретают способы убийства других людей, возводят печи, бросают туда детей, женщин, мужчин...

Есть образы, резко просвечивающие сквозь плоть и дух самой жизни, самой человеческой истории. Когда посредине XX века в сердце просвещенной Европы запылали печи, в которых днем и ночью сжигали евреев, дым и пепел видело и ощущало множество свидетелей. Они торопились по своим конторам, к своим детям, они играли на воздухе в карты, некоторые шли в церковь, стояли на коленях перед алтарем, некоторые плакали о муках Спасителя. Они вдыхали запах гари, копоть — частички человеческого пепла застревали в розовых тканях их легких. Они дышали смертью, а думали, что это касается совсем не их.

...Если бы не случилось того, что случилось, Нелли Закс наверняка бы осталась одним из тех безвестных миру, одиноких духоплавателей, чье глубокое присутствие в общем человеческом бытии зримо и ведомо одному только Господу Богу. Но случилось то, что случилось. Небо рухнуло — и все было погребено: ев-

ропейский гуманизм, родные и близкие, довоенная, догитлеровская Германия. Откровение безмерной гибели человека объяло все и снесло все: будущее, настоящее, прошедшее, буржуазную идиллию начала жизни на вилле отца, берлинского фабриканта, детство — с розами и ручной домашней ланью в обнимку, лучшую в мире музыку на кончиках пальцев, танцы среди паркетов и люстр, окно в сад, сказки, книги...

Детство все же вернулось к ней — фея и принц спасли ее от неминуемой гибели. Благословенная Сельма Лагерлёф при содействии шведской королевской семьи — в мае 1940 года вырвала ее из самого пекла: из Германии Нелли Закс и ее престарелая мать бежали в Швецию. Там, на чужбине, в Стокгольме, прожила она до 1970 года — до дня своей смерти.

Судьба Нелли Закс, человека и художника, действительно овеяна страшной сказочностью, ни на что не похожа — подлинность всегда обескураживает.

Воспитанная, как принято, на мировой культуре, Нелли Закс как бы и не считала себя еврейкой. Она читала Бхагаватгиту, тянулась к древним источникам мудрости — эти тонкие духовные узнавания себя в зеркале разных мистических учений стали с юности ее внутренней жизнью, но там, в жизни ее души, не было места для тайн и судеб народа, к которому ей выпало принадлежать. История, откровения и, наконец, сама раскаленная загадка Израиля, давшего миру пророков, Библию, Иисуса Христа, и все неисчислимые последствия этого отдавания были для нее как бы недействительны.

Дым из печных труб, сооруженных в центре гуманистической цивилизации, огонь, разведенный людьми, чтобы сжечь тело целого народа, заставили ее как бы очнуться. Все печати с ее глубоко библейской души оказались сорванными — душа, сплошная рана, отверзлась.

«Страшные переживания, которые привели меня как человека на край смерти и сумасшествия, выучили меня писать. Если бы я не умела писать, я бы не выжила», — так объясняла Нелли Закс свое позднее посвящение в поэзию, опровергая тем самым все, что нам как бы уже известно о нас самих и о мире, в котором мы живем. На шестом десятке лет Нелли Закс становится — как будто это возможно! — поэтом.

После войны стали выходить ее первые стихотворные книги: «В жилищах смерти» (1947), «Звездное затмение» (1949), «И никто не знает как дальше» (1957), «Побег и преображение» (1959), «Смерть еще празднует жизнь» (1961). В 1962-м выходит сборник ее пьес «Знаки на песке», а потом — «Эли, или Мистерия страданий Израиля». Как говорящи эти названия!

Подозреваю, что Нелли Закс так и не стала литератором в привычном смысле этого слова и слава, мировое признание ничего не изменили в существе ее жизни; более того — вряд ли она смогла бы повторить вслед за Пушкиным его таинственную максиму — для звуков жизни не щадить. Смеею, напротив, предположить, что все волшебные звуки своей лиры, свою славу, которая пришла к ней в самом конце жизни в обличье всего лишь славы, а не глубокого отклика¹, свою Нобелевскую премию она отдала бы за шелковый локон незнакомого ребенка — спасенного, а не оплаканного в стихах, за полноту мгновения с любимым — живым, а не потерянным навеки, не стигнувшим в том аду, в той страшной мертвой точке, на которую загляделась ее душа.

Всю оставшуюся жизнь она писала, в сущности, об одном, задавала один и тот же вопрос — трудно даже сказать, найдется ли в совсем не бедной поэзии XX века, найдется ли опыт, соразмерный тому масштабу, который так естественно, можно даже сказать — буднично, открылся ее экзистенциальному чувству.

То, что у Тютчева еще только подступало к смятенной, ночной человеческой душе, а мандельштамовская измороженная Психея, сорвавшаяся, быть может, в те же самые экзистенциальные бездны, успела только зачерпнуть, — стало дневным, насущным воздухом ее поэзии.

«Нет еще любви между планетами, — говорится в одном стихотворении Нелли Закс, — но тайное согласие трепещет уже...» О чем это? О том, что звезда говорит с звездой?

¹ См. у Сергея Аверинцева «Писать стихи после Освенцима» — предисловие к книге, о которой здесь идет речь.

Есть, наверное, место во вселенной, где звезды поэтов действительно говорят друг с другом. Там невозможно — возможно. Там — тайная встреча всех родных. Тайная — для невидящих. В стихах Нелли Закс есть поразительные, необъяснимые в литературоведческой плоскости, почти дословные (на разных языках!) совпадения: Владимир Соловьев, Тютчев, Мандельштам...

Нелли Закс родилась в том же «девяносто одном ненадежном году», что и Осип Мандельштам². И это обстоятельство есть некий шифр одной почти невыразимой темы. Последние стихи Мандельштама, такие не похожие на Мандельштама, и, по существу, первые стихи Нелли Закс, сделавшие ее тем, что она есть, написаны почти в одно время — с разницей в 7 — 10 лет, — разделены языком, пространством, судьбой и самим свойством дарований, и их неожиданные совпадения — даже в буквальном видении того, что невозможно увидеть телесными глазами, — есть какая-то глубокая правда о едином океане бытия и о едином океане поэзии.

У Нелли Закс даже числа — каленым железом выжженные на человеческих руках — вырываются, уносятся из этого мира смерти. Когда изувеченная, измученная, клейменная плоть сгорела, на зов пространств устремляются метеоры чисел — туда,

где световые годы, как стрелы...

«Свет размолотых в луч скоростей» в «Стихах о неизвестном солдате», рожденных Мандельштамом из тех же «магических веществ боли», — тайная встреча двух муз: прощающейся с этим миром и только вступающей на его узкие стези, — их печальный салют друг другу...

Но как это может быть? Что делать поэзии там, где ее просто нет — по самой природе вещей? Вот граница, обрыв, перед которым слово, не рискующее впасть в кощунство, заведомо немеет:

«И по улицам кровь детей текла просто как кровь детей». Это не Нелли Закс, это Пабло Неруда, чья поэзия, скорее внешняя, громкая и даже декоративная, здесь, в стихах, где речь идет о бомбардировке Мадрида, очень точно указывает на эту границу.

И по улицам кровь детей текла просто как кровь детей.

Что и как можно сказать еще?

У Нелли Закс мертвое дитя — говорит... Говорит весь потерянный, заблудившийся Космос, отведавший черного яблока познания — все еще грызущий, догрызающий его.

В этом Космосе Нелли Закс действительно не забыт никто: даже рыба жабра, вырванная с кровью, помещена этой поэзией в созвездие мученичества:

Сколько смертной заброшенности
В жемчужных глазах рыб...

И если бы... Если бы — ухо людское, ты, заросшее крапивой, — если бы оно этот мощный бессловесный язык вслед за этой поэзией все-таки слышало!

Мертвое дитя говорит:
Мать меня держала за руку.
Тут поднял кто-то нож прощания...

Каждое стихотворение Нелли Закс — залп образов, облеченных в форму свободного стиха, где слово — беззащитно, первозданно, ничем не поддержано, — здесь нет гипноза музыки, оно лишено кожи, оно один на один с миром, оно — с ним на «Ты». Я и Ты — единственно возможный язык любви.

Ее поэзия, оставаясь поэзией, сошла в ад. Тот, в котором никогда не бывали ни Данте, ни Орфей... И она вышла из ада — оставаясь в нем, в сущности, всегда. «Мои метафоры, — писала Нелли Закс, — это мои раны. Лишь отсюда может быть понято написанное мной...»

² Тонкое замечание об этом см. в послесловии к книге, написанном ее переводчиком — Владимиром Микушевичем.

Мертвое дитя говорит
И пополам перерезал нож прощания
Кусок у меня в горле.

Стоя перед этим обрывом, у невидимой черты, за которой простираются прозрачные, глубокие и таинственные ландшафты и дали этой поэзии, видишь и чувствуешь то, что непереводаемо ни на какой язык: и метафизика, и философия, и богословие, и, уж конечно, плоская житейская обстоятельность здесь бессильны.

И тогда оказывается, что нож прощания, — слова, невозможные ни в чьих устах, — о котором твердит это убитое мертвое дитя (не его ли заносила рука Авраама над сыном единственным, любимым?), острый нож прощания, так больно, так страшно, так насильно отсекающий чудесную пуповину дитяти от этого мира, — не ужаснее, может быть, чем наши голоса... Слова утешителей, сочинителей теодицей, друзей Иова. И голос утешителя, — говорит мертвое дитя, — коллол меня в сердце... Поэзия Нелли Закс — безутешна: она видит и на небесной коже незаживающие стигматы...

Звездное затмение — это заблудившийся потерянный мир, мир страдающих и страждущих звездных существ... Что такое — эти рыбы, камни, лани, деревья, даже тени — тени жертв и палачей, даже стены домов, даже вещи, даже скалы, даже числа, выжженные на руке?..

Звезды Нелли Закс — не астрономические и не метафизические, это блуждающие звезды — волшебные, но помраченные искры жизни, — слепо штурмующие самый, может быть, окольный путь мироздания — путь свободы во зле. Это мир затмившегося духа, мир страдания, апофеозом которого становится избранничество Израиля, на глазах у всего мира проходящего через мученическую смерть.

Мученическая смерть при молчаливом согласии «созерцателей», «коренных жителей», мученическая смерть, сотворенная руками таких же смертных, которые завтра станут прахом, есть поистине ночь рода людского, может быть, его последняя ночь — последний, может быть, знак, последний жуткий иероглиф, последняя буква Священного алфавита, начертанная дымом из печных труб здесь, в четырех стенах нашего заблудившегося дома.

Но Нелли Закс поворачивает этот знак и в другую сторону — подобно Иову, она безмерно возвышает свой голос, она говорит — очень твердо:

Стражник, стражник,
Господу скажи:
Выстрадаю все...

Но самый потерянный, самый беспомощный вопрос — почему?

Почему черный ответ ненависти
На бытие твое, Израиль?

Слово «ненависть» на языке Священного Писания имеет тот же корень, что и слово «Синай». Знала ли об этом Нелли Закс, писавшая по-немецки?.. Взойдя на Синай, Израиль взошел одновременно и на гору ненависти. Вместе с ношей божественных установлений, вместе с Книгой для всего человечества, с десятью заповедями — Израиль принял на себя благословение и проклятие. Высота Синая, высота Божественного вызова человеку и человечеству — и адская бездна противления Божественному замыслу, ответ звериного царства, скрытого под одеждами цивилизации. (В прямых высказываниях Гитлера и его идеологов социального дарвинизма это явлено очень просто и доступно. Взять хотя бы их сожаление о том, что евреи нанесли на тело мира незаживающую рану: не будучи способными выжить в здоровой конкурентной игре витальных сил, они придумали — нравственность.)

Меж чудесами и чудовищами — долгий и страшный путь Израиля в мире. Кто из вас, — спрашивает Нелли Закс, — хочет воевать против тайны?

Мистерия Израиля — в горизонтале истории: показательная мистерия его изгнания и возвращения, мученического прохождения через смерть, бремя заповедей, будущая развязка этого единственного в своем роде исторического действия есть нечто, имеющее отношение к судьбе каждого. Ведь все здесь таинственно повторяет метафизический, вертикальный сюжет человека и человечества: и потерянный рай, и изгнание, и чаянье возвращения, и смерть, и воскресение...

Религиозна ли поэзия Нелли Закс? У слова, не защищенного никакой предвзятостью, кроме предвзятости боли, раны, любви, как бы сорвавшего с себя последнюю кожу, — свои, частные, отношения с миром. Образы, открывающиеся глубокому экзистенциальному художественному чувству, свободны от каких бы то ни было корпоративных обязательств — пусть даже это и обязательства веры. Они никому не навязывают себя. В них нет неизбежности для всех...

Ибо от образа к новому образу
ангел в человеке плачет...

Перегородки, отделяющие друг от друга человеческие религии, неразличимы сквозь эти слезы. Зато видна сень Гефсиманского сада, скрывающая, заслоняющая собою Иова... Израиль и Христос не разведены по разным человеческим ведомствам. Иов — Израиль — Христос — единый крик. «Смертельное одиночество Израиля», дымом написанное на лбу неба, и «самый одинокий час» в загадочной мгле Гефсиманского сада в ангелическом зрении этой поэзии — единая жертва...

Поэзия умеет преодолевать то, на что, в сущности, обречено наше земное сознание, — она по самой своей природе не догматична. Истина глазами поэзии — не камень, а тончайший эфир...

Агада рассказывает о рабби Ханине, осужденном за чтение Торы на сожжение. Это было во времена императора Адриана. Тело рабби обернули свитком Торы, обложили вязанками хвороста и подожгли... «Что ты видишь, рабби?» — спросили ученики. Рабби ответил: «Пергамент сгорает, буквы уже улетают ввысь».

Поэзия Нелли Закс тоже увидела эти буквы, вылетающие уже из мирового костра, в котором на этот раз сгорает целый народ:

Это Священное Писание
спасающееся бегством
карабкающееся на небо
всеми своими буквами
оперенное блаженство
прячущееся в медовые соты

Книга Нелли Закс выпущена в количестве 999 экземпляров Вардваном Варжапетяном, владельцем издательства «Ной» — на подаренные, пожертвованные деньги. Владимир Микушевич, русский религиозный философ, еще четверть века назад давший этой поэзии русский голос, почти без надежды на публикацию, бережно сохранил обаяние ее женственности — придав ей что-то и от своего личного художественного темперамента. Мужественное слово «духоплаватели» как поэтический эквивалент более мягкого немецкого «die Seelenfahrer» счастливо принадлежит ему.

Марина БОРЩЕВСКАЯ.

*

«И ЗАМЫСЕЛ МОЙ ДИК — ИГРАТЬ НОКТЮРН НА ПИОНЕРСКОМ ГОРНЕ!»

Тимур Кибиров. Календарь. Владикавказ. «ИР». 1991. 138 стр.
Тимур Кибиров. Стихи о любви. М. «Цикады». 1993. 118 стр.

Альбомно большая и яркая, как бы несколько варварская книга Тимура Кибирова переживает болезненный период выхода в свет. «Презентации», улыбочивые почитатели, любопытствующие новички, озадаченно листающие этот внушительный и многокрасочный «альбом».

«Те, кто не любит читать стихи, могут просто посмотреть. Книга, на мой взгляд, очень интересно оформлена», — почти смущенно говорит автор.

И впрямь. Едва ли не впервые пространство поэтической книги имеет свою «сценографию», свою художественную партитуру.

Почему-то трудно отделаться от ощущения яркого дебюта. Однако в 1991 году во Владикавказе вышла совсем неприметная — в сравнении с нынешней — книж-

ка Тимура Кибирова. Она называлась «Календарь», и, видимо, далеко не все сегодняшние его читатели догадываются, в какой степени суперальбом «Стихи о любви» связан с этой небольшой книжкой. Он из нее физически произрастает и незбылемо стоит на сказанном еще тогда, в 80-е годы.

Уже тогда собиралось и конденсировалось, уже светилось слезами то, что станет — не темой, нет, — неисчерпаемым источником кибировского голоса: желание силой любви и памяти сберечь неизбежно уходящее. И голос этот будет звучать тем сильнее, чем сознательнее автор будет отвергать и отторгать саму возможность «предать» — предать забвению.

Я прошу — пусть герани еще поцветут на окошках,
 пусть поварят варенье в тазу в окружении ос,
 пусть дерутся в пивной,
 пусть целуются в парке взасос,
 пусть еще поблудят, пусть еще постоят за горошком —

чтоб салат оливье удался к юбилею отца,
 чтоб пленки, подгузники и ползунки трепетали
 на веревке средь августа, чтоб «За отвагу» медалью
 погордился пьянчужка
 и чтобы не видеть конца

даже мне — мне, который чужой, но который сродни
 тем не менее всем,
 не предатель совсем — а Кассандра!
 Я прошу, задержи, справедливое, гневное Завтра,
 придержи наступление,
 как тетиву отягни.

Это стихотворение датировано 1984 годом и, не представляясь совершенным, представляется очень важным для всего последующего.

«Инвентаризацией» назвал критик страстный порыв слепнувшего человека рисовать по памяти уходящий мир, глухнувшего — записывать любимые мелодии посредством загадочных буквенных знаков, взрослеющего — удержать словами исчезающую память детского тела. Даже собственное детское тело покидает нас — что же говорить о том бесконечном чувстве утраты и прощания, которым пронизано все — и эти стихи.

В общем-то, нам ничего и не надо —
 только бы, Господи, запечатлеть...

Может быть, и можно назвать «инвентаризацией» это отчаянное противостояние небытию и беспамятству, но странный, право, из Кибирова завхоз. Его реестры и впрямь поразительны. Слушая-читая их, порой невольно ощущаешь себя на сеансе лечения от амнезии и невольно понимаешь, что «свежеглаженным галстуком алым, звонким штандыром на пустыре, и вокзалом, и актовым залом, и сиренью у нас на дворе...» и многим, бесконечно многим, дорогим и невозвратимым, пахнут слезы прощания.

Но оставим сантименты. Самое время перейти к физиологии, ибо, если верить Кибирову, где-то именно в соединении ее с сантиментом и притаилась вечно искомая русской литературой правда жизни. Если не истинный смысл, то, во всяком случае, истинное чувство. Цитировать бессмысленно — более тысячи строк «Элеоноры», «Сортиров» и «Романсов Черемушкинского района» придают теме эпический размах. Все это призвано поистине воплотить все стадии взросления, созревания и мужания здорового (нам повезло) организма.

Автор, без сомнения, испытывает удовольствие от той свободы, которую он обнаруживает в жанре физиологического очерка в стихах.

Нет, он не хочет никого шокировать, он просто получает удовольствие. Пролонгированное наслаждение собственным рассказом. Рифмованным, обогащенным деталями службы и быта, подсолненным и поджаренным (жаргонизированным) рассказом, ни на минуту не теряющим ритма заданной и конкретной эротической фантазии. Ни «Зоология», ни Марк Аврелий не убедят его в сугубой прозе, лежащей в основе любовных песнопений.

Марк Аврелий, ты что, Марк Аврелий?
 Сам ты слизистый, бедный дурак!

Автор наслаждается. Но нам-то что делать? Он гостеприимно распахивает перед нами двери сортиров в тот момент, когда там занято, в полной уверенности, что мы не потеряли детского интереса к тому, что там происходит. Да впрочем, вряд ли он о нас вообще вспоминает, до нас ли тут, во тьме и радости нарушенных запретов?

Остановимся. И не потому, что можно вспомнить о традиции «исповедальности», и о натурализме, и о предшественниках, благоразумно поименованных в финале, и прочих, неназванных. («И тема не нова — у Марциала / смотри, Аристофана и еще, / наверно, у Менандра. И навалом / у Свифта, у Рабле... Кого еще припомнить?..»)

Припоминать можно очень долго.

Венчание белой розы с черной жабой — одно из побочных следствий сильного поэтического темперамента. Другое дело, что подобное венчание — дело бесполезное и, самое главное, — неестественное. Если столь остро стоит вопрос о физической связи прекрасного и безобразного, то важно понять, чем отличается превращение гусеницы в бабочку от венчания жабы с розой. Кибирову знакомо и то и другое, в упоении своем различий он не предполагает. Юмор и здоровье спасают и хранят книгу, и то не настолько, чтобы у некоторых достойных читателей не складывалось ощущение слишком «бурного потока» и фонтана жизнедеятельности. Изобильность настораживает вдумчивых книжников. В лучшем случае они начинают искать и видеть во всем этом «языковую трагедию русской культуры, одновременную неизбежность и невозможность исполнения дарования как поручения». При всем уважении к Александру Архангельскому, вряд ли можно назвать это сквозной темой кибировской поэзии.

Его парафразы, ритмическое и синтаксическое цитирование, цитатные «концентраты» и «общие места» — свидетельства хорошего языкового слуха, неперменный признак словесного дара. И, бесспорно, почерк времени. Я не любитель рассуждать о постмодернизме, но стоит ли называть сквозной темой чьей-то поэзии достаточно общий синдром?

«В общем-то, нам ничего и не надо», — рефреном звучат слова. «Вот она, жизнь. Так зачем же, зачем же?..» «Как нам привыкнуть к родимой земле?..»

Ничего, привыкаем. И в стихах, взятых во вторую книгу из первой, маленькая правка — вместо «локонов чудной Мальвины» — «но уже от соседской Марины». Наивный штрих. Литература в поисках реальности. Еще одно слово нельзя обойти, говоря о поэзии Кибирова. Это слово «отчаяние». Оно и слышится, и пишется, и чуть ли не осознается как норма бытия («И приду я в себя и в отчаяние...»). Оно пронзительно вплетается в звуки «ноктюрна», который сыгран, сыгран-таки «на пионерском горне». Но на самом деле последней стадией отчаяния в любом кибировском стихотворении является нечто другое.

Вот она, вот, никуда тут не деться.
Будешь, как миленький, это любить!
Будешь, как проклятый, в это глядеться,
будешь стараться согреть и согреться,
луч этот бедный поймать, сохранить!..

Отчаянье может «развязать язык», но голос дать оно не может. Голос дает любовь. О чем и свидетельствует эта книга, за что и благодарен автору неспешный, не лишенный юмора и сердца читатель.

Если все-таки мысленно перелистать ее, уже прочитанную, то сквозную тему можно увидеть без труда. Она так элементарна, что сначала кажется странным о ней говорить. Это жизнеописание. Автопортрет на фоне родной страны последней трети двадцатого века. Детство, отрочество, юность, служба в армии... Но почему именно это привлекает и держит внимание более властно, чем, например, тонко инструментованные стихи Гандлевского или эксперименты «хитроумного» Рубинштейна и многое другое словесно интересное? В чем дело? «Дело в том, — говорит М. Л. Гаспаров, с которым невозможно не согласиться, — что только в доромантическую эпоху, чтобы быть поэтом, достаточно было писать хорошие стихи. Начиная с романтизма — а особенно в нашем веке — «быть поэтом» стало особой заботой, и старания писателей создавать свой собственный образ достигли ювелирной изощренности. В XIX веке искуснее всего это делал Лермонтов, а в XX веке еще искуснее — Анна Ахматова».

Тимур Кибиров создает образ. Он поэт-собеседник. Человеко-поэт, не только живущий, но выживающий в наше время. Мы доверяем ему по принципу родства и соседства. Книга — этот «дембельский альбом» — помогает нам убедиться в его реальности. Фотографии — младенческие, армейские, домашние, в кругу друзей, все в жанре непарадных портретов. Людей, к которым обращены непринужденные послания, мы видим воочию. Незабываемые приметы времени волею художника Игоря Гуровича и других создателей книги помогают составить образ поэта Тимура Кибирова. Наше доверие к документальности — тоже из техники создания образа.

Пусть так, но как бы то ни было — мы доверяем друг другу. Мы, современники, волею судеб свидетели конца великой прекрасной эпохи — без кавычек, ибо достаточно того, что мы свидетели ее конца.

Любой техники было бы мало для того, чтобы нам, детям этой эпохи, поверить друг другу. Нужно что-то другое, может быть, очень простое, чтобы не повторяться, ссылка: см. название книги Тимура Кибирова. М., Изд-во «Цикады», 1993.

Марина КУЛАКОВА.

Нижний Новгород.



ЖИЗНИ ПЕЧНАЯ ТЯГА

Михаил Айзенберг. Указатель имен. Стихи. М. «Гендальф». 1993. 159 стр.

У сорокашестилетнего поэта Михаила Айзенберга вышла первая книга. Но если сегодня у кого-то выходит первая книжка, это еще не значит, что мы имеем дело с новым литературным именем. М. Айзенберг вот уже почти четверть века глубоко и плодотворно занимается поэзией — как практик и как теоретик, за его плечами большой литературный путь. Книга М. Айзенберга как литературный факт состоялась давно. По сути, перед нами — избранное зрелого поэта, причем очень избранное, можно сказать, отборное. Но для того чтобы почувствовать все заложенные в поэзии М. Айзенберга смыслы, понять его эстетику, надо, конечно, иметь хоть какое-то представление о том культурном пространстве, в котором поэт себя ощущает.

М. Айзенберг много писал о своем понимании современной художественной проблематики в статьях, публиковавшихся в качестве предисловий к коллективным поэтическим сборникам «Личное дело» и «Понедельник», а также в журналах «Театр», «Театральная жизнь», «Московский наблюдатель» (все журналы — театральные, ни один литературный журнал пока не заинтересовался предлагаемым М. Айзенбергом-критиком подходом к истории послевоенной поэзии. Почему — отдельная тема).

«...Ощущение жизненного разрыва, уникальности жизненных условий плохо приживается в поэтической практике, — пишет М. Айзенберг в своей новой, пока еще не опубликованной статье «Возможность высказывания». — Она почему-то считает себя законной наследницей всех имеющихся в наличии художественных средств. Очень немногие литераторы чувствуют, что средства перешли к ним по ложному завещанию, что мы владеем ими фиктивно, умозрительно, а по существу они находятся в той же области желаемого, что и художественная цель. Это ощущение изначальной незаконности своего литературного существования не является, конечно, искомым определителем подлинности, но каким-то разделителем все же является. Оно хотя бы делит авторов на две количественно неравных группы». Разумеется, поэт М. Айзенберг принадлежит как раз к тем литераторам, которые «чувствуют, что средства перешли к ним по ложному завещанию». И чувствует он это очень остро, не менее остро, чем концептуалисты, которые вообще отказались от права на прямое лирическое высказывание. М. Айзенберг за это право борется.

Эстетическая позиция М. Айзенберга — позиция, по сути, минималистская, родственная концептуализму и особенно таким поэтам-минималистам (ставшим заодно и одними из основоположников отечественного концептуализма), как Вс. Некрасов и Ян Сатуновский. Не случайно в цитированной выше статье

М. Айзенберг выделяет творчество именно этих двух поэтов. Для него они — безусловно, узловые авторы, во многом определившие современное состояние поэтического языка. Минимализм М. Айзенберга, однако, общезстетический; стилистически, как у Вс. Некрасова и Яна Сатуновского, он не проявляется (поэтому М. Айзенберга собственно поэтом-минималистом назвать нельзя).

«Старыми словами ничего нельзя сказать», — фиксирует М. Айзенберг в той же статье ситуацию, в которой он оказался как поэт. И он пытается сформировать высказывание как бы помимо слов, не-словами.

Вот последнее: каждый порез на счету.
И обуженный воздух идет в высоту,
каждой тенью тебя повторяет.

Вот кора в узелках, и стена проросла.
Потревоженной молью ныряет зола,
и не скажешь, как память ныряет.

Тем и жить, наконец, просчитав на шаги
все, что возле и вровень послушной рутине.

Я привязанный камень. Все уже круги.
Так прижмись к середине, прижмись к середине.

(1975)

Стих работает на интонации и ключевых словах. Каждый образ возникает сам по себе, подчеркнута немотивированно: сначала появляется «кора» и только потом проросшая «стена», «зола» отделяется от «памяти», превращается в «потревоженную моль», и это тоже излагается в обратной последовательности. Перед нами — осколки несуществующей образной системы, объединяемые одной только волей к высказыванию, но воля эта очень и очень сильна — и стихотворение живет.

Такое впечатление, что М. Айзенбергу действительно удается обходиться без слов. Его слова — не культурные и не советские, они — бесплотные, это тени слов:

Вижу, как перетрясти
слово до простого взмаха,
как речной озноб снести
выпрямляющего страха

Вечер, холод и озноб.
Тишины растущий ропот.
И опережает опыт
сердца тонуший галоп.

(1977)

Внешне совершенно мандельштамовское восьмистишие: «простой взмах», «выпрямляющий страх», «холод и озноб», «растущий ропот», «опыт» — только слова как-то странно переставлены, неуловимо смещены. В результате — невесомость, эфирное мерцание испаряющейся словесной плоти. Но апелляция к Мандельштаму бесспорна, и делается это совершенно сознательно.

Мандельштам — главная языковая опора (и главная проблема) М. Айзенберга. Что это за неведомый язык, из которого возникают часто очень прихотливые, бесплотно-невесомые словесные конструкции М. Айзенберга? То самое мандельштамовское «бормотание», внутренняя речь, броуновское движение слов, ускоренное поэтической интуицией до возникновения «дуговой растяжки», когда «косноязычие» становится «высоким». М. Айзенберг, правда, к «высокому» не стремится. Язык, с которым он имеет дело, лишен таких потенций. «Паруса» Мандельштама, «открытые формы чертя», наполнялись, как мы знаем, всеми ветрами мировой культуры. У М. Айзенберга другое:

только жизни печная тяга —
тянет вверх, не сойдешь с ума.

Вот это — наличие жизни — единственное, что является бесспорным фактом. Так сказать, доказано экспериментально. И для М. Айзенберга слабенькая «жизни печная тяга» — единственный шанс на высказывание.

Тут уж, конечно, не до «парусов» и «растяжек». М. Айзенберг не «ваяет», он улавливает блики, солнечные зайчики. Тени, отражения слов — над кипящим котлом расплавленного после Мандельштама и обэриутов поэтического языка. Слово в стихе М. Айзенберга не обладает эстетическим весом, его нельзя взять в руки и насладиться тяжестью запечатанного в нем авторского смысла, как это можно сделать со словом в стихах акмеистов или футуристов. Слова остаются нейтральными. Важно не слово само по себе, а его интонационное движение, его проговаривание, его место в речи, часто действительно определяемое «простым взмахом». Важна сама речь.

М. Айзенберг, вслед за Мандельштамом, пишет не «образами», а кусками «дикого» речевого «мяса». В тексте невозможна периферия: речь возникает вдруг, разом и также вдруг, разом обрывается — не случайно в конце многих стихотворений М. Айзенберга нет никакого завершающего знака препинания:

Как будто снова землю повело
прощальным креном, и в одну воронку
свернулось все ответное тепло.

А мне за ним сворачивать, вдогонку

Возникает эхо — как в концертном зале после заключительного аккорда. В распоряжении Айзенберга действительно нет ничего, кроме речи и жизни. И в том и в другом он не волен, и это оправдывает его волю к высказыванию, делает ее законной. Но основа всему и последнее спасительное пристанище — немота, молчание:

Ходасевич — скрип уключин.
Я его переиграю:
вовсе голос обеззвучу

Немота — контрапункт речи, она присутствует постоянно, с нее все начинается, ею заканчивается. Куски речи разделены немотой, и порой ее в тексте больше, чем речи:

— Косточка нежная темная!
— Темь кромешная!
— Баба снежная!
— Жаба грудная! —

Смысл и звук сгущаются молчанием.

Пространственное воплощение речи — жизнь, немоты — пустота. Жизнь и пустота — тоже сообщающиеся сосуды. Немота ощущается физически, она «звучит», и пустота небесплотна: «Пустота шероховата. Это хуже пустоты». Жизнь, пожалуй, более эфемерна, чем пустота: «Жизнь? Повтори на слух. Звук-то какой. Слово само с дырой». У жизни есть только одно очевидное свойство — она не приносит ничего нового: «Прелестью жизнь обернулась. А что, ее прелесть тоже горька?» Жизнь — это скука: «В какой попали скучный хоровод!» Но скука смертельная — ведь жизнь кончается смертью: «И время тянулось. Но не осталось таким, обернулось братоубийственной скукой для нас». Тут, конечно, не блоковская презирающая скука, тут скука бесконечного воспроизводства онтологической бессмыслицы: «Еще меня на свете нет, и расходившаяся скука готовит месиво примет».

Молодой Мандельштам не знал, что делать со своим телом, — М. Айзенберг не знает, что делать со своей душой. Его непрерывная тяжба с душой сродни ходасевической, с тем только различием, что Ходасевич считал себя недостойным души-Психеи и тем мучался, а М. Айзенберг мучается тем, что не видит Психеи в своей душе, не верит в ее свободу:

В насильный путь пускается душа
и рядовую тянет мешанину.
Всей тяжестью выкладываясь в шаг,
курсирует как земляной червяк,
собою вымеряющий равнину.

Онтологическая скука — это когда «верная гибель ведет к пустяку», то есть на самом деле жизнь не просто не приносит ничего нового, в ней вообще ничего не

происходит и произойти не может: «Что я делал все время? Я изживал свое время». Отсюда — центральная автохарактеристика:

Нет, я не есть большая культурная ценность.
Я не есть человек культуры.
Я — человек тоски.

Мотив тоски — один из самых повторяющихся в стихах М. Айзенберга. Эта тоска, конечно, не имеет ничего общего с красивой лирически-романсовой тоской-грустью. М. Айзенберг называет себя «человеком тоски» в самом прямом, буквальном смысле:

Но это пригоршня — Твоя
тоски, отбившейся от стада.

«Пригоршня тоски» — это вообще человек, отбившийся от стада — Его. Возможность возвращения, разумеется, даже не обсуждается. «Тоска по мировой культуре» превратилась просто в «тоску». Высказывание состоялось.

Итак, исходит М. Айзенберг из акмеизма в его позднемандельштамовском облики, однако в результате формируется совершенно иное художественное пространство. М. Айзенберга всерьез можно назвать одним из немногих, действительно «преодолевших акмеизм». Дело даже не в отсутствии главного акмеистского пафоса «мировой культуры», а в новом самоощущении художника, в том, каким путем он идет к высказыванию. Путь этот — сплошные самоограничения, но только так М. Айзенберг может завоевать для себя исконную и искомую «тайную свободу» поэта.

В. КУЛАКОВ.



СТИХИ К КОММЕНТАРИЯМ

М. Л. Гаспаров. Русские стихи 1890-х — 1925-го годов в комментариях. Учебное пособие для вузов.
М. «Высшая школа». 1993. 272 стр.

Книга точнее определяется не подзаголовком, а заглавием. Отводя себе в скромном своде стихов скромную роль, М. Л. Гаспаров вводит в русскую филологическую литературу новый жанр, параллельный традиционным учебникам. Когда в 1919 году В. Я. Брюсов выпустил свой «Краткий курс науки о стихе», Р. О. Якобсон окрестил его каталогом, «куда безразлично заносятся музейные раритеты и массовые явления». Упрек был справедлив лишь потому, что Брюсов попытался объединить под одной обложкой научный трактат и комментарий к избранным образцам — жанры, далеко разошедшиеся со времен классицизма. Автор «Русских стихов...» сознательно противопоставляет свой труд учебникам Н. А. Богомолова, В. Е. Холшевникова, А. А. Илюшина, Б. В. Томашевского, Г. А. Шенгели, построенным «по обычному типу учебной книги: связанное изложение теории, иллюстрируемое короткими примерами»¹. Поэтому он без труда отводит возможный упрек в «каталогичности» издания: «...экспонат кунсткамер ярче бросается в глаза и дольше остается в памяти, чем обычная хрестоматийная классика. <...> Из художественного материала решительно отбирались тексты, интересные именно со стиховедческой точки зрения, экспериментальные, часто раритетные»².

Комментарий по своей жанровой природе лишен самостоятельности, повинуюсь прихотливой самоорганизации комментируемого текста (по словам автора, «...стиховедческие комментарии к каждому стихотворению <...> следуют друг за другом так, чтобы подхватывали, продолжали друг друга и в конечном счете скла-

¹ Неожиданным и, по всей видимости, случайным пропуском кажется отсутствие в этом списке «Введения в науку о русском стихе» П. А. Руднева, вышедшего в Тарту в 1989 году.

² Количество неизвестных даже специалистам поэтических имен, обогативших книгу образцами стихотворческих удач, превращает ее в настольный справочник, насущно необходимый даже далеким от стиховедения историкам литературы.

дывались в связный очерк русского стихосложения»). С другой стороны, создавая этот текст, составитель вольно (как в нашем случае) или невольно приспособливает его к нуждам комментария: «...порядок подбора материала <...> — не хронологический, а логический, от одного аспекта строения стиха к другому».

В неизбежном поединке связности и логичности победа, кажется, остается на стороне последней: из общей последовательности глав («Стих и проза» — «Стихораздел и рифма» — «Ритмика» — «Силлабо-тоническая метрика» — «Несиллабо-тоническая метрика» — «Строфика» — «Твердые формы» — «Стих и смысл (семантика 3-ст. хоря)») лишь несколько выбивается отдел «Твердые формы», тяготеющий к строфике, но с ней не смешивающийся; главный строфический принцип — эквивалентность графически выделенных многострочий — действует в «твердых формах» не внутри текста, но внутри жанра: когда поэт пишет обычное строфическое стихотворение, он сравнивает написанную строфу с предыдущими; когда пишет сонет — сравнивает его с уже написанными сонетами.

Сокращая дистанцию между читателем и анализируемыми текстами, М. Л. Гаспаров предпосылает разборам лишь самые краткие «Предварительные сведения» («Стих — это прежде всего речь, четко расчлененная на относительно короткие отрезки, соотносимые и соизмеримые между собой. <...> Мы различаем системы стихосложения: **тоническую** (по числу ударений, т. е. слов: ведь в стихе сколько самостоятельных слов, столько и ударений), **силлабическую** (по числу слогов) и **силлабо-тоническую**). Несогласие здесь вызывает лишь чрезвычайно скромная роль, которую автор отводит одному из ключевых понятий стиховедения — **м е т р у** («чередование сильных и слабых мест» в силлабо-тоническом стихе). Считая, вслед за Б. В. Томашевским, что «метр есть специфическое отличие стиха от прозы», мы не склонны ограничивать ни сферу его действия (метр есть и в силлаботонике, и в силлабике и т. п.), ни способ проявления (метр может выражаться и через чередование сильных и слабых мест, и через количество слогов и т. п.). Лишая метр стихообразующей и, так сказать, стихообозначающей функции, исследователь рискует, вместе с А. Белым, признать неразличимость стиха и прозы...

Подобный скептицизм все же чужд автору «Русских стихов...»: начиная раздел «Стих и проза» с разбора одного из «стихотворений в прозе» Бодлера в переводе Эллиса (Л. Л. Кобылинского), М. Л. Гаспаров подчеркивает, что «с точки зрения стиховедческой <...> это проза, и только проза». А в следующем разделе («Свободный стих» с примерами из стихов С. Нельдихена) комментатор замечает: «...этот текст — стихи, именно потому, что он напечатан раздельными строчками. В нем нет рифмы, в нем нет метра и ритма, но в нем есть заданное расположением строк членение на сопоставимые и соизмеримые отрезки <...>. Поэтому неверно говорить (как бывает в полемике): это не стихи, а «рубленая проза»; от такой «рубки» проза приобретает новое качество, новую организацию — становится стихом». Отточенной логикой, выверенными примерами (М. Шкапская) подводя читателя к мысли о том, что метр в свободном стихе — это и есть то самое «членение на отрезки», автор почему-то умалчивает об этом. В результате у автора получается, что не только ритм, но и метр может объединять стих и прозу — отрывок из «Москвы под ударом» А. Белого («И Москвой назывался район, где Пречистенка, улица тихая, тая в сплошных переулках, стояла домами отдельными») непоследовательно характеризуется как «проза — «метрическая» (или «ритмическая»)». Отделяя стих от прозы в самых сложных случаях их сближения, автор, возможно, боится отпугнуть начинающих стиховедов теоретическим объяснением этой сложности.

Верный принципу объяснения правил через исключения, М. Л. Гаспаров открывает следующую главу — «Стихораздел и рифма» — с анализа стихотворного переноса (анжамбемана), уравнивая его разбором параллелизма. Общий пример — «Звезды синие» Вс. Курдюмова с анжамбеманом в финале:

Вечером рассыплет злато солнце;
Вечером ко мне пришла ты, солнце!

Загляну я в небо ночи — звезды;
Загляну тебе я в очи — звезды.

Нашей песней мы разбудим месяц;
В нашей песне мы забудем месяц.

Стоит тоже помнить месяц!
Разыщи его при солнце!
Разгляди при нем-ка звезды!

А вот ты! — раскроешь губы — месяц
 Так и светит; рассмеешься — солнце
 Жжет, а глаз ведь не зажмуришь — звезды.

Следующие за этим комментарии к образцам нерифмованного нестрофического и нерифмованного строфического стиха замечательны по точности выводов: строфика возможна и без рифмы, если чередование окончаний в стихе упорядочено. Соответствующее стихотворение Вс. Рождественского могло бы оказаться и превосходным введением в другой раздел — «Строфику»... Впрочем, тогда белый астрофический стих драмы Вл. Эльснера «Прощанье» остался бы без своего коррелята. Столь же теоретически насыщено разъяснение соотношения рифмованного и нерифмованного стиха: в стихотворении Н. С. Гумилева о картонажном мастере пятистопный хорей с рифмами и пятистопный хорей без рифм противопоставлены так резко, что впору говорить о семиотически окрашенной полиметрии (сочетании различных стихотворных размеров); иное дело — «эмоционально обусловленные» рифмы в белом пятистопном ямбе «Бориса Годунова» или «Ромео и Джульетты», точно охарактеризованные М. Л. Гаспаровым как «рифмический курсив».

Раздел, посвященный рифме, чрезвычайно разнороден. Здесь приводятся примеры омонимических, тавтологических, «экзотических», внутренних, богатых, сквозных, левосторонних рифм, «рифм в необычных местах строки»; встречаются, наконец, и такие малоизвестные кунштюки, как панторифма и рифма-палиндром. Нарочито дробная композиция раздела имеет свои преимущества: переходя от одного случая к другому, вникая в тексты и легко сопровождающие их разъяснения, начинающий читатель обостряет свои способности к восприятию, учится конкретно и непредвзято анализировать стиховую материю.

Содержание следующего раздела — «Ритмики» — поначалу озадачивает читателя: обширные разделы о началах, окончаниях и цезурах в стихе подошли бы скорее к области метрики. Но эта отнюдь не мнимая нелогичность не мешает автору виртуозно извлекать из наличествующих стихотворных образцов множество чисто ритмических наблюдений. Когда же повествование переходит непосредственно к ритмике, результаты становятся еще более изощренными (особенно это касается словоразделов, доселе практически не изученных с ритмической точки зрения).

Метрической организации стихотворного текста посвящены два следующих раздела — «Силлабо-тоническая метрика» и «Несиллабо-тоническая метрика» (разграничение, очевидно, привязано к упомянутому «силлабо-тоническому» определению метра в начале книги). И здесь автор находит неожиданно новое в хорошо знакомом материале, убедительно демонстрируя переходность дольника от силлабо-тонических размеров к тоническим. Среди выразительных несиллабо-тонических форм попадаются, впрочем, и не очень близкие русской поэзии (таков, на наш взгляд, галлиямб), и уже встречавшиеся ранее (свободный молитвословный стих не отличается от ранее приведенного свободного не-молитвословного стиха и едва ли может относиться к тонике). В ряду удачных примеров редкого в XX веке силлабического стиха несколько диссонирует «Отъезд» С. В. Шервинского:

Ты, море тайное, ты, чаша из лазури,
 Которую сам Дий украсил по краям,
 Где играет дельфин, и чайки, жены бури,
 Прикрепляют полет к трепетным кораблям!..
 Когда уходят вдаль, бледнея, гор уклоны, —
 Генуэзский залив, — и дрожит пароход,
 Тех индийских морей предчувствуя циклоны, —
 Взгляды любви скользят долго по лону вод...
 И тихая душа, привыкшая к безлюдью,
 Тоскует и живет жизнью чаек и туч,
 Простясь с лучом зари, вольной вздыхая грудью,
 Не зная, что сулит утра нового луч...
 Но будет, будет миг: вдруг божества морские
 Лазурный горизонт позволят разгадать,
 Вдруг розами пахнет земная благодать,
 И скажет капитан седой: «Александрия!»

Как видим, восемь из шестнадцати строк этого замечательного стихотворения оказываются шестистопноямбическими, а в другой половине отчетливым трехстопным ямбом звучат еще пять полустуший. Хотя силлабическая интенция автора не-

сомненна, из-за столь очевидных уступок силлаботонике она едва ощутима, и переработка стихотворения в 1984 году в шестистопный ямб, о которой упоминает Гаспаров, — признание автором «Отъезда» поражения в борьбе с навязчивой ямбической инерцией.

После «Твердых форм», о которых уже было сказано, следует наиболее интересная, на наш взгляд, глава книги — «Стих и смысл (семантика 3-ст. хоря)». Хотя непосредственное соотнесение метрики и тематики, предложенное в свое время К. Ф. Тарановским и развитое позднее М. Л. Гаспаровым, может показаться сопряжением далековатых идей, оно образует надежный каркас, внутри которого и с опорой на который будут наращиваться недостающие пока ритмические, лексические, синтаксические звенья. Автор «Русских стихов...», отвергая органическую связь метра и смысла, настаивает лишь на исторической их соотнесенности — но и в этом случае полученные им тематические парадигмы трехстопного хоря («Вступление», «Путь», «Природа», «Быт», «Тоска», «Любовь», «Смерть», «Бунт», «Возрождение») убеждают и подталкивают к дальнейшим поискам.

Завершаются «Русские стихи...» «Не-энциклопедической справкой об авторах», написанной, как и вся книга, логически, риторически и эстетически отшлифованным (но без всяких следов шлифовки) языком.

И первокурсник-филолог и опытный исследователь прочтут книгу М. Л. Гаспарова с одинаковой легкостью и одинаковой пользой; и тот и другой пополнит запас знаний не только о современном стиховедении, но и о стихах начала XX века.

К. Ю. ПОСТОУТЕНКО.



КОРОТКО О КНИГАХ



И. АЛЕКСАНДР ФЕЙНБЕРГ. Заметки о «Медном всаднике». Составление, подготовка текста, подбор иллюстраций М. Фейнберг, вступительная статья И. Шайтанова. М. «Дом Марины Цветаевой». 1993. 111 стр.

Статьи безвременно ушедшего от нас Александра Ильича Фейнберга увлекательны, нестандартны, написаны с тем воодушевлением, которое обыкновенно сопутствует самому началу профессиональной работы филолога, присутствуя в дружеском разговоре, в хорошей университетской лекции, но часто «не доживая» до момента записывания, тем более — до публикации готовой статьи. В результате, как правило, в печатном тексте появляется отстраненность аргументации, безличный пафос поиска «объективной» истины... А. Фейнбергу удается сохранить и донести до читателя вдохновение, сопутствующее зарождению замысла.

Статья о «Медном всаднике» начинается знаменательными словами: «Прошлой весной я сидел в справочном зале Ленинской библиотеки и...» Такое фиксирование самого момента возникновения замысла будущей работы, конечно же, не случайно. А. Фейнберг всегда занимался, по определению Д. С. Лихачева, «конкретным литературоведением», но пристальнейшее внимание к детали, факту, дате, документу не превращает его труд в сухой перечень. Удастся избежать ученому и противоположной опасности, столь часто подстерегающей гуманитария: стремление к личностной окрашенности выводов и увлекательной новизне гипотез не оборачивается у А. Фейнберга произвольностью характеристик и интерпретаций. Вывод, венчающий размышления о петербургской повести Пушкина, на первый взгляд, вполне традиционен: «Пушкин, как никто другой, мог оценить великое значение Петра в русской истории. Но как человек частный, он мог считать себя жертвой петровского переворота». И далее: «...в творческом сознании Пушкина соединяются <...> общегосударственный взгляд,

видящий события с высоты <...>, и работа о правах личности».

Между тем А. Фейнберг демонстрирует завидные навыки «познания познанного», помещая вершинное произведение Пушкина в новые контексты: историко-биографический (судьба бывшего курского купца Ивана Голикова, автора знаменитых и многотомных «Деяний Петра Великого», сопоставленная с печальной историей пушкинского Евгения), литературный (ряд параллелей со сборником О. Барбье «Ямбы», увидевшим свет в 1832 году), фактический (пристальнейшее, топографически выверенное прослеживание маршрута передвижений героя «Медного всадника», почти кинематографическая реконструкция впечатления, которое на него могла произвести гигантская статуя — тогда, сто семьдесят лет назад, в отсутствие нынешнего газона, отдаляющего зрителя от изваяния императора).

Лаконичной четкостью отличается и второй пушкиноведческий очерк А. Фейнберга, посвященный уточнению адресата стихотворения «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...». По догадке исследователя, стихи о покое и воле были обращены не к Наталье Николаевне, а к Павлу Нащокину, другу поэта, в самом начале 1834 года женившемуся на В. А. Нагаевой не без хлопот Пушкина. Надо отметить, что работа Фейнберга скорее заново ставит проблему датировки и посвящения пушкинского текста, нежели окончательно решает ее. Дело тут не только в том, что майские и июньские письма Пушкина к жене содержат многочисленные высказывания о желательности выхода в отставку и побега из столицы в деревню¹. Самый текст стихотворения, на

¹ Ср.: «Дай Бог мне тебя увидеть здоровою <...> да плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино...»; «...надобно будет, кажется, выдти мне в отставку и со вздохом сложить камер-юнкерский мундир...» и т. д. (Пушкин А. С. Письма к жене. Л. «Наука». 1986, стр. 58).

Не из соображений полемики, а скорее для полноты картины следует упомянуть и об иной датировке стихотворения «Пора,

наш взгляд, во многом противоречит выдвинутой гипотезе. Прежде всего вступительный призыв («Пора...» и т. д.) обращен явно к собеседнику, с которым поэт делится собственными планами («пора [мне], мой друг...») и далее: «покою [мое] сердце просит»). Этот возглас, по всей вероятности, не может быть адресован «другу с побудительной целью» («пора [тебе]...» и т. д.), ибо в финале речь уже определенно ведется от первого лица («замыслил я...»).

Можно предложить и еще один аргумент. Гипотетический адресат пушкинского стихотворения должен бы выбрать (либо уже выбрал) «покой и волю» именно в противовес «счастью», коего попросту «нет». Однако в том самом письме Нащокину, на которое ссылается А. Фейнберг, Пушкин дважды упоминает о счастье как о желанной для молодых супругов цели². Приведенные здесь доводы, конечно, носят характер предположительный. Но ведь таково же по своей сути и ключевое возражение А. Фейнберга против традиционного адресования стихотворения «Пора, мой друг, пора...»: «Может ли это [«умрем...» и т. д. — Д. Б.] быть обращено к молодой красавице жене, матери его двух маленьких детей?..»

А впрочем, должно быть, говорить о конкретном адресате этого стихотворения вообще затруднительно. Речь может идти лишь о ряде ассоциаций, мотивов, мыслей, присутствующих в переписке Пушкина в весенние и летние месяцы 1834 года. Иначе легко прийти к сужению смыслового диапазона поэтического текста, замкнуть его в тесном для него жанре «послания».

По свидетельству И. Шайтанова, написавшего яркое, содержащее ценней-

шие биографические подробности предисловие к рецензируемой книге, Александр Фейнберг смолоду отличался страстью к изучению языков, обладал удивительной способностью органично вживаться в мир чужой лингвистической культуры. Именно этим талантом ученого вызваны к жизни два очерка, завершающие сборник. Их тема — поэтика литературного двуязычия, художественного перевода; герои — Л. Толстой и Хемингуэй, Джойс и Набоков. Теоретическое исследование фактов «стилистического остранения», достигаемого в романах Толстого и Хемингуэя путем сближения различных языковых «миров» (русского и французского, английского и итальянского, испанского), сопровождается рядом конкретных наблюдений. Скажем, привычное название хемингуэевского романа «Праздник, который всегда с тобой», как выясняется, весьма неточно передает по-русски смысл словосочетания «A Moveable Feast», обычно относимого к переходящим церковным праздникам (Пасха, Троица).

Большинство творческих замыслов ученого родилось в романтическую (хотя и противоречивую) эпоху шестидесятых годов. Глубокое дыхание, чувство внутренней свободы, сочетание смелости суждения и академической тщательности — черты научного стиля статей, составивших посмертный сборник А. Фейнберга, к стати, прекрасно иллюстрированный.

И. А. М. ГУРЕВИЧ. Романтизм Пушкина. Книга для учителя. М. МИРОС. 1993. 192 стр.

Новая книга А. М. Гуревича — итог многолетних его разысканий в области истории русской классической литературы. Здесь параллельно рассматриваются две проблемы: типологическое исследование литературного процесса в России первых десятилетий XIX века на фоне универсальных закономерностей развития национальных литератур европейских стран и, с другой стороны, комплексное изучение пушкинского романтизма. В каждой из обозначенных областей А. М. Гуревичем предложены нестандартные решения, оригинальные гипотезы. И все же результативность исследования в том и другом случае неодинакова. Теоретические посылки автора возражений не вызывают. В рамках концепции стадияльного развития европейских литератур (предполагаю-

мой друг, пора!..» (см.: Сайтанов В. А. Неизвестный цикл Пушкина, в кн.: «Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке». Сб. 19. М. 1986). В Сайтанов на основании ряда наблюдений относит написание стихотворения к лету 1835 года, когда вопрос об отставке возник для Пушкина с прежней остротой. Такая датировка ныне принята рядом исследователей (см., например: Эйдельман Н. Я. Пушкин. Из биографии и творчества. 1826 — 1837. М. 1987, стр. 373).

² «...все мы были довольны, все пожелали тебе счастья». (Пушкин А. С. Собрание сочинений в 10-ти томах. М. 1974, т. 10, стр. 153). И еще более красноречивая фраза, которую, к стати, цитирует в своей статье А. Фейнберг: «Говорят, что несчастье хорошая школа: может быть. Но счастье есть лучший университет. Оно довершает воспитание души...» (там же, стр. 154).

щей единую для всех стран Европы последовательность литературных направлений: от «классицизма» до «критического реализма») выдвигается тезис о том, что русская словесность прошла этот путь «в ускоренном темпе» (отголосок известного термина Г. Д. Гачева) — всего лишь за одно столетие начиная с 1740-х годов. Такая, «неклассическая», схема литературного развития предполагает в ключевую для книги эпоху 1820 — 1830-х годов сложное переплетение, синхронное сосуществование признаков различных художественных направлений, прежде всего — романтического и реалистического.

Сомнение вызывает другое: чересчур жесткая «привязка» художественных особенностей к явлениям внелитературного, «общественно-политического ряда», к печально знакомой оценочной шкале социальной прогрессивности — реакционности. Эвристическая ценность некоторых связанных с этой шкалой положений на самом деле весьма проблематична: «Нужно ли доказывать, что в первой половине XIX столетия полуазиатская, крепостническая Россия и, скажем, капиталистическая Англия <...> находились на разных стадиях общественной эволюции? Между тем и романтизм и критический реализм возникают в обеих странах практически одновременно». Небесспорным представляется и обращение автора к давней полемике А. Н. Соколова, Б. Г. Реизова и других по поводу пресловутой диалектики общего и особенного в бытовании разных национальных вариантов одной и той же стадии литературного развития, того же романтизма, например. Цитируемые суждения почтенных исследователей принадлежат скорее истории, воскрешают атмосферу бурных дискуссий начала 60-х годов, но едва ли могут сегодня восприниматься как последнее слово в изучении литературного процесса. И еще одна особенность подхода А. М. Гуревича вызывает немало внутреннее сопротивление: пресловутый «реализмоцентризм».

К реализму (понятное дело, пока что — в XIX веке — «критическому»), как к вожденной гавани, стремится в русской (да и не только в русской) литературе буквально все и вся. В любом локальном явлении, в творчестве любого автора динамику, эволюцию можно усмотреть, не иначе как подчеркивая планомерное нарастание «реалистических тенденций». Известны труды, в которых подобная схема применялась

даже к произведениям Дмитрия Веневитинова, всего-то несколько лет активно участвовавшего в литературной жизни. Мудрено ли, что, например, «вторая половина творчества Лермонтова» отмечена прежде всего «кризисом романтического мирозерцания», причем сам писатель «явно эволюционирует в сторону реализма». Все живое движение литературных форм и стилей словно бы запрограммировано, все этапы его можно угадать зашмурившись: «Пушкин стремится сблизить искусство с реальностью, борясь за максимальную правдивость и жизненную конкретность изображения». Теоретические выводы, содержащиеся в книге А. М. Гуревича, было бы неверно считать ущербными, ложными. Скорее наоборот, зачастую они чересчур очевидны, не предполагают читательских открытий, которые, думается, были бы вполне уместны в «книжке для учителя»...

Гораздо больший интерес представляют разделы книги, посвященные конкретным историко-литературным вопросам. А. М. Гуревич предлагает оригинальную реконструкцию пушкинского взгляда на «истинный романтизм», высказывает ряд ценных соображений об эволюции пушкинского романтизма, всегда сохранявшего в лирике связь с традициями «высокой» поэзии. Многие ключевые ситуации и мотивы, присутствующие в ранних стихотворениях Пушкина, согласно А. М. Гуревичу, допускают (и предполагают) двоякое прочтение, не сводимое однозначно ни к «одическому» коду лирики «архаистов», ни к «элегизму» приверженцев карамзинского направления. Скажем, частная беседа друзей зачастую органично перетекает в «ораторскую» дискуссию вольнодумцев.

По мнению исследователя, переход Пушкина к реализму отнюдь не означает окончательного и полного разрыва с романтической традицией. Автор книги стремится к изучению именно тех литературных явлений (жанров, конкретных произведений), в которых романтические потенции присутствуют, так сказать, на пределе (и — за пределами) собственных возможностей. В практических анализах художественных текстов автор избегает упоминавшегося уже «реализмоцентризма», счастливым образом не впадая при этом в противоположную крайность — поиски «романтизма без берегов».

Сближая «ранние» и «зрелые» произведения поэта, рассматривая в еди-

ном ключе «романтические» и «реалистические» их особенности, А. М. Гуревич предлагает ряд убедительных прочтений классических пушкинских текстов. Так, если в романтических «южных» поэмах герои непременно существуют на границе двух миров, двух систем ценностей, жизненных укладов (цивилизация — природа, север — юг, «душные города» — степные просторы), то логично было бы попытаться нащупать «превращенные формы» романтического двоемирия и в иных пушкинских вещах. Скажем, в «Евгении Онегине», где ключевые изменения в характерах персонажей, в их взглядах на жизнь также происходят на грани миров — провинциального и городского, например, А. М. Гуревич вскрывает, таким образом, некую важную универсалию пушкинской поэтики, описать которую в рамках канонического разграничения «реализма» и «романтизма» не представляется возможным. Проявление подобного рода «пограничности» можно усмотреть и в другой известной особенности пушкинского стихотворного романа, как бы балансирующего на грани литературы и жизни, содержащего ряд зеркальных уподоблений судеб персонажей и автора.

Аналогичным образом рассматривая «инобытие» романтических тенденций в прозаических произведениях Пушкина, А. М. Гуревич отмечает, что «...социально-психологический тип «маленького человека» <...> не просто противостоял возвышенно-романтическому, исключительному герою южных поэм <...>, но являлся также его продолжением, видоизменением...» Именно по этой причине, согласно мнению ученого, «...полупасторальный белкинский мир <...> может быть назван и антиподом идеально-романтического мира южных поэм, и — как противоположность раздираемой трагически-неразрешимыми противоречиями реальной действительности — своеобразным его аналогом».

Пристальное внимание к тексту, глубина аналитических формулировок — таковы достоинства «практической» части книги о романтизме Пушкина.

III. И. СУРАТ. Пушкинист Владислав Ходасевич. М. «Лабиринт». 1994. 112 стр.

Новая книга Ирины Сурад отличается привычной уже обстоятельностью изложения, тщательностью обработки

материала, пристальным вниманием к тем потаенным смысловым пластам культуры, где сопрягаются в неразрывное целое мельчайшие обстоятельства жизни отдельного человека и масштабные закономерности, определяющие направление духовных движений на протяжении долгих десятилетий.

Судьба Владислава Ходасевича, поэта, боготворившего Пушкина и сделавшего в то же время последние решительные шаги прочь от пушкинской гармонии навстречу «европейской ночи», — эта судьба заключала в себе зерно трагедии отречения, исподволь прораставшее сквозь рутину повседневных занятий, особенно в те периоды жизни, когда Ходасевич пытался «служить» — в советских ли учреждениях (среди которых был и Пушкинский Дом) либо в различных печатных изданиях русского зарубежья. Профессиональный пушкинист, блестящий знаток биографии и творчества великого поэта, Ходасевич оказался в эмиграции на долгие годы отрезанным от живого общения с коллегами, от источников, от живого отклика на свои труды читателей-соответственников. Играя лестную роль авторитетного эксперта, консультанта, рецензента чужих пушкиноведческих работ, он так никогда и не создал заветного труда о Пушкине; книги «Поэтическое хозяйство Пушкина» (Л. 1924) и «О Пушкине» (Берлин. 1937) — не более чем наброски к несостоявшейся фундаментальной работе.

И. Сурад подчеркивает синтетический характер научной методологии Ходасевича, который на протяжении десятилетий «нащупывал оптимальный баланс между академической скрупулезностью и творческим, писательским началом в интерпретации», между «медленным чтением» М. О. Гершензона (оказавшего на Ходасевича огромное влияние) и вдохновенной добросовестностью архивиста Б. Л. Модзалевского — одного из немногих «штатных» пушкиноведов, пользовавшихся доверием и уважением поэта-филолога.

С предельной ясностью в книге И. Сурад намечается логика творческого развития Ходасевича-пушкиниста. «Если в ранний свой период он тяготел к профессионально обоснованной метафизике («Петербургские повести Пушкина»), если в годы творческого расцвета переключился главным образом на проблемы психологии творчества («Поэтическое хозяйство Пушкина»), то теперь (с конца 20-х годов. — Д. Б.) его

больше привлекает разработка конкретных, главным образом фактических вопросов». Особенно важным представляется вывод автора книги о том, что «...такая эволюция соответствует и рисунку поэтической судьбы Ходасевича».

Пушкин в понимании Ходасевича представляет собою проблему не литературную, но жизненную, общенациональную. Еще в «Колеблеме треножника» (речи 1921 года, сопоставимой по значимости и резонансу со знаменитой Пушкинской речью Достоевского) Ходасевич совершил «коперниканский переворот» в воззрениях современников на место и роль Пушкина в русской культуре. Пушкину был возвращен статус солнца, вокруг которого вращается отечественная духовность. Современное же ее состояние характеризовалось как «сумерки культуры», наступившие в пору «затмения Пушкина», а позже обернувшиеся всеевропейской ночью. Такой взгляд позволял аргументированно противостоять многочисленным попыткам обращения с наследием поэта по собственному произволу (в широком диапазоне — от упреков в чрезмерной «строгости», несоответствии «оргиастической» современной эпохе со стороны Розанова и символистов до ультраавангардистских попыток сбросить Пушкина с корабля современности).

Провозглашенное Ходасевичем единство биографического, литературоведческого и философского подходов к изучению Пушкина до сих пор, по мнению И. Сура, является основополагающим, и отдельные исследовательские передержки Ходасевича, вызвавшие резкую критику в 20-х годах, сути дела не меняют. Работе И. Сура особую осмысленность и стройность придает осознанная филологическая приверженность автора глубинному биографизму, который как раз и предполагает, что «стихи, письма и события» читаются «как единый текст пушкинской жизни».

Ирина Сура в разбираемой книге верно выбрала «своего» героя, встретила в лице пушкиниста Владислава Ходасевича коллегу и единомышленника, говорящего на близком и понятном ей языке. Теперь, после прочтения книги, остается только ждать счастливого выхода в свет трехтомного собрания пушкиноведческих трудов Ходасевича, подготовленного к печати И. Сура и до сей поры, к сожалению великому, находящегося под спудом.

IV. В. А. КОЖЕВНИКОВ. «Вся жизнь, вся душа, вся любовь...». Перечитывая «Евгения Онегина». Книга для учителя. М. «Просвещение». 1993. 190 стр.

Нелегко нынче писать книги, адресованные школьникам, а тем более — учителям. Стремительно и бесповоротно устарели подходы, предполагающие публичное сожжение былых кумиров. Резкая перемена декораций во многих случаях обернулась самосожжением, отсутствием сколько-нибудь взвешенного подхода к событиям литературной жизни прошлых эпох, литературоведческая перестройка оказалась чреватой необъяснимыми переходами от одной крайности к другой, от канонического испытания достоинств любого произведения «в свете высказываний» Белинского — Герцена — Чернышевского — Добролюбова — к полному и окончательному отсутствию этих, что ни говори, важнейших фигур в новом списке пророков. Хотя, с другой стороны, нельзя уже больше делать вид, что за последние десятилетия ничего особенного в российской культуре не произошло, и говорить с молодым читателем в прежнем речевом регистре, так сказать, без долгих предисловий!

Именно отсутствие какого бы то ни было введения в историю затрагиваемых вопросов прежде всего бросается в глаза открывшему книгу В. А. Кожевникова. При всех возможных возражениях такое начало, пожалуй, не худшим образом соответствует тому деловитому и взвешенному тону, который предлагает автор в первой главе, посвященной «внешней хронологии» «Евгения Онегина». Перечисляются пушкинские произведения, создававшиеся параллельно с обдумыванием и написанием той или иной главы романа в стихах, намечены важнейшие вехи биографии поэта, всякий раз приводившие к трансформации замысла «Евгения Онегина».

Вторая глава, содержащая обзор мнений и суждений о романе Пушкина, более аморфна, местами лишена внутренней логики. Каждое из приводимых высказываний оценивается по своей особой, автономной шкале, практически при полном отсутствии стремления обозначить причины резкого разнобоя оценок, их динамики, порожденной внутренними закономерностями творческой эволюции Пушкина. Между тем важность подобных вопросов понимали уже современники поэта. Надеж-

дин, скажем (чьи отношения с Пушкиным и его произведениями, как известно, были весьма и весьма непростыми), еще в 1834 году отмечал, что «...Пушкин не мог оставаться в зависимости даже и от общественного мнения: он шел своим путем, и чем сильнее, самобытнее, выше развивался талант его, тем далее последующие его произведения расходились с тем первым впечатлением», которое в свое время «решило славу его».

Сама последовательность имен критиков и публицистов, чьи высказывания анализирует В. А. Кожевников, не бесспорна, во многом воскрешает каноны «школьного» литературоведения прошлых лет: Белинский, Герцен и Огарев, Чернышевский и Писарев. И уж совсем странно выглядят фразы о том, что «„Колокол“ А. И. Герцена и Н. П. Огарева будоражил Россию, поднимал на борьбу, и конечно же, не случайно Н. П. Огарев в выдвижении из дворянской среды Ленского и Онегина видел важный симптом». Недоумение вызывает и отсутствие не только анализа, но даже упоминания о философских пушкиноведческих работах (от В. С. Соловьева до С. Л. Франка), появившихся на переломе от прошлого века к нынешнему и недавно переизданных во вполне доступной для школьного учителя книге «Пушкин в философской критике. Конец XIX — первая половина XX в.» (М. «Книга». 1990). Вместо заполнения очевидной лакуны в обзоре суждений о романе Пушкина читателю предлагается ряд абстрактных формулировок о том, что «философскую интерпретацию романа продолжили символисты», а «новый этап исследования творчества великого поэта», естественно, «начался после 1917 года».

Не вполне убедительной представляется и композиция следующей главы. Сначала — содержательный разговор о новых интерпретациях «Евгения Онегина», появившихся на рубеже 70 — 80-х годов (Ю. М. Лотман, А. Е. Тархов, полезно было бы упомянуть еще и о работах В. М. Марковича, Н. Д. Тамарченко...), затем следует полемика с давно устаревшими положениями Д. Д. Благого, Б. С. Мейлаха и мимоленные сведения о работах Г. О. Винокура, С. М. Бонди, В. В. Виноградова.

Центральное место в книге В. А. Кожевникова занимает четвертая глава, целиком посвященная одной из классических дискуссионных тем — анализу

внутренней хронологии событий в «Евгении Онегине». Действительно ли время в пушкинском романе «расчислено по календарю»? И каков этот календарь? С момента появления в печати расчетов Р. В. Иванова-Разумника (1909 год, комментарии к третьему тому «венгеровского» собрания пушкинских сочинений в «Библиотеке великих писателей») библиография работ о хронологии «Онегина» выросла до многих десятков названий³.

Данная глава книги В. А. Кожевникова, в отличие от прочих, представляет собою самостоятельное исследование (как, впрочем, и одно из пространных «Приложений», посвященное «шифрованным строфам» романа, первоначальный вариант которого был опубликован в «Новом мире» за 1988 год, № 6). Развивая положения А. Е. Тархова, автор пересматривает общепринятую хронологию романа, сближая ее с последовательностью событий творческой биографии Пушкина (кризисы, переломные моменты и т. д.). Время действия «Евгения Онегина» удлиняется, главным образом — за счет допущения значительной паузы между началом хандры у героя и отъездом его в деревню⁴, а также в результате «продления» сроков онегинского путешествия⁵. Не все фрагменты гипотезы В. А. Кожевникова в равной степени аргументированы, однако важнее другое. Приставляемое внимание к тексту, предоставляемый читателю зримый шанс нащупать неведомое в произведении классическом, хрестоматийном — все это будит мысль, провоцирует на диалог и в конечном счете безусловно пойдет на пользу не только учителям и старшеклассникам, но и так называемому массовому читателю. Упущение же автора книги, по-видимому, состоит в том, что он нигде не ставит под сомнение саму по себе целесообразность поисков в романе Пуш-

³ Укажем на одну из недавних статей, не учтенных автором: Шварцбанд С. Еще раз о «календаре» в «Евгении Онегине». — In Honour of Professor Victor Levin. Russian Philology and History, Jerusalem. The Hebrew University. 1992, p. 285 — 299.

⁴ Аналогичное предположение — в рамках иной концепции — делает В. С. Баевский (см.: «Пушкин. Исследования и материалы». Л. «Наука». 1983, т. XI, стр. 123).

⁵ См. не упомянутую в книге полемику с данным допущением: Баевский В. С. Сквозь магический кристалл. Поэтика «Евгения Онегина», романа в стихах А. Пушкина. М. «Прометей». 1990, стр. 137 — 138.

кина единой непротиворечивой хронологии. Между тем существует, как известно, иная точка зрения, трактующая расчисленность времени «Онегина» только в том смысле, что поэт строго следует природному календарю, смене времен года и т. д. В частности, тот же В. С. Баевский не просто говорит о наличии значительного количества анахронизмов в «Евгении Онегине», считая их авторскими недосмотрами, но вообще отрицает наличие в романном мире Пушкина универсальной календарной составляющей (см. его статью «Время в «Евгении Онегине» / «Пушкин. Исследования и материалы», 1983, т. 11, стр. 123/). Недаром же поэт в финале первой главы не слишком сетовал на то, что в его творении «противоречий очень много» и не торопился их исправлять...

В. Ю. Н. КАРАУЛОВ. *Словарь языка Пушкина и эволюция русской языковой способности.* М. «Наука». 1992. 168 стр.

...Бывают, оказывается, и такие книги о Пушкине! Исследование известного лингвиста, посвященное весьма специальным проблемам, содержащее такие понятия, как «серендипность»⁶, все-таки в значительной степени написано именно о Пушкине. По словам автора, «предлагаемый эксперимент может быть назван так:

«Пушкин читает Маканина». В качестве активно функционирующего индивидуального лексикона, моделирующего <...> языковую способность, используется четырехтомный словарь произведений А. С. Пушкина⁷, а объектом его (словаря? Пушкина? — Д. Б.) восприятия становится рассказ В. Маканина «Человек свиты». В итоге мы получаем ответ на вопрос, мог бы⁸ носитель

⁶ От английского serendipity — способность нечаянным образом совершать счастливые открытия.

⁷ Так несколько необычно именуется Ю. Н. Караулов «Словарь языка Пушкина» (М. 1956 — 1961, тт. 1 — 4).

⁸ Так в источнике. К сожалению, данная словесная конструкция, в которой начисто отсутствует на уровне грамматики только что обещанная читателю вопросительность, в разбираемой книге далеко не единична. До серендипности ли тут, ежели нелады с простою активностью-пассивностью причастий, да, пожалуй, и с видо-временными характеристиками глагольных словоформ: «...владеющий языком человек в состоянии опознать и идентифицировать никогда им

русского языка, принадлежащий по своему воспитанию и уровню знаний к первой трети прошлого века, <...> воспринять и понять текст, относящийся к нашему времени, входящий в контекст современной русской литературы».

При всей парадоксальности поставленной задачи, ее разрешение представляет безусловный интерес не только для лингвистов, но и для прочих носителей языка. Ю. Н. Караулов скрупулезно, слово за словом анализирует текст маканинского рассказа, всякий раз подробно описывая возможности его адекватного уразумения просвещенным читателем пушкинской эпохи. Основываясь на понятии «языковой способности»⁹, в каждом конкретном случае исследователь показывает, какого рода усилия надо было бы приложить современнику Пушкина, чтобы понять, например, такие слова, как «телефон», «звонить» (по телефону), «шашечки» (трафарет на дверце такси) и др. В каких-то случаях будет достаточно резервов «ассоциативно-вербальной сети» (совокупности потенциально присутствующих в сознании лексико-грамматических связей и норм), позволяющих распознать ранее неизвестное значение знакомого слова («позвонить»). Иногда необходимо выйти за пределы собственно языковой сферы, подключить «когнитивный уровень понимания», то есть апеллировать к внеязыковому опыту, информации о новых реалиях развивающейся цивилизации («телефон» и т. п.). Порою же требуется постижение особых «фреймов», то есть типов комплексных поведенческих реакций. Только при этом условии Пушкин-читатель мог бы понять смысл маканинского выражения «жена, отбывшая днем на службе, а к приходу Родионцева постоявшая уже у плиты».

Именно сочетание собственно языковых и внеязыковых, ситуативных характеристик процесса понимания, учет не только лексического фонда, зафиксированного в «Словаре языка Пушкина», но и основных лексикографических данных пушкинской эпохи (а в словари и сам Пушкин, как мы знаем, охотно заглядывал) — все это вместе

ранее не встречаемую (? — Д. Б.) и самим не использованную (?? — Д. Б.) форму известной ему лексемы» и т. п.

⁹ Она определяется как «...возможность (для носителя языка. — Д. Б.) <...> производить и понимать тексты, ранее <...> не известные, <...> не производившиеся и не слышанные».

взятое в значительной степени повышает интерес к монографии Ю. Н. Караулова. Автор описывает не замкнутый в пределах поэтики разбираемого автора «идиостиль», «идиолект», но располагает свои суждения на зыбкой грани между лексемой и реалией, словом и поступком. При этом проблема восприятия собственно художественных, литературных характеристик текста возникает вполне естественным образом. Современник Пушкина (в лабораторных условиях поставленного Ю. Н. Карауловым эксперимента) неизбежно сталкивается не только с непониманием некоторых слов, фразеологических единиц, но испытывает затруднения и при восприятии целого ряда несвойственных прозе прошлого века особенностей повествования, способов характеристики персонажа, составляющих самую сердцевину стиля Маканина (обильное применение несобственно-прямой речи, специфический «просторечный нейтралитет», столь свойственный речевой манере его героев, отсутствие принципиальной разницы в описании мыслей и реплик персонажа «извне» и «изнутри», активное применение сложным образом ориентированного «двуголосого» слова и многое другое).

Предложенный анализ языковой способности позволяет обнаружить такие составляющие художественного текста, которые ускользают даже в процессе обычного «медленного чтения». Допускаю, что мог дилетантски усмотреть в методике Ю. Н. Караулова те особенности, наличие которых он и не предполагал при написании книги. Но ведь на исходство заранее запрограммированных и счастливо-случайных («серендипных») результатов исследовательской работы указал в заключительном разделе своего труда сам автор. Что ж, почувствуем разницу!

VI. А. А. КАНДИНСКИЙ-РЫБНИКОВ. Учение о счастье и автобиографичность в «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина, изданных А. П.». М. «Феникс». 1993. 219 стр.

Любой мало-мальски авторитетный корпус текстов неизбежно порождает апокрифы. Пушкиниана в этом смысле не исключение — читатели давно уже привыкли к появлению время от времени сенсационных сообщений: о находках пушкинских рукописей, о расшифровке и перерасшифровке стихотворной тайнописи, о ранее неизвестных миру

возлюбленных поэта и столь же неизвестных адресатах его стихов... В самом присутствии некоего апокрифического «фона» в силовом поле серьезной науки нет ничего странного или предосудительного, более того, это важное свидетельство неакадемического, массового интереса к академическим проблемам. Ведь изобилие апокрифов свойственно отнюдь не только пушкинистике — вспомним многочисленные самодельные разработки по «Слову о полку Игореве», по поводу загадочного ухода из жизни Гоголя, Лермонтова, Есенина, Маяковского...

В былые (читай: «застойные») времена для всего находилось свое место. Какие-то эпатажирующие разыскания распространялись в рукописи, иные публиковались в научно-популярных журналах и альманахах. Изредка появлялись подобного рода сочинения и в специальных изданиях, всякий раз вызывая бурную полемику и негодование ученых. Новая ситуация сместила все акценты. Факт издания книги не говорит уже почти ни о чем: не предполагает немедленных откликов в печати, не добавляет авторитета сочинителю, издателю.

Сочинение А. А. Кандинского-Рыбникова бойко продается в магазинах «Академкниги», победительно украшает пушкинский стеллаж Румянцевской библиотеки — главной библиотеки страны. Между тем апокрифичность данного издания дает о себе знать уже в аннотации. «Повести Белкина» автор, как выясняется, трактует «как мистическое произведение, тайно посвященное Н. Н. Гончаровой». Дальше — больше: в повестях «...кроются (? — Д. Б.) покаяние Пушкина перед женой и нецерковная проповедь нравственных основ христианства». Такой зачин, что ни говори, настраивает (без малейшей иронии) на самый серьезный разговор. Пусть перед нами бесспорный апокриф, но, может быть, удастся почерпнуть в книге какие-то истины, как раз и не укладывающиеся в тесные рамки академического канона?

Увы, в книге А. А. Кандинского-Рыбникова все гораздо проще: дело, оказывается, в том, что пушкинские «...пять повестей соответствуют <...> ветхозаветным заповедям (с шестой по десятую)». Заветный смысл «Метели», например, состоит в том, что негоже вступать в законный брак без благословения родителей. Да и вообще «смирение человека — необходимое условие

<...> счастья». Кроме несомненного умения произносить сентенции, способные по своей абсолютной (я бы сказал — императивной) истинности соперничать с чеховскими максимами о лошадях и овсе, Волге и Каспийском море, кроме этого дара, автору книги никак нельзя отказать и в каббалистических навыках там, где дело касается символики имен, инициалов, чисел, дат и проч. Читатель еще не успел и дух перевести, а «девица „К. И. Т.“», рассказавшая Ивану Петровичу Белкину «Метель» и «Барышню-крестьянку», мигом обретает сходство с морским чудищем, в незапамятные времена проглотившим Иону. Под пером аналитика стремительно рождается «космический цикл <...> образуемый ветхозаветной Книгой пророка Ионы, пушкинскими „Метелью” и „Капитанской дочкой” и булгаковской „Белой гвардией”». А как обстоит дело с заповедями в «Выстреле»? Вполне определенно! «Если девица К. И. Т., от которой слышана Белкиным „Метель”, символизирует рыбку из Книги Ионы, то в ракоходе инициалов рассказчика „Выстрела” обнаруживается команда ПЛИ!, т. е. ИЛП наоборот, или „антипли”, что значит: „Не убий!”». Местами текст книги неотвратимо превращается в ту самую тайнопись, которую автор пытается усмотреть в таких незамысловатых, на непросвещенный взгляд, пушкинских повестях. Попробуем вдуматься: «У чисел 1821 (дата смерти Сильвио и женитьбы Толстого) («Американца». — Д. Б.), 30 (на 30-м году от рождения умер Белкин, а Пушкин встретил Гончарову) и 1830 (год помолвки Пушкина и создания «Повестей») один и тот же цифровой корень (? — Д. Б.) — 3, что делает их символами духовного возрождения». Каково? Давненько не брал я в руки арифмометра...

Войдя во вкус, А. А. Кандинский-Рыбников «перестает удивляться» «громкой роли чисел» в пушкинских повестях. Это с ним происходит «...по мере осознания неразрывной связи «Выстрела» с одной из самых числовых книг на свете — с «Комедией» Данте». Читателя же удивление не покидает до

самой последней страницы, скорее наоборот, оно нарастает «по мере осознания» все новых сфер тайнописи, на которые указывает автор. Так, в финале «Белой гвардии» Булгакова что ни предмет, то символ, скрытый знак причастности романа к текстам всех времен и народов, объединяемым в космические циклы, к «Повестям Белкина» тож. «Печка»? Это у Булгакова «символ жизни и тепла в доме». «Сверчок»? Конечно же, это... «арзамасское прозвище Пушкина», ну а «ведро» — не что иное, как «хранилище воды, без которой нет жизни человеку». Да и Пушкин в этой глобальной символизации-шифровке тоже знал толк. Ведь недаром «...именем Белкина Иван символизированы народность пушкинских повестей из русской жизни, их национальный характер и значение для отечественной словесности!»

Было бы неправильно думать, что А. А. Кандинский-Рыбников развивает свои теории в совершенной изоляции от достижений современной науки. Нет, перед нами не совсем обычный апокриф: его страницы расцвечены бесконечными ссылками на вполне достойные статьи и монографии. Наш автор стремится учесть опыт предшественников, их научные открытия, вот один из примеров: «Как понял Непомнящий, для Пушкина Поэт — Пророк, исполнившийся волей Бога».

Нелегкое время на дворе. Непростое. Рубрики и жанры нынче не в почете, потому сакральное бытует рядом с профанным, без соответствующего ярлыка. Повторю: двусмысленно не само по себе появление в печати все новых пушкиноведческих апокрифов, ведь что ни говори, Пушкин — это наше все, в том числе все маргинально-нестандартное. Печаль моя о другом: настораживает несоразмерность, разномащтабность, безадресность многих выходящих в последние годы книг, их обреченность на ответное народное безмолвствование. Впрочем, с другой стороны, можно ли было еще лет десять назад мечтать о таком книжном изобилии? Но тогда — что же, получается, печаль моя светла?..

Дмитрий Бак.

КНИЖНАЯ ПОЛКА (6)



Белла Ахмадулина. Ларец и ключ. Стихи. СПб. «Пушкинский фонд». МСМХСIV. 62 стр. 3000 экз.

Двадцатью тремя стихотворениями, написанными в 80 — 90-е годы, — представлена сегодняшняя Ахмадулина. Этой книгой издательство начинает выпуск серии сборников современных поэтов, в его планах — избранные Лиснянской, Чухонцева, Кривулина, Кублановского, Салимона и других.

Александр Борщаговский. Обвиняется кровь. Документальная повесть. М. «Прогресс-Культура». 1994. 400 стр. 5000 экз.

Сокращенный вариант этой книги напечатан в «Новом мире» (1993, № 10).

Дмитрий Веденяпин. Покров. Стихи. М. Информационно-издательское агентство «Русский мир». 1993. 86 стр. 1000 экз.

Владимир Войнович. Дело № 34840. Совершенно не секретно. Начато 11 мая 1975 г. Окончено 30 мая 1993 г. Закрыто не закрыто. М. «Текст». 1994. 192 стр. 10 000 экз.

Алла Гербер. Мама и папа. М. «Стелс». 1994. 128 стр. 20 000 экз.

И. Губерман. Иерусалимские гарики. М. «Политекст». 1994. 318 стр. 10 000 экз.

И. Губерман. Прогулки вокруг барака. Роман. М. ДО «Глаголь». 1993. 198 стр. 100 000 экз.

Надежда Гурьева-Смирнова. Анна Достоевская. Роман. М. «Современный писатель». 1993. 336 стр. 3000 экз.

Беллетристическая версия последних дней жизни Анны Григорьевны Достоевской. Автор делает попытку проследить основные события жизни семьи Достоевских, разобраться в малоизвестных или загадочных ее эпизодах.

Евгений Евтушенко. Нет лет. Любовная лирика. СПб. «Художественная литература». 1993. 304 стр. 50 000 экз.

Борис Зайцев. Жуковский. Жизнь Тургенева. Чехов. Литературные биографии. Составление, подготовка текста, вступительная статья, примечания А. Д. Романенко. М. «Дружба народов». 1994. 542 стр. 10 000 экз.

Юрий Казаков. Хождение в Юргу. Сургут. Северо-Сибирское региональное книжное издательство. 1993. 160 стр. 10 000 экз.

Р. Киплинг. Стихотворения. Составление А. Глебовой, С. Степанова. Предисловие, комментарии В. Дымшица. На английском языке с параллельным русским текстом. СПб. «Северо-Запад». 1994. 477 стр. 25 000 экз.

А. Мариенгоф. Это вам, потомки! Записки сорокалетнего мужчины. Екатерина. Роман. Предисловие Б. В. Аверина. СПб. «ПЕТРОРИФ». 1994. 463 стр. 15 000 экз.

Дмитрий Мережковский. Александр Первый. Исторический роман. Вступительная статья О. Н. Михайлова. М. «Пресса». 1994. 480 стр. 100 000 экз.

Сергей Стратановский. Стихи. СПб. Ассоциация «Новая литература». 1993. 128 стр. 2000 экз.

В. Шершеневич. Ангел катастроф. Избранное. Составитель В. А. Дроздков. М. Независимая служба мира. 1994. 167 стр. 1000 экз.

Асар Эпфель. Травяная улица. Рассказы. Москва — Париж — Нью-Йорк. Издательство «Третья волна». 1994. 208 стр. 5000 экз.



Р. Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Перевод с французского, составление, общая редакция, вступительная статья Г. К. Косикова. М. «Прогресс». 1994. 616 стр. 10 500 экз.

Г. Башляр. Психоанализ огня. Перевод с французского. М. «Гнозис. Полигранд». 1993. 148 стр. 25 000 экз.

Андрей Белый. Символизм как миропонимание. Составление, вступительная статья, примечания Л. А. Сугай. М. «Республика». 1994. 528 стр. 55 000 экз.

Александр Вадимов. Жизнь Бердяева. Россия. Oakland California berkeley slavic specialties. 1993. 288 стр.

По-видимому, это первая научная биография философа, написанная в России. «Предметом моего исследования является жизнь и личность Н. А. Бердяева», — так определил свою задачу автор. В книге две части: в первой («Киев. Вологда. Петербург») описано детство, юность, начало литературной деятельности Бердяева до переезда в Москву в 1909 году. Во второй («Москва») — десятилетие перед высылкой философа за границу. Предполагалось, что далее должны были последовать части, посвященные эмигрантскому периоду жизни Бердяева. Этому замыслу не суждено осуществиться из-за безвременной смерти Александра Вадимова (псевдоним Александра Вадимовича Цветкова, 1965 — 1993). Издание снабжено именным указателем, обширной библиографией; представлен иконографический материал.

М. В. Вишняк. «Современные записки». Воспоминания редактора. СПб. «Logos». Дюссельдорф. «Голубой всадник». 1993. 234 стр. 3000 экз.

Гавриил Константинович (Великий князь). В Мраморном дворце. Из хроники нашей семьи. СПб. «Logos». Дюссельдорф. «Голубой всадник». 1993. 283 стр. 5000 экз.

А. Глезер. Современное русское искусство. Париж — Москва — Нью-Йорк. «Третья волна». 1993. 527 стр. 2000 экз.

А. А. Корнилов. Курс истории России XIX века. Вступительная статья А. А. Левандовского. М. «Высшая школа». 1993. 446 стр. 40 000 экз.

На «Курсе истории...» одного из известнейших историков рубежа веков Александра Александровича Корнилова (1861 — 1923) прервалась в свое время классическая традиция русской историографии, представленная именами Карамзина, Соловьева, Ключевского. До настоящего издания «Курс истории...» Корнилова являлся библиографической редкостью, первое издание было в 1912 — 1914 году, второе (и последнее) — в 1918 году.

Ю. Левада. Статьи по социологии. М. При поддержке Фонда Дж. и К. Макартуров. 1993. 192 стр. 1000 экз.

Н. О. Лосский. История русской философии. М. «Прогресс». 1994. 457 стр. 10 000 экз.

В. Пунин. О Татлине. Составление И. Н. Пунина, В. И. Ракитина. Комментарии В. И. Ракитина, А. Г. Каминской. М. Литературно-художественное агентство «РА». 1994. 128 стр., с иллюстрациями. 2000 экз.

В. С. Соловьев. Чтения о Богочеловечестве. Статьи. Стихотворения и поэма. Из «Трех разговоров». Краткая повесть об Антихристе. Вступительная статья, составление, примечания А. Б. Муратова. СПб. «Художественная литература». 1994. 528 стр. 20 000 экз.

Традиционная русская магия в записях конца XX века. Вступительная статья, составление, примечания С. Б. Адоньевой, О. А. Овчинниковой. СПб. Издательство «Фрэндлхь-Таф». 176 стр. 2000 экз.

Издание знакомит читателя с образцами «народной магии»: заговорами, заклинаниями, охранительными молитвами и др., собранными в результате многолетней работы сотрудников и студентов филологического факультета Ленинградского (Санкт-Петербургского) университета в фольклорных экспедициях по Русскому Северу. Представлены календарные и семейные традиции, обрядовый фольклор, мифологические представления русских крестьян, легенды, предания, игры, песни, сказки. Собранный материал систематизирован, снабжен научным аппаратом.

Э. Фромм. Бегство от свободы. Перевод с английского. Общая редакция, послесловие П. С. Гуревича. М. «Прогресс». МНПП «ЭСИ». 1993. 271 стр. 2000 экз.

Составитель С. КОСТЫРКО.

SUMMARY



Poetry section contains poems by Marina Kudimova, Igor Shklyarevsky, Dmitry Avalliani and Vladimir Gershuni.

Publication of Daniil Granin's novel «Flight to Russia» is completed.

A new and experimental work by Lyudmila Petrushevskaya «Karamzin (A Country Diary)» is being published.

In the section «Sketches of Our Times» you can find another essay by Boris Yekimov concluding the series «On the Road» on contemporary Russian province (see issues 1, 3, 6, 1994).

In the section «Philosophy. History. Culture» Renata Galtseva in her polemic essay «Fighting Logos» discusses modern philosophic magazines in Russia.

In the section «Diaries. Memoirs» begins the publication of a book of memoirs by Dora Sturman «The Children of Utopia (Fragments of an Ideological Autobiography)»

In «Comments» Alla Marchenko reflects upon women's literature and feminism.

In «Publications and Reports» Irina Surat analyses one of Pushkin's poems, «Which of the Gods Gave Him Back to Me...» (Pushkin, Pushchin and Horace).

In the section «Book Review» Yury Kublanovsky review a new edition of Georgy Ivanov's poetry, Vladislav Kulakov — M. Eisenberg's selected poems, Marina Borshchevskaya — Nelly Zaks's selected poems; Marina Kulakova — Tymur Kibirow's selected poems and K. Pustoutenko — an anthology of Russian poetry of the turn of the century.

In «Briefly About Books» Dmitry Bak is reviewing six new books about Pushkin.

In the issue there are also the usual section «Bookshelf».

**Читайте в следующем номере
вторую книгу военного романа
Виктора Астафьева «Прокляты и убиты»**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, И. П. Борисова, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, А. А. Ким (зам. главного редактора), С. П. Костырко, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, С. В. Николаев, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов (зам. главного редактора), М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Коммерческий директор **Э. В. Балашов**

Технический редактор **А. С. Гинзбург**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.05.94 г. Подписано к печати 8.07.94 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютере редакцией журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 $\frac{1}{16}$. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 29 100 экз. Зак. 2443. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

60.

ДО КОНЦА 1994 ГОДА И В 1995 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- АЛЕКСЕЙ АЛЕХИН. Письма из Поднебесной (путевые записки);
 НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ. Пражские годы (воспоминания);
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть вторая);
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);
 М. О. ГЕРШЕНЗОН В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ. Воспоми-
 нания. Письма (публикация М. И. Фейнберг);
 ПАВЕЛ ЗАЙЦЕВ. Записки пойменного жителя (воспоминания
 крестьянина);
 В. ЗАЛОТУХА. Великий поход за освобождение Индии (киноро-
 ман);
 ИГОРЬ ЗОТИКОВ. Воспоминания о П. Л. Капице;
 АНАТОЛИЙ КИМ. Новый роман;
 ИГОРЬ КЛЕХ. Зимания. Герма;
 Н. КОРЖАВИН. В соблазнах кривой эпохи (воспоминания,
 часть вторая);
 МАРК КОСТРОВ. Вариации переходного периода (очерк); Дуль-
 ные тормоза (рассказы о независимой северной армии);
 АНДРЕЙ КУРАЕВ. Новомодные соблазны (Рерихи: оккультизм
 для интеллигенции);
 НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА С. Н. БУЛГАКОВА. 1918 — 1923 гг.
 (публикация М. Колерова);
 АНДРЕЙ НОВИКОВ. За десять лет до фашизма;
 ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Письмо Юрию Тынянову;
 АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. Неизданные рукописи. Документы к био-
 графии (из архива М. А. Платоновой);
 БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ. Деревенские рассказы;
 ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Русская опера и геополитика;
 АЛЕКСАНДР ЧЕРНИЦКИЙ. Мы можем всё (истерн);
 ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ. Воскрешенное слово (материалы о
 советских писателях из архивов КГБ и Прокуратуры СССР);
 АЛЕКСАНДР ШМЕМАН. Воскресные беседы (публикация
 С. А. Шмемана);
 ЮЛИЙ ШРЕЙДЕР. Экологические ценности: три подхода;
- а также новые произведения АЛЕКСАНДРА БОРОДЫНИ, МИ-
 ХАИЛА БУТОВА, АНДРЕЯ БЫСТРИЦКОГО, ГЕОРГИЯ ВЛАДИ-
 МОВА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ, ВЛАДИ-
 МИРА МАКАНИНА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, БОРИСА ХАЗАНОВА,
 ДМИТРИЯ ШУШАРИНА, АСАРА ЭППЕЛЯ и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ
НА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 1995 ГОДА!**